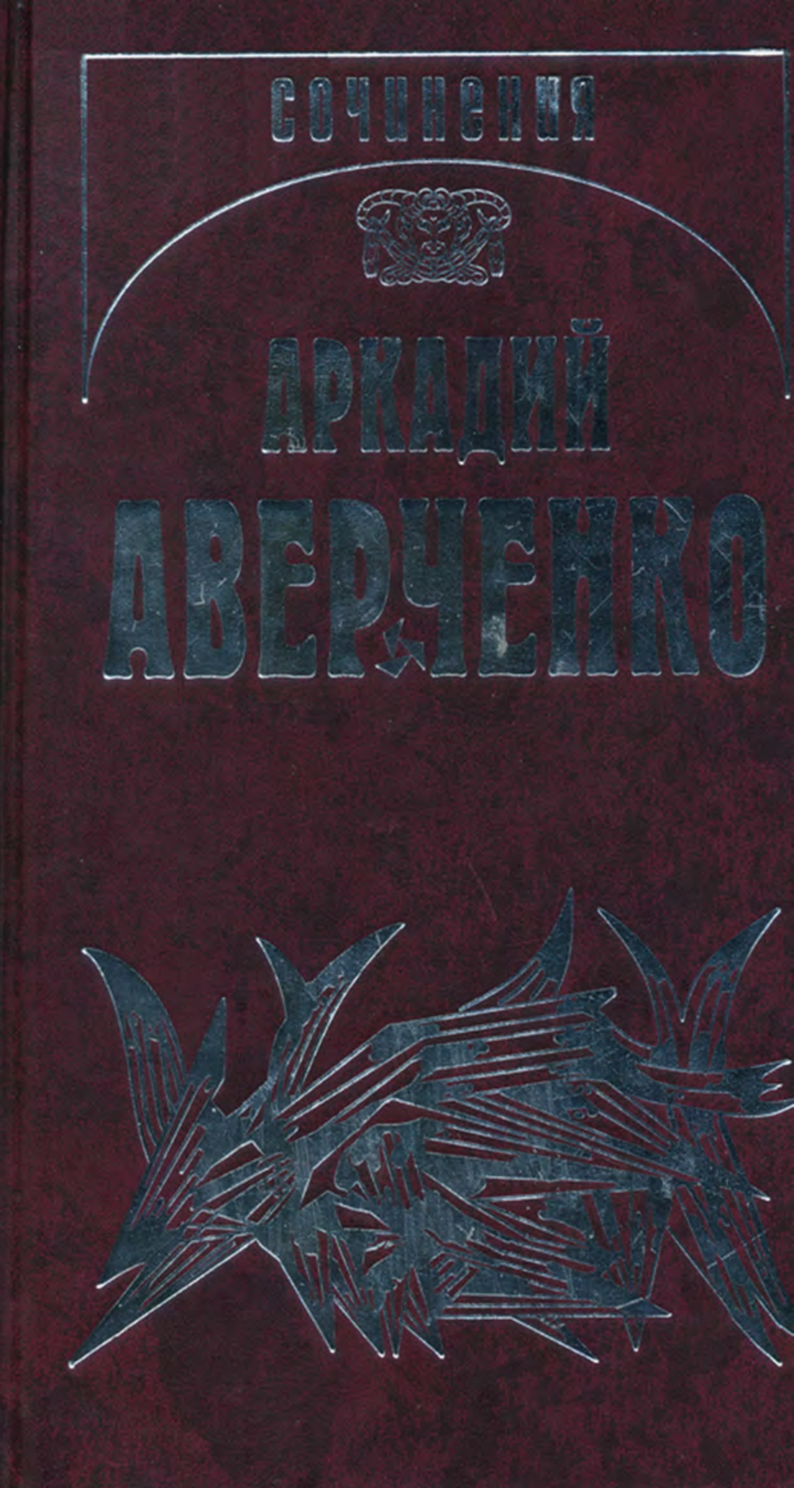

А. АВЕРЧЕНКО

ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ

АРКАДИЙ
АВЕРЧЕНКО

собрание сочинений

ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ

издательство

МОСКВА 2012

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А19

Составление, подготовка текста и комментарии
С.С. Никоненко

На фронтисписе: Аркадий Аверченко.
Портрет работы В. Денисова. 1912 г.

Аверченко А.Т.

А19 Собрание сочинений: В 13 т. Т. 4. Чёрным по белому / Сост., подг. текста и комментарии С.С. Никоненко. — М.: Изд-во «Дмитрий Сечин», 2012. — 416 с.

ISBN 978-5-904962-18-0

В четвертый том собрания сочинений входят книги: «Рассказы для выздоравливающих» (1912), «Чёрным по белому», а также сборники «Дешевой юмористической библиотеки “Сатирикона”» и «Нового Сатирикона» — «Очередной рассказ», «Смерть», «Душистые цветы» в полном объеме.

ISBN 978-5-904962-11-1 (Общ.)
978-5-904962-18-0 (Т. 4)

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА “САТИРИКОНА” ВЫПУСК 74 (1912)

чёрным по белому

ОЧЕРЕДНОЙ РАССКАЗ

От редакции

Вчера редактором нашего издания получена рукопись следующего рассказа Аркадия Аверченко (приводим целиком с сохранением стиля оригинала).

Почему она разлюбила...

Если бы она сейчас не придерживала рукой сердце, оно, наверное бы, выскочило, — так колотилось в хрупкой груди это маленькое смущенное сердечко.

А он стоял около нее, спокойный, и рассматривал ее почти с любопытством.

Улыбнулся чуть-чуть и сказал:

— Я счастлив, что на мою долю выпал тот редкий случай, когда женщина сама смело заявляет о своей любви, не ожидая признания противной стороны...

— О. нет, — энергично воскликнула она, — вы вовсе не противная сторона!

— Ну, не противная. Скажем — противоположная. Должен сознаться: вы этой противоположной стороне чрезвычайно нравитесь; только противоположная сторона недоумевает, — за что вы ее полюбили.

Она взяла его руку и неожиданно поцеловала.

— Вот за что! Ты один из тех людей, которые... какой это дьявол сюда ломится (последние пять слов как будто зачеркнуты. Ред.) берут женщину просто, как висящий на дереве плод, и она счастлива, что, а чтоб у тебя руки отсохли! Чтоб у тебя в голове так звонило! Ей-Богу, убил бы

я этого негодяя! (Эти несколько строк слабо зачеркнуты. (Ред.), она счастлива сделаться рабой, игрушкой и даже не проклинает, если эта игрушка будет сломана..........

....

Это была женщина, которая часто испытывала свою силу на других, которые окружали ее, наполняли ее скромную квартирку, которая привлекала их не блеском своим и пышностью, тою пышностью, которая так заманчива для некоторых, а милым радушием хозяйки, которая...

А, чтоб ты ослеп, проклятый! Пять раз, — которая! Ведь вот умирают же некоторые люди, а ты живешь, шатаясь всюду на своих кривых ножонках... 20 июня 1912 г., двадцатого июньчика. Зарядили дожди, а кого — неизвестно. Не тебя ли, идиот? Испорч... Испорченный рассказ. Аркадий Аверч... (росчерк. Ред.), Аркадий Аве... (росчерк. Ред.). Очень жаль, что свиньи с тобой не распорядились так же, когда ты был маленький. Аркадий Ав... На похоронах Парамонова не был, а на твоих буду присутствовать с восторгом!

Эта женщина обладала недюжинной внутренней силой и любила испытывать ее на всех, кто... А ну его к черту!

Аркадий Аверченко.

Мы целиком привели рукопись, полученную вчера от вышеукзанного автора.

Читатели поймут нашу скорбь и отчаяние... Еще два месяца тому назад мы видели автора лично — видели бодрым, жизнерадостным. И вот...

Правда один из наших сотрудников утверждает, что еще в то время он заметил странный огонек в глазах г. Аверченко, в то время, когда последний шел в контору редакции с чеком в руках. Но все-таки этот ужас никак не может уложиться в нашей голове. Почему? За что? Единственное, чем мы себя утешаем, это что острое помешательство иногда быстро излечивается.

Увы! Слабое утешение.

В момент начала верстки этого номера мы получили следующее письмо, подписанное: Аркадий Аверченко.

«Дорогой редактор! Надеюсь, вы не напечатали ту галиматью, которую я послал вам вчера. Ради Бога, не сердитесь, — бывают обстоятельства сильнее нас.

Вот, что произошло.

Вчера утром я обдумал тему одного очень недурного психологического рассказа, и после завтрака засел за письменный стол.

По первым строкам вчерашнего моего присыла вы можете видеть, как свежо, бодро и интересно начал я. Но как раз на том месте, где героиня начинает обрисовывать меткими, сильными штрихами характер любимого человека, — в передней раздался звонок.

Я не люблю, чтобы меня отрывали во время работы, а потому, садясь за письменный стол, отпускаю даже горничную из дому.

Я поднял голову, прислушался к звонку и, пожав плечами, снова обратился к бумаге...

Но звонок, не переставая, заливался, как маленькая, тонкоголосая собачонка, бегущая целую версту за экипажем.

— Какой это дьявол сюда ломится, — подумал я и, откинувшись на спинку кресла, замер в ожидании.

Прошло три, пять минут... Звонок не прекращался. Противный, резкий, впивающийся в голову звонок.

— Чтоб у тебя так в голове звонило, негодяй, — проворчал я и, сердито вскочив, выбежал в переднюю. Надел на голову шляпу, взял трость и заревел:

— Кто там?!!

— А-а, плутишка. Я так и знал, что вы дома. Хе-хе. А притворяется, будто нет дома. Хе-хе. Может быть, у вас была дама, а? Вы что же это в шляпе и с палкой? Собираетесь уходить?

— Да... Простите. Нужно кое-куда съездить.

Маленький, кривоногий Плинтусов, приветливо улыбаясь, пролез боком в кабинет и сказал:

— Ну, в таком случае, не буду вас задерживать. Вам в какую сторону?

— В эту... Гм... На десятую линию Васильевского.

— Так, знаете что? Я вас подвезу. Погода дождливая, и мне деваться некуда. Натягивайте пальто.

Я чувствовал, что рассказ мой, мой прекрасный психологический рассказ висел на волоске. Положение было не безвыходное только потому, что я должен был обязательно выйти с Плинтусовым и поехать на какую-то десятую линию.

В это время зазвенел телефон. Обрадованный, я схватил трубку.

— Алло!

— Это квартира священника Троекратова? — послышался женский голос.

— А, Илья Ильич! — приветливо сказал я. — Здравствуйте. А я только что хотел к вам ехать на 10-ю линию.

— Какой там Илья Ильич! Это телефон священника Троекратова?

— Неужели, — сказал я печально. — А я как раз сегодня хотел отдохнуть. Сколько строк?

— Вы идиот! Я вас спрашиваю одно, а вы...

— 400 строк? Но я не успею к вечеру. Что? Ну раз необходимо, — ничего не поделаешь. Сейчас же и засяду!

— В сумасшедший дом нужно вам засесть!!

— Да, да. Спасибо. Привет супруге. До свиданья.

Я повесил трубку и сказал:

— Экая жалость! Оказывается, нужно сейчас засаживаться за работу. Вы уж извините меня...

— Пожалуйста! — замахал руками Плинтусов. — Дело прежде всего. Садитесь и пишите. Скажите, я вам не помешаю?

— Как вам сказать, — промямлил я. — Дело в том, что я не могу при постороннем написать ни единой строчки. Такая уж особенность моего творчества.

— Вы меня обижаете! — грустно сказал Плинтусов. — Какой же я вам посторонний?..

— Нет, говорю вообще. Присутствие другого всегда развлекает меня.

— Так это и хорошо, что развлекает. Я, наоборот, был бы очень рад...

— Но я тогда не могу писать, если кто-нибудь сидит около!

— Но ведь я не буду вам мешать. Я буду только сидеть и смотреть. Откровенно говоря, мне ужасно хочется видеть своими глазами, как это вы пишете.

— Но мне так очень трудно писать...

— Да ведь я буду молчать. Возьму газету и буду читать. Изредка взгляну только как это так сочиняют?

— Едва ли я сочиню что-либо хорошее, если так, — слабо усмехнулся я.

— Не понимаю вас! Вот стоит шкаф. Он же вам не мешает? Вот корзинка для бумаг... Вы когда пишете, ведь, не обращаете на нее внимания; вот диван, — вы о нем даже и не подумаете. А вот я. Тоже буду сидеть и молчать. Забудьте обо мне. Не думайте обо мне!

— Ну ладно, — со вздохом согласился я. — Вот вам газета.

Я уселся за письменный стол, взял перо и постарался сосредоточиться.

Плинтусов с любопытством смотрел на меня. Я посмотрел на него с тоской.

— Ну, как? — сочувственно спросил он. — Идет дело на лад?

— Пока нет, — бледно улыбнулся я.

— Да вы не смущайтесь. Думайте, сколько хотите!

Я опустил голову, чувствуя на себе его внимательный взгляд. Взял перо и написал:

«Это была женщина, которая часто испытывала свою силу на других, которые окружали ее, наполняли ее скромную квартирку, которая привлекала их»...

— Пишите, пишите! Не обращайте на меня внимания. У вас сейчас было прекурьезное лицо...

«...Которая привлекала не блеском своим и пышностью, тою пышностью, которая»...

— Простите, что перебью вас, — Вы, все равно, не пишете сейчас, а думаете, — какое сегодня число?

— 20 июня.

— Газета у вас, значит вчерашняя.

«...Пышностью, которая так заманчива для некоторых, а милым радушием хозяйки, которая»...

— Тема-то у вас есть? — заботливо спросил Плинтусов.

— Есть!

— Я думаю, плохо сочиняется в такую погоду. Дожди зарядили со вторника.

— Что?!

— Дожди зарядили.

«Которая»...

— А то вот темка есть. В газете. Ужасный случай! «В одной крестьянской избе в отсутствие родителей лежал младенец. Туда же забрели свиньи, опрокинули колыбельку и сожрали младенца. Остались только руки и ноги». Вот это тема! Этого не выдумаешь. Это сама жизнь!

— Да, — рассеянно сказал я. — Спасибо.

— Ого! Вчера, оказывается, хоронили Парамонова. Были?
— Что? Не был.
Молчание продолжалось с минуту.
— Можно вам что-то сказать?
— Ну?!
— Меня удивляет, что вы больше думаете, чем пишете. Я думал, это делается скорее. Извините, что перебил... Думайте, думайте. Больше не помешаю.
— Творчество очень интимная вещь, — горестно возразил я.
— Да, да. Я сейчас смотрел на вас и думал: неужели у всякого человека такое страдальческое лицо, когда он занимается творчеством? Вот и сейчас... Глаза темные, темные...
— Ффу! — прошипел я. — Готово.
— Неужели, уже готово?
— Да. Уже написал. Видите — даже подпись.
— Здорово! А теперь вы что с этим делаете?
— Положу в конверт, напишу адрес и отправлю по этому адресу.
— Знаете что, давайте, я опущу в ящик. Я все равно сейчас ухожу.
— Да нет, зачем же вам затрудняться.
— Нет уж — это мне будет вдвойне приятно. Я присутствовал при самом начале, хочу довести это и до конца. Неужели вы мне не доверяете? Я сейчас же опущу. Пишите адрес!..
Он с любезной настойчивостью подсунул мне конверт, наклеил марку и, забравши письмо, ушел.

Надеюсь, теперь, дорогой редактор, вы перестанете удивляться вчерашнему моему произведению...
И, надеюсь также, что у вас в достаточной мере хватило вкуса, чтобы не пускать его в печать. Потому что рассказ «Почему она разлюбила...» хотя и отличается краткостью и сжатостью, но по-моему недостаточно выношен.

ГОРЕ ПРОФЕССИОНАЛА

— А вы, видно, опытный путешественник, — заметил я.
— Да... по своей профессии мне приходится носиться чуть ли не по всему земному шару.

Я вопросительно взглянул на своего спутника.

— Да... А какая ваша профессия?

— Я — борец. Чемпион мира.

Из деликатности я не удивился. Покачал головой и сказал:

— Ага, вот оно что... Вам в Харькове выходить?

— В Харькове.

— Терпеть не могу этого городишки: уныл, грязен и неблагоустроен. Но народ там живет хороший.

Мы помолчали.

Чемпион мира искоса наблюдал за мной; потом не выдержал и, потрепав меня по плечу, сказал:

— Вы меня удивляете.

— Чем?

— Первого такого человека встречаю. Обыкновенно мы, борцы, несчастные люди. Стоит только какому-нибудь новому знакомому узнать о нашей профессии, как этот субъект считает своим долгом пощупать у нас на руках мускулы и потом завести длиннейший разговор о борцах, о физической силе, о каких-то самородных чудесных силачах, домовиках из народа и о прочем таком. Он думает, что ни о чем другом мы разговаривать не можем. Вспомнит он Фосса, которого он видел пятнадцать лет тому назад, еще раз пощупает мускулы на наших ногах, а потом даст пощупать и свои руки. Дескать, есть ли у него что-нибудь в этом роде? И уж он тянет, тянет скучнейший разговор о вещах, от которых хочешь уйти, которые и так надоели до смерти... Вы, кажется, первый человек, который по-настоящему отнесся ко мне. Остальные же считают каким-то хорошим тоном говорить с человеком о том, что у того и так вот тут сидит.

Он звучно похлопал себя по широкому могучему затылку.

В вагон в это время вошел новый пассажир. Он опустился около меня на диван, снял шляпу, вытер платком лоб и без обиняков обратился к чемпиону:

— Далеко едете?

— В Харьков.

— Охота вам ехать в эту дыру! Там теперь и делать нечего.

— Ну, как вам сказать, — дело найдется. Положу десятка два на обе лопатки — вот вам и дело.

— Как, вы разве борец?

— Борец.

— Да неужели? Что вы говорите?

— Ей-Богу.

— Вот как. То-то я смотрю. Разрешите попробовать мускулы?

— Пожалуйста.

— Ого! Прямо канаты какие-то... А скажите, что, борьба не опасна? Говорят, ведь смертью иногда кончается!

— Бывает.

— Кто же у вас в чемпионате?

— Да много народу. Из известных: Пахута, Эмиль де-Бен, Папа-Костопуло, Ильяшенко...

— Скажите, а где теперь Фосс?

— Фосс давно уже на покое.

— Вот был борец, действительно. Ручища невероятная. Ноги, как столбы... А у вас ноги хорошие?

— Ничего, спасибо.

— Разрешите попробовать? Ого. Стальные прямо. А попробуйте — как у меня руки? Как вы думаете, стоит их развивать?

Общительный незнакомец сжал руку и протянул ее чемпиону.

— Ну, что ж. Кое-что есть.

— Не правда ли. Когда-то я два пуда выжимал. А вот у нас в Ростове, на пристани, был один грузчик, — это прямо-таки нечто невероятное. Поднимет, шутя, двадцать пудов и бегает.

Чемпион вздохнул и устало спросил:

— Где же он теперь?

— Не знаю. А то у нас, на станции Раздельной, был смазчик, так можете поверить, стан колес вагонных подымал. Если бы ему пойти куда-нибудь бороться, там он чудес бы наделал.

Очевидно разговор был исчерпан, так как воцарилось длительное молчание.

Общительный пассажир сновы вынул платок, вытер лоб и, промурлыкав какую-то песенку, спросил:

— А где же теперь Лурих?

— В Варшаве.

— А Пытлясинский?

— За границей.

— Тэ-э-к-с. Трудно бороться?

— Как кому. Все от тренировки зависит.

— А вот у моего отца приказчик был, так он вызывал желающих бороться с ним, — все боялись. Он сделал в цирке скандал и ушел. Пойти покурить, что ли...

* * *

Когда общительный пассажир ушел, чемпион подмигнул мне и сказал:

— Видали фрукта? Вот, все они такие. Он так может всю дорогу проговорить. Прямо-таки вы первый человек такой особенный.

— Ну, — возразил я, улыбнувшись, — должна же моя профессия научить меня такту, чутью и оригинальности...

— А вы, простите, чем занимаетесь?

— Я — писатель.

— Неужели? Где же вы пишете?

— В журналах, газетах...

— А скажите, когда вы садитесь за стол, то у вас уже есть тема?

— Почти всегда.

— Вот я не понимаю, как это может прийти в голову тема? Кажется, сиди, сиди, и век не выдумаешь!

Я пожал плечами.

— Все зависит от тренировки.

— Я один раз тоже написал рассказец. Потерял куда-то. Если найду — пришлю его вам прочесть... Ладно?..

— Пожалуйста.

— У меня в Лодзи был один знакомый писатель, Коля Вычегодзе. Может быть, знаете?

— Нет, не слыхал...

— Он тоже рассказы, стихи писал. Слушайте... вот, скажите ваше мнение: здорово ведь писал Некрасов?

— Да, хорошо.

— Мне тоже нравится. А скажите, правда, что он драл своих крестьян и проигрывал их в карты?

— Ну, это так... сплетни.

— Вы и стихи пишете?

— Нет, не пишу...

— Труднее. Вот этот Коля Вычегодзе и стихи писал.

Чемпион мира замолчал, хлопая себя по руке ремнем от оконной рамы. Я думал, что разговор кончился.

Но чемпион посвистал немного, зевнул, прикрыв рот рукой, и спросил:

— А где сейчас Куприн?

— Не знаю, кажется, за границей.

— Слушайте, а вот Андреев... Что он хотел сказать своей Анатемой... Я, собственно, так и не понял.

Я устало взглянул на него. Нехотя промямлил:

— Вещь глубокая, философская...

— Тэзк-с, тэзк-с. А скажите, Горький что-нибудь теперь пишет? Вот ведь гремел когда-то. Не правда ли?

— Да, — подтвердил я. — Гремел. Они с Фоссом гремели. Слушайте, кстати, правда, что Фосс мог на плечах 60 пудов выдержать?

Чемпион сразу осунулся и скучающе пожал плечами.

— 60 пудов, это можно выдержать.

— Слушайте, а где теперь Абс?

— Умер.

— Неужели? А Лурих где борется?

Чемпион ничего не ответил. Он мрачно встал и принялся укладывать вещи.

Это, вероятно, был первый случай, когда чемпион мира был побежден, был положен на обе лопатки мирным, слабым писателем.

ДУРАЦКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(Рассказ жестокого человека)

Восемь лет тому назад, сидя за конторкой перед огромными бухгалтерскими книгами, я получил такую записку:

— «Милый Сергей Иванович! Ради всего святого умоляю вас — приезжайте немедленно ко мне. Может быть, вы не будете так на меня негодовать, если узнаете, что я отрываю вас от дела в последний раз. Ваш друг Полина Черкесова».

Было 12 часов дня.

— Господи, — недовольно подумал я. — Чего еще этой сумасбродке от меня нужно? Придется ехать.

Услышав мою просьбу от отпуске «на часочек», бухгалтер раскусил зубами невидимый лимон и, изобразив на лице соответствующую мину, сухо сказал:

— Который это раз вы уезжаете среди занятий? Идите, но к часу будьте здесь обязательно. Сами, кажется, знаете, что работы гибель.

Полина Черкесова снимала крошечный флигелек в глубине большого двора и жила в двух комнатках совершенно одна.

— Здравствуйте, — сказал я, здороваясь. — Какое землетрясение случилось с вами?

Она бледно улыбнулась и усадила меня на оттоманку. Села напротив и, разглядывая собственные руки, сказала:

— Я вас позвала на минутку. Я знаю, вы всегда относились ко мне хорошо, и, я думаю, не сочтете навязчивостью то, что я втайне называю вас своим другом. Как вы знаете, у меня друзей, вообще, нет... Ну, вот. В последний раз мне захотелось увидеть дружеское лицо.

— Как — в последний раз? — удивился я.

— Так. Через несколько минут, когда вы уйдете, меня уже не будет на свете.

Я вскочил и схватил ее за руку.

— В своем ли вы уме?!.

Она с тихой улыбкой покачала головой и указала на ящик письменного стола.

— Пузырек уже заготовлен. Надеюсь, вы не будете отговаривать и препятствовать мне. Это решение не случайное, а продуманное в течение долгого времени.

— Да почему? — сердито закричал я. — Что за глупости? Что случилось?

— Особенного ничего. Тоска, одиночество, ничего впереди. О смерти я мечтаю, как об избавлении. И потом — знаете что? Не будем отравлять последних минут пустыми и пошлыми уговорами и спорами. Мне сейчас так хорошо, так легко.

Человек стоит на берегу тихой речки и, вдыхая запах травы, безмятежно любуется видом залитой солнцем полянки и темносинего дальнего леса на горизонте. Кто-то подкрадывается сзади и вдруг с размаху ударяет созерцателя палкой по затылку.

Сейчас я, приблизительно, был в положении этого выбитого из колеи созерцателя жизни...

— Ну, бросьте! — сказал я неопределенно. — Сейчас просто у вас плохое настроение, а пройдет — и все опять будет хорошо. Здоровая, интересная, молодая женщина — и вдруг такие мрачности. Как не стыдно?! Хотите — пойдем нынче вечером в театр?

Она усмехнулась.

— Театр... Ах, как вы меня не понимаете! Теперь театры и люди, и все человечество так далеко от меня. Знаете, меня даже уже немного интересует, что там?

Я совершенно не знал — какого тона мне нужно держаться. Уговаривать — она на уговоры отвечала только снисходительным покачиванием головы. Принять это все в шутку и, поболтав пять минут о пустяках, уйти, — а вдруг она в самом деле, после моего ухода выкинет какую-нибудь непоправимую глупость.

У меня даже мелькнула неопределенная, бесформенная мысль побежать в участок и заявить обо всем околоточному.

— Довольно! — сурово крикнул я. — Все это глупости. Мы сейчас это прекратим.

Я подскочил к письменному столу, выдвинул ящик, схватил какую-то бутылочку с аптекарским ярлыком и через открытое окно вышвырнул ее на каменные плиты двора.

— Что вы делаете? — испуганно вскрикнула она, но сейчас же успокоилась:

— Ребенок! Неужели вы думаете, что дело в этой бутылочке. Через десять минут у меня будет другая, — аптека, ведь, в двух шагах.

— Я пойду в аптеку и сделаю заявление, чтобы вам ничего не отпускали.

— Всех аптек не обойдете... Да и, кроме того, у меня в надежном месте припрятан револьвер на самый крайний случай... А веревка? Неужели вы будете сейчас сдирать все шнурки от портьер...

— Зачем вы меня мучаете, — закричал я. — Зачем вы меня позвали?!

— В последний же раз! Неужели вам так трудно пожертвовать одним единственным часочком. Подумайте: ведь всю вашу остальную жизнь никогда, никогда не отниму больше у вас времени.

Мы замолчали. Она сидела в кресле, подперев ладонью щеку, я метался по комнате...

— Я не допущу этого! Я не уйду отсюда. Я не могу допустить, чтобы человек погибал у меня на глазах...

— Ах, — возразила она, — не сегодня, так завтра. Днем раньше, днем позже — это не имеет никакого значения.

— Уйти, что ли? — подумал я. — Кстати, старик-бухгалтер, вероятно, уже рвет и мечет, ожидая меня. Ему нет ведь дела до таких вещей. Вместо часа прошло уже полтора... Гм! Может быть, попросить ее обождать до вечера... Глупо как-то.

— Послушайте, — нерешительно сказал я. — Подождите меня до вечера — я хочу поговорить с вами. Ради Бога. Ладно?

Она печально улыбнулась.

— Вам скучно со мной?

Я хотел сказать, что дело не в скуке, а просто истек срок моего отпуска и бухгалтер меня заест за то, что я запоздаю со списком дебиторов.

Но тут же я устыдился — около меня умирающий, расстающийся с прекрасной жизнью человек, а я лезу, с каким-то списком дебиторов. Как это все мелко и неважно.

— Вам все неважно, — зазвучал у меня в ушах скрипучий голос бухгалтера. — По списку дебиторов нужно сделать к 15-му распределение платежей, а вы, проклятый лентяй, и ухом не ведете.

— Ну, слушайте, — ласково и задушевно сказал я, беря Полину за руку. — Ведь вы этого не сделаете, да? Ну, успокойте меня... В жизни еще может быть столько хороших минут... Обещайте, что мы вечером увидимся!

Она вяло покачала головой:

— К чему? Лучше теперь же покончить — и ладно!

— Проклятая баба, — подумал я. — Вот-то послал мне Господь удовольствие.

Жалость легко и без боя уступила в сердце моем место злости и ненависти к этой женщине.

Сердце сделалось жесткое, как камень.

— Не понимаю я этих людей, — думал я. — Хочешь отравиться — сделай это без грома и шума, без оповещений и освещений бенгальским огнем. Нет, ей обязательно нужно поломаться перед этим, оповестить друзей и знакомых... Она бы еще золотообрезные карточки разослала: «Полина Владимировна Черкесова просит друзей и знакомых на soirée по случаю предстоящего самоубийства через отравление»...

Она сидела в прежней позе, задумчиво опершись на руку и глядя в стену.

— Уйти, — гудело у меня в мозгу. — Но как уйти?

Обыкновенно это не представляет никаких затруднений. Сидишь, сидишь, потом зашевелишься, озабоченно взглянешь на часы и скажешь, вставая: «ну, я пошел»... или «ну, поползем, что ли»...

— Куда ж вы, — говорит хозяин. — Посидите еще.

— Нет, надо. Я и так уж засиделся. Завтра, надеюсь, увидимся в клубе или в театре... Да...

И расстаешься довольный, смягчивший неловкость разлуки перспективой завтрашнего свидания.

Я вздохнул и подошел к Полине.

— Ну? Обещаете меня ждать вечером? Даете честное слово?

— Честное слово надо сдержать, — пожала плечами хозяйка. — А я боюсь дать его. К чему эти отсрочки? Отговорить меня не может никто в мире. Позвольте... вы, может быть, спешите по делам? Так идите. Простимся — и я освобожу вас.

«Простимся» — екнуло сердце. — Нет, я никогда не был убийцей! Я не могу ее оставить одну.

— «Еще бы, — прошипел отравленный злостью голос бухгалтера. — Список дебиторов, значит, может подождать? Директор его будет делать? Или, может быть, швейцар? Если вам так трудно и тяжело служить — зачем себя насиловать. Гораздо честнее уйти и не вредить делу».

Две, три, четыре минуты протекли в нудном, тянущем за душу молчании...

Ах, надо же что-нибудь сказать, чтобы отвлечь эту сумасшедшую!

— Прягина давно видели? — спросил я.

— Что? Прягина? Давно. Он, кажется, уехал.

— Говорят, что у него с женой что-то неладно. Опять он у этой немки стал бывать каждый день...

— Что же, с ней и уехал? Или один?

Я ответил с излишней готовностью:

— Не знаю, но могу узнать. Хотите завтра узнаю и сообщу вам. Ладно?

— Нет, зачем же. Мне это не нужно. И потом, завтра! (она иронически улыбнулась). Вы, кажется, все думаете, что я шутила все это время?

— Ах, не говорите мне об этом!!

Я обвел комнату тоскливым взором и обратил внимание на пятно сырости, проступившее в углу стены, на обоях. Сказать ей об этом, посоветовать переменить квартиру? Она, конечно, улыбнется своей проклятой улыбкой и скажет: «к чему»?

Стенные часы пробили половину третьего.

Это была жестокая мысль, но она пришла мне в голову:

«Тебе-то хорошо: решила отравиться и спокойна! Сидишь... Никуда тебе не надо спешить и никто тебе ничего не скажет, не поднимет скандала... А я, все-таки, с головой сижу в этой проклятой жизни, и завтра мне будет за сегодняшнюю неявку такая головомойка, что подумать страшно»!

— Ну, не будьте таким скучным, — ласково сказала будущая самоубийца. — Хотите чаю? Самовар стоит горячий.

— Ах, до чаю ли мне! — нервно закричал я.

— Почему? Чай, все-таки, хорошая вещь.

Она пошла в другую комнату и вернулась с двумя стаканами чаю.

В голову мне лезли только жестокие, чисто механические мысли.

— Сама травиться хочет, умирать собралась, а сама чай пьет. А на службу я уже так опоздал, что и являться не стоит! Я-то, вот, опоздаю, попаду в историю, а ты, может быть, и не отравишься совсем. Да и странно это как-то. Самоубийство такая интимная вещь, что приглашать в это время гостя и заниматься чаепитием, по меньшей мере, глупо и бестактно! И, кроме того, нужно было бы иметь элементарную догадливость и такт... Раз я прошу отложить до вечера, могла бы пообещать мне это, — чтобы я ушел успокоенный, с чистой совестью. А там можешь и не держать своего слова — твое дело. Но нельзя же меня, черт возьми, меня ставить в такое положение, что — уйти невозможно, а сидеть бесполезно.

— Полина Владимировна! — тихо и проникновенно сказал я. — Вы жестоки. Подумали ли вы, кроме себя, и обо мне. В какое ставите вы меня положение... Чего вы от меня ожидали? Неужели, думали, что я, услышав о вашем решении, хладнокровно кивну головой и скажу: «Ах, так. Ну, что ж делать... Раз решено — так тому и быть. Травитесь, а мне спешить на службу нужно, меня бухгалтер ждет». Поцелую

вашу ручку, расшаркаюсь и уеду, оставив вас, наливающей себе в стакан какого-нибудь смертельного зелья. Не могу же я этого сделать!

— Ради Бога, простите! Я знаю, что это вас нервирует, но, неужели, мое последнее, предсмертное желание — увидеть дружеское лицо — так тяжело для вас? На вашей совести ведь ничего не будет, раз я уже решила сделать это. Вот взглянула на вас, поговорила — и теперь вы можете спокойно уехать, удовлетворенный тем, что скрасили своему ближнему последние минуты.

— Вот дерево-то, — с бешеной злобой подумал я.

Она опустила голову и сняла с юбки приставшую к ней пылинку; потом разостлала на колене носовой платок и стала заботливо и тщательно его разглаживать.

«Зачем разглаживать платок, зачем чистить платье, если думаешь умирать?! Что за суетность»...

«Надо уходить»! — внутренне решил я.

Но никакая «формула перехода к очередным делам» не приходила мне в голову. «Ну-с, я пошел»? — Пусто и не соответствует моменту. «Ну-с, прощайте, царство вам небесное»?.. Это логически самое здравое, но кто ж так говорит?

Я выбрал среднее.

— Ну-с, — сказал я поднимаясь. — Я ухожу, и ухожу в твердой уверенности, что вы одумаетесь и бросите эту мысль. *До свиданья.*

— *Прощайте*! — сказала она не менее значительно. — Постойте, я вам дам что-нибудь на память обо мне. Вот, разве кольцо. Оно вам на мизинец будет впору. Все-таки изредка вспомните...

Я швырнул кольцо на пол и выскочил из передней с тяжелым стоном:

— Не могу! Пропадайте вы, провалитесь с вашими глупостями, с вашими кольцами — я больше не могу. Я измучился!

Выбежав на улицу, я зашагал медленнее.

Шел и думал:

«Мог ли я сделать что-нибудь другое? И если бы я сидел до самого вечера — никакого толку из этого бы не вышло. Раз она относится к этому так спокойно — почему я должен страдать и подвергаться неприятностям»?

А неприятность будет:

«Конечно, я так и знал, отпросились на час, а исчезли на четыре... Я думаю, что до конца месяца вы дотянете, а там»...

И я незаметно окунулся с головой в омут мелких житейских мыслей и гаданий об ожидающих меня передрягах.

Это было восемь лет тому назад.

Это было восемь лет тому назад, а вчера один из приятелей сообщил мне, между прочим, в длинном письме:

— «Помнишь нашу общую знакомую Полину Черкесову? Две недели тому назад она отравилась. Нашли ее уже мертвой»...

СТРАШНОЕ ДЕЛО

Илиодор предал анафеме председателя совета министров В.Н. Коковцова, обер-прокурора Синода В.К. Саблера, товарища его В.П. Даманского, а до этого — царицынского полицеймейстера и директора цирка Никитина.

(*Из газет*)

...Проснувшись, Илиодор долго лежал в постели. Вставать не хотелось: во рту было скверно и за окном моросил дождь.

Он крикнул:

— Игнатий!

— Что прикажете, отец?

— Почему сапоги не вычищены?

— Да они вычищены.

— Врешь, врешь, лукавый! Я знаю, что я тебе сделаю: я предам тебя анафеме.

— Да за что же, помилуйте...

— Вот тебе: нерадивому отроку Игнатию за небрежное исполнение обязанностей — анафема!

— Мерси вас! Дослужился...

— Вот тебе. Выкуси!

— Уж, кажется, так чистил, все руки обломал. Должно быть вакса плохая.

— Вакса плохая?! Что ж ты молчишь. Тащи сюда коробку! Эта коробка? Ага! Я им покажу.

Илиодор вскочил с кровати, осмотрел коробку и, простирая руки, торжественно воскликнул:

— Акционерному обществу производства лаков и вакс «Молния» — анафема! Анафема! Анафема!

— А с меня как же... Снимите?

— С тебя? Ну, можно и снять, если тебе уж так приспичило. Какова погодка?

— Да, неважная. Такую грязищу замесили, что выйти нельзя.

— Ага, вот что. Грязище, на земной поверхности замесившейся — анафема!!

— Хватили, тоже, — пожал плечами Игнатий. — Будто грязи от вашей анафемы тепло или холодно. Ей все равно, что в аду, что тут. Да и не сама она замесилась, а люди замесили.

— Люди замесили?.. Человекам, замесившим с предыдущего на сегодняшнее число грязь — анафема!!

— Довольно уж вам. Кто и месил-то... Сами вчера и месили. А лучше бы вы на булочника нашего обратили внимание — который раз уже булки к чаю керосином продушены.

— Хорошо, — покорно сказал Илиодор. — Булочнику, булки керосином продушающему, — анафема! Мастерам его, подмастерьям и мальчикам, иже помогают разноске булок — анафема!

Он устало вздохнул и уселся за чай.

Отпил глоток, подумал и встал:

— Мелочным керосиноторговцам, оптовикам и их наливным баржам — анафема! Нефтяным источникам, иже из земли бьют зря, а не бьют жидов, яко полагалось бы — анафема! Нефтеносным землям и новым на них заявкам — анафема! Департаменту, ведающему укрепление новых заявок — анафема! Министру оного ведомства — такоже! И председателю совета министров — сугубо!

— Эх, куда заехали, — удивился Игнатий. — Одевались бы лучше. С левой ноги, видно, встали.

— Левой ноге, поперек правой, забегшей — за прыткость, обстоятельствами не вызванную, — анафема! — заметил вскользь Илиодор, надевая сапоги.

— Сегодня одну ногу, завтра другую, — покачал головой Игнатий, — этак, вы, отец, по кускам сами себя предадите.

— И предам! — сердито крикнул Илиодор. — Не твое дело вмешиваться в деяния отцов церкви. Отчего платье не вычищено?!

— Щетки платяной нету.

— Отсутствию платяной щетки — анафема! — раздраженно сказал Илиодор, выходя из дому.

* * *

Идя по улицам, ворчал:

— Грязь-то какая анафемская. И все это дождик анафемский. Оно, и отцы города хороши. Не могут вымостить, анафемы. Их дело за этим смотреть. А не доглядели — полиция должна доглядывать. А полиция не доглядела — анафеме ее за это, анафему, предать.

— Здравствуй, отец Илиодор, сказал какой-то господин, приближаясь.

— А-а, борзописатель! Все лжу строчишь? Постой! Постой! Я тебя анафеме-то предавал?

— А, ей-Богу, не помню, — призадумался журналист.

— А ты вспомни. Может, уже предавал, так тогда что ж зря трудиться.

— Да это как же можно выяснить?

— На том свете выяснится.

— Гм... Не помню. Кажется, предавали.

— Ну, ступай с Богом, крапивное семя. Вот газетка твоя, кажется, без анафемы выходит. Надо бы ее...

— Спохватились! Вчера губернатор закрыл.

— Эх-ма! Ну и люди. Из-под носа у человека вытянуть готовы.

Журналист пожал плечами и ушел.

Илиодор нерешительно почесал затылок и сказал крайне неуверенно:

— Губернатору, газету закрывши, — анафема!

А в мелочной лавке возгорелся спор:

— Без денег товара не выдам. Нет таких правил.

— Нет, ты мне выдашь, филистимлянин!

— Это, как хотите назовите, а товару не дам.

— А я тебя за это анафеме предам.

— Слыхали! С анафемы шубу не сошьешь.

— Так вот же тебе: лавочкину Перфильеву со чады — анафема!

— Дело ваше. А только товару не дам.

— Трижды анафема лавочнику Перфильеву!

— Мерси. И вам того же желаю. Терентий, проводи их.

— Хлопочешь, хлопочешь, — жаловался, ложась спать, Илиодор, — а толку ни на грош. И того прокляни и этого. День-деньской передохнуть некогда.

Игнатий сочувственно покачал головой и сказал:

— Это потому, что вы в розницу работаете, а не оптом. Оптом сподручнее.

— Да, как же — оптом-то?

— А так: предайте всю землю анафеме — уж тогда никто не вывернется. Всяк под нее влопается. И вам спокойнее.

— Ишь ты, а ведь верно.

Илиодор вскочил с кровати и привычным движением простер руки:

— Поверхность и недра всея земли, со всеми находящимися на них постройками и живым инвентарем, отныне и до века предаю...

— Кроме нас, отец, — подмигнул Игнатий. — Нам-то с вами чего в эту историю впутываться.

— Ладно!.. и живым инвентарем, кроме мниха Илиодора и служки Игнатия, — отныне и до века предаю анафеме навеки нерушимой!

— Ну, а теперь спать, — сказал он, меняя торжественный тон на обиходный.

И мирно заснули эти два человека — единственные в своем роде на всем земном шаре с его поверхностью, недрами и живым инвентарем.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕРБИИ, ИЛИ — СВОЯ РУБАШКА ОТ ТЕЛА ДАЛЬШЕ

Гражданин Иван Братушкин пришел к своему приятелю Петру Наздарову и, бледный, решительный, вдохновенно сказал:

— Наздаров! Мы, русские граждане, не можем остаться равнодушными к тому, что наши братья-славяне могут погибнуть в неравной борьбе... Мы должны спасти их... Это безобразие!..

Из-под стула вылез шпик и схватил Братушкина за руку:

— А-а... Ты так-то?! Осуждаешь наш режим? Безобразие? Пойдем-ка со мной?! Там тебе покажут безобразие!!!

— Да я не насчет нашего режима, — захныкал Братушкин. — Я относительно турок...

— Э, нет, брат! Если сказал — безобразие, значит, относительно нас. Это мы тоже хорошо понимаем.

Братушкина заковали в кандалы и под надежным конвоем повели.

* * *

Счастливо отделавшись штрафом за осуждение и критику действий правительства, Братушкин повеселел и опять пришел к Наздарову.

— Друг, Наздаров! Мы, русские граждане, все-таки должны возвысить свой свободный голос против турецкого насилия и восстановить попранные права родных нам по духу сербов. Давай напишем могучее воззвание, и наш мощный голос потрясет всех, кого он достигнет.

— Ладно, — согласился озаренный суровой и непоколебимой решимостью Наздаров. — Напишем. Потрясем. Достигнем.

Он сел за стол и начал на листе бумаги:

«Воззвание. Все, в ком не умолкла совесть, и кто чувствует себя другом справедливости, должны выразить громкий протест»...

Из-под комода вылез запыленный, полураздавленный шпик и торжествующе вскричал:

— Те-те-те! Протест? В ком не умолкла совесть?! Обращение к ка-детам-максимилистам? Пожалуйте-с!

— Виноват... Но это по поводу турецких насилий...

Шпик держался за тощий живот и хохотал.

— Уморили! Австрийские насилия?! Хо-хо! Ковальчук! Заходи справа... Хватай этого рыжего! А я и Топоренко справимся с этим... Вяжи их!

* * *

Выйдя из тюрьмы, Наздаров и Братушкин нерешительно остановились на углу и переступили с ноги на ногу.

— Наздаров! — сказал Братушкин.

— Что, Братушкин? — сказал Наздаров.

— В качестве граждан великой славянской страны, мы можем и должны спасти Сербию, которая бьется в тисках турецкого насилия... Объединимся! Устроим собрание для выяснения дальнейших тактических шагов.

— Живио!! — радостно закричал восторженный Наздаров.

Стоявший недалеко городовой наградил друзей несколькими тумаками за нарушение тишины, и разогнал их в разные стороны.

* * *

К сожалению, администрация не разрешила собрания, посвященного балканским делам, — и лицам, сочувствующим идее облегчения участи Сербии, пришлось собраться на конспиративной квартире.

Это было совершенно безопасное место — мастерская модной портнихи, сочувствующей идее облегчения участи балканских славян.

Наученные опытом, Наздаров и Братушкин осмотрели все углы, стулья, заглянули даже в швейные машины, и только тогда со спокойным сердцем открыли заседание, посвященное великой задаче освобождения людьми великой страны людей маленькой страны.

— Граждане! — вскричал Наздаров, — доколе же мы будем переносить насилие наглой зазнавшейся толпы османов. Мы тоже славяне, и нашим стремлением должно быть: защита всех славян от ига рабства, мощное слово негодования против насильников и активная помощь страдальцам...

Манекен, на котором было надето роскошное дамское гипюровое платье, зашевелился, сбросил с себя облекавшие его кружева и гипюр, и закричал на чистом русском языке:

— Неразрешенное собрание? Ага... Побледнели, голубчики?! Эй, кто там!!! Дорофеев, Сиволдайченко, Просандеин... Бери, хватай, вяжи...

* * *

На этот раз зачинщикам смуты и беспорядка, отчаянным Братушкину и Наздарову удалось бежать из окруженной со всех сторон модной мастерской...

Пойманы они были на границе, в то время, когда перебирались в несчастную угнетенную Сербию с оружием и боевыми снарядами.

Когда их везли в тюрьму — оба плакали и молились:

— Пропала несчастная Сербия! Боже, Ты видишь, что мы уже ничего не можем сделать... Спаси Сербию!

* * *

Недавно я проходил мимо окон тюрьмы и, сделав несколько шагов, заметил, что на землю из окна упала бумажка, залепленная черным хлебом:

На бумажке было написано:

— Братья русские! В качестве русских граждан, горячо протестуем против насилий и безобразий, под гнетом которых изнывает несчастная Сербия... Братья русские! Поднимем свой мощный грозный голос против турок и австрийцев и заступимся за угнетаемых славян!!

Записка эта показалась мне не совсем ясной и была препровождена графу В. Бобринскому для разъяснения.

МЕРТВЫЕ ДУШИ
(Русская лирика по Гоголю)

> ... Когда взглянул потом Чичиков на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, обманывали бар, а, может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому, чувство овладело им.

Сегодня утром, после чтения уймы телеграмм о выборах в 4-ю Думу, меня вдруг неожиданно потянуло к третьей Думе...

Взял я с книжной полки запыленную книжонку со списком депутатов, которые, точно, были когда-то депутата-

ми, работали, сочиняли какие-то проекты, пьянствовали, обманывали избирателей, а может быть, и просто были хорошими депутатами — и какое-то странное, непонятное чувство овладело мной...

Смотря долго на имена их, умилился я духом и, вздохнувши, произнес:

«Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердечные мои, поделываете на веку своем? Как перебиваетесь?»

И глаза мои невольно остановились на одной фамилии... Это был Валяй-Марков-Неуважай-Корыто, принадлежавший помещице Коробочке, той самой, которая так щедро благодетельствовала союзу русского народа.

И не утерпел я, чтобы не сказать:

«Эх, какой длинный, во всю строку разъехался! Где-то ты теперь? Подстрекаешь ли полупьяную толпу у крыльца покосившегося трактирчика в городе Дмитриеве — на погром и бесчинство, или сидишь мрачно в биллиардной комнате своей вотчины и, подперев руками тяжелую голову, начинаешь понемногу отрезвляться, приходить в себя от шуму, гаму и свистопляски... А, может быть, махнул ты рукой на все блага мира, да пошел бродить по губерниям с топором за поясом под псевдонимом Степана Пробки. И ходишь ты, Степан Пробка, богатырь, что в гвардию бы годился, ходишь с топором за поясом и сапогами за плечами, и проводишь ты в жизнь сгоряча оброненную с трибуны идею — оттяпать всем головы... И за это притаскиваешь ты в мошне домой целковиков по сту, а может, и по две государственных зашивал в штаны или запихивал в сапог»...

А вот и ты! Максим Тимошкин-сапожник. Хе, сапожник! Пьян, как сапожник, говорит пословица. Знаю, знаю тебя голубчик! Учился ты разным хорошим словам у немца, читал газеты и держал ухо востро, а как выбрали тебя в Думу, да вышел ты на трибуну, да ляпнул словцо-другое — так все и покатились со смеху. Где-то ты теперь, бедный русский энциклопедист-самоучка? Ходишь ли ты в становых приставах, как обещало тебе рачительное начальство за твое усердие, или надули тебя простака, и шатаешься ты бесцельно по базару, на потеху толстым торговкам, рассевшимся на всю улицу с крынками молока, горшками свежей сметаны и кучами желтого масла, завернутого в грязные тряпки?.. Эх, Тимоша, Тимоша... Милое ты наше русское прошлое... Ау! Где ты?

А это кто такие? Эге-ге! Вся октябристская фракция: Григорий-Доезжай-не-Доедешь, Еремей Карякин, Лизавет Воробей... Сколько вас тут, голубчики? Где-то вы теперь? Изворачиваетесь ли перед избирателями, увещевая простую обывательскую душу, или сидите в одиночестве на предвыборных собраниях, уныло переглядываясь с председателем? Сидите вы — и ни одна живая душа не заглянет к вам, хоть и широко распахнуты двери для желающих... Только изредка пробегающий мимо бедовый мальчишка заглянет в дверь, ухнет и загогочет, балуясь: «Ого-го-го! Октябристы-речисты — на слово не чисты! Гляди, стулья просидите!» Оживитесь вы, зашевелитесь, и опять впадете в унылое безмолвие. Эх, ма! Много вас было тут... Еремей Карякин, Никита Волокита, сын его Андрей Волокита... Эти и по прозвищу видно, что октябристы хорошие. Засунули вы куда-то знамя свое октябристское, да так ловко, что и самым дошлым журналистам не отыскать его...

Вот уж поймал тебя, Никита-Волокита, бойкий фельетонист, но бодро, уверенно стоишь ты на очной ставке.

«Чей ты?» — спрашивает фельетонист, ввернувши тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое полемическое словцо.

«Дворовый человек покойного Петра Аркадьича», — отвечаешь ты бойко и без запинки.

«Где ж твой манифест семнадцатого октября?»

«У хозяина моего Еремея Карякина».

«Позвать Еремея Карякина! Ты Карякин?»

«Я Карякин».

«Давал он тебе манифест семнадцатого октября?»

«Нет, не давал он мне никакого манифеста!»

«Что ж ты врешь?» — говорит спрашивающий, с прибавкой кое-какого крепкого полемического словца.

«Так точно, — отвечаешь ты бойко: «я не давал ему, потому что он был занят подрядами, а отдал я его на поддержание Александру Гучкову, звонарю».

«Позвать звонаря! Давал он тебе манифест?»

«Нет, не получал я от него ничего».

«Что ж ты опять врешь?» — говорит удивленный фельетонист, скрепивши речь кое-каким крепким словцом. «Где же твое знамя, а?»

«Оно у меня было, — говоришь ты проворно; «да, статься может, как-нибудь дорогой пообронил его».

Так и плюнет на тебя огорченный фельетонист, никакого толку не добившись...

А это кто такие? Вишь-ты, националисты; почти страницу заняли. Да, плохо, поди, живется теперь каждому из вас. Учился ты, миляга, как и Тимошкин, у немца, а как кончилось твое ученье: «а вот теперь я заведусь своим домиком», — сказал ты: «да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею». И вот, взявши у казны субсидию, завел ты лавчонку, набрал заказов кучу и пошел работать. Достал где-то втридешева гнилушки кожи для солдатских сапог, и выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да недели через две перелопались твои сапоги и выбранили тебя преподлейшим образом. И вот, лавчонка твоя опустела, и пошел ты на содержание к вальяжному молчаливому бюрократу, приговаривая: «Нет, плохо на свете! Нет житья русскому человеку: все немцы мешают!»

А это? Что это за маленькая, притаившаяся в левом углу горсточка? Ба! Узнаю вас?.. Где-то ты горячий, пылкий человек, как порох, вспыхивавший на трибуне... Где тебя прибрало? Подстерегли ли тебя, когда окончилась депутатская неприкосновенность, и, схвативши, набили на ноги колодки да свели в тюрьму?.. И вот уже пишет суд: препроводить тебя из Царевококшайска в тюрьму такого-то города, на предмет следствия о бомбах; а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск; и ты переезжаешь из тюрьмы в тюрьму, и говоришь, осматривая новое обиталище: «Нет, вот Весьегонская тюрьма будет почище; смотритель хороший, и арестантов не засекают до смерти». А может быть... взмостился ты, в конце концов, бедный русский человек под перекладину, и минут через пять мешком шлепнулся оземь; и только какой-нибудь стоявший возле товарищ Матвей, почесав рукой в затылке, промолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!», а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место..............................

....

Тихо шелестят листки книжки, покрытой пылью на пожелтевшем обрезе.

И мелькают перед глазами живые души и мертвые души... и те, которые хотя и живы, но уже мертвы; и запах тления и плесени незаметно идет от имен их..................

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА “САТИРИКОНА” ВЫПУСК 83 (1912)

чёрным по белому

СМЕРТЬ

Терпеть не могу, когда меня отрывают от дела.

Сегодня позвонили по телефону.

— Алло! Что такое?

— Говорит контора погребальных процессий «Простота и Роскошь».

— Что нужно?

— Нам сейчас сообщили, что у вас случилось несчастье.

— С чьей точки зрения, — тонко спросил я, — с вашей или с моей?

— Что такое? Не слышу.

— Я спрашиваю: кто вам сказал?

— Не знаю. Сейчас сообщили; вероятно, от вас. Мужайтесь!

— Зачем?

— Помилуйте, такая потеря... Мы понимаем.

— Что же вам угодно?

— Разрешите прислать нашего агента.

— Пожалуйста! Если, конечно, у него не предвидится неотложных дел, и он имеет часок свободного времени...

— Помилуйте! Наш девиз: все для клиентов!

— Прекрасный девиз.

— Кто имел дело с нами раз, тот навсегда останется нашим клиентом.

— Наверное, — согласился я. — Думается, что и я не избегну этой участи.

— Что вы говорите?

— Я говорю: до свидания.

Он пришел.

Агента бюро похоронных процессий можно отличить от обыкновенного человека только сзади; спереди он имеет такой же вид, как и другие.

Но если вы зайдете ему в тыл — вам сразу бросится в глаза отличительный признак агента: металлическая пряжка черного галстука всегда торчит из-под воротника сюртука на вершок выше, чем ей полагается.

Иногда, может быть, жена агента или его приятель, заметив это, скажут:

— Дай-ка я тебе поправлю пряжку... Ишь ты, как вылезла.

Но это бесплодное занятие. Вроде работы Сизифа, вкатывавшего камень на гору: у Сизифа камень тотчас же скатывался вниз, у агента пряжка через минуту всползает наверх.

Природа все созданное ею наделила отличительными для каждого создания признаками, и глуп тот, кто будет стараться уничтожить их.

Войдя в кабинет, агент низко поклонился, сверкнув металлической пряжкой галстука, и предложил:

— Мужайтесь.

— Садитесь, — предложил и я. — Очень рад был вам чем-нибудь полезным.

— Все там будем, — неопределенно заметил он.

— Одни раньше, другие позже, — внес я необходимый корректив.

— Да, — согласился он. — И спрашивается: для чего же жил человек?

Я вздохнул.

— Из земли, как говорится, взят, в землю и вернешься.

— Что же делать. Мужайтесь!

Он помолчал и осторожно спросил, ощупывая невидимую почву:

— Это был близкий вам человек?

— Без сомнения. С первого дня рождения.

— А! ребенок?

— Сущее дитя.

— Мальчик, девочка?

— Если выбирать из этих двух категорий, то оно, конечно, ближе к девочке.

— Ей там будет лучше. Ребенок не успел еще нагрешить и, поэтому, ему уготована жизнь ангельская.

— О, если бы мне кто-нибудь мог это гарантировать, — вздохнул я. — Потому что у меня есть некоторые основания предполагать, что нагрешила она в своей жизни предостаточно.

— О, помилуйте! Какие могут быть у нее грехи? Если она огорчала вас своими шалостями, то разве имели вы что-нибудь в сердце своем против дитяти?

— Вы слишком льстите ей, называя ее «дитятей», — заметил я. — Правда она молодилась, но ее 36 лет, все-таки частенько сказывались.

— 36 лет! — удивился агент, — однако, вы говорили, что она сущий ребенок?

— И теперь это повторяю. В женщинах, милый мой, чрезвычайно много ребяческого.

— Мужайтесь, — сказал агент. — Потеря любимой женщины — большое горе, но не нужно отчаиваться. Отчаяние большой грех!

— Не думаю, чтобы этот грех был мне свойственен.

— Если уж вам будет так тяжело, то помолитесь. Молитва облегчает душу, а ей там будет легче.

— Спасибо вам. Ваши советы для меня целительный бальзам.

— У всякого своя должность, — скромно согласился он. — И еще я вам скажу: живите надеждой, что когда-нибудь встретитесь с ней. Рано или поздно всякий человек умирает. Если он умер рано — он меньше нагрешит, если умер поздно — грехи его увеличились...

— Пропорционально прожитым годам, — вздохнул я.

— Пропорционально. Мужайтесь! Первые минуты потери остры, но потом постепенно все забудется... Вы можете встретить другую, полюбить ее, и еще будете счастливы. И я думаю, что дорогая покойница даст свое загробное согласие на ваше новое счастье...

— Ну, я думаю, она в этом деле будет ни при чем. Наоборот, она при жизни все время хотела меня женить.

— Ну, знаете — это, в конце концов, не важно. Теперь на это иначе смотрят, чем раньше. И если вы любили ее, как жену, то и без женитьбы церковь простит ее и примет в свое лоно.

— Вы впали тут в маленькую ошибку, — печально улыбнулся я. — Я никогда не любил ее, как жену. Но она была хорошей теткой.

— Простите, я вас не понял. Вы, значит, потеряли вашу дорогую тетю?

— Увы!

— Что делать! Все будем там, и ни один человек не уйдет от своей судьбы. Конечно, тяжело потерять тетку, но еще горше потерять любимую жену или ребенка.

— Это верно, — улыбнулся я с тихой грустью. — Теток много, а жена одна.

— Не правда ли? — оживился агент. — Да ведь тетка тетке рознь. Иная тетка попадется, что ой-ой-ой!

— Сущие ведьмы бывают, — подтвердил я.

— Хе-хе! Это верно. Да я вам так-таки скажу откровенно: иной клиент рад-радешенек, что его тетка протянула ноги.

— Что вы говорите! Это забавно.

— Еще как забавно! К нему пойдешь за заказом, ну, конечно, говоришь: «мужайтесь» и прочее там, а он мне: «сами, — говорит, — вы мужайтесь».

— Ха-ха-ха-ха-ха!

— Хе-хе-хе-хе! На некоторых похоронах прямо-таки смех один. В особенности, если еще тетка богатая, да оставила малую толику денежек.

— Представьте, моя покойная тетка тех же правил: оставила мне 40 тысяч.

— Ах, шутник! — засмеялся агент, потрепав меня по плечу. — А я-то тут распинаюсь, утешаю его. Ну, поздравляю, поздравляю. Однако, при таком капитале, надеюсь, все будет, как следует.

— Все и есть, как следует, — успокоил я агента. — Все благополучно, и я, как видите, своим видом не напоминаю безутешного родственника.

— Хе-хе-хе! Приятно иметь дело с такими клиентами. Вы знаете, у нас тоже есть сердце и мы тоже люди... И когда человек рвется к незасыпанной могиле или хочет разбить себе голову о ближайший монумент, — нам на это тоже невыносимо тяжело любоваться.

— За свою голову я спокоен, — заметил я. — Не высечен еще тот монумент, который бы грозил мне смертью.

— Хе-хе... Разрешите снять мерочку?

— Какую мерочку?

— Для гробика-с.

— Зачем же? Для меня снимать — еще рано, для тетки — уже поздно.

— Почему же поздно? Это дело самое пустяковое. Покойница, вероятно, в соседней комнате?

— О, нет, что вы! Не дай Бог... Ее здесь нет.

— На другой квартире изволят дожидаться?

— Не думаю, чтобы ожидание чего бы то ни было — являлось ей свойственным.

Агент привстал, с беспокойством взглянул на меня и спросил:

— Да, позвольте... Ваша тетка, действительно, умерла?

— О, могу вам в этом поручиться.

— Для нее, действительно, нужны процессия и гроб?

— Как вам сказать... Я полагаю, что к процессии она равнодушна, а вот гроб... Новый, хороший гроб ей, я думаю, нужен. Я, впрочем, не знаю, как у них там.

— Помилуйте! У нас все гробы новые.

— У в а с, — тонко прищурился я, — А у них это не так. Я думаю, она не прочь была бы заменить свою старую развалину новым гробом.

— Позвольте, позвольте, — растерянно сказал агент, потирая голову. — Вы говорите, ваша тетка умерла... когда она умерла?

— Три года тому назад. Мужайтесь!

— В таком случае, зачем же вы меня вызвали?!?!

— Кто вас там вызывал? Ваше бюро само ко мне позвонило и предложило прислать мне вас.

— Но вы меня отрываете от работы...

— Ваше бюро меня тоже оторвало от работы. Впрочем, я вас не понимаю: вместо того, чтобы радоваться, что у меня все благополучно, вы кричите на меня, почему у меня нет покойника. Мужайтесь!

— Больше вы меня к себе не заманите, — серьезно проворчал он, отыскивая шляпу.

— О, как бы я хотел этого! Видите ли, наши интересы слишком расходятся: то что плохо для нас, то слишком хорошо для вас.

— Собачье житье, — прорычал агент, поворачиваясь спиной и лишний раз подчеркнув металлической пряжкой свою профессию. — Собачья жизнь!!

— И, однако, она лучше смерти, — философски возразил я, провожая его за двери...

СТАКАН ЧАЮ

Положение было такое: я сидел в кабинете за письменным столом; предо мной раскрытое окно; за окном небольшой двор, а на другой стороне двора флигель; окна флигеля открыты, и мне хорошо были видны фигуры мужа и жены, только что усевшихся за чайный стол.

Жена взяла стакан, протерла его полотенцем, поставила в подстаканник и спросила:

— Тебе покрепче?

— Конечно! Ты же знаешь.

Не отрывая глаз от газеты, муж взял стакан, поднес его ко рту и вдруг, закричав, вскочил со стула.

— Что такое?

Он завертелся по комнате, как подстреленный, потом подскочил к столу, нагнулся и, негодующе глядя на жену, простонал:

— Это ты... нарочно?

— Что такое?! Что — нарочно?

— Подсунула мне кипяток?

— Какой там кипяток? Что такое! Обыкновенный чай.

— Нет-с, это настоящий крутой кипяток-с!!

— Что ты хочешь этим сказать?

— То и хочу сказать, что это низость! Ты была бы очень рада, если бы я обварил горло!

— Что ты хочешь этим сказать?

— А вот то! Хочу сказать, что ты рада сделать мужу гадость...

— Ну, знаешь ли... Ты сам виноват...

— Сам?! Сам?! Почему сам?

— Если ты такой дурак — не нужно было жениться. Пил бы себе холодный чай!

— Нет, это тебе не нужно было за дурака замуж вых... То есть, нет, я хочу тебе сказать, что ты дурра! Слышишь, ты? Дура!

— Я?!!

— Ты.

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что если дают кипяток, то об этом предупреждают!

— Странно... Владимиру Ивановичу всегда наливаю такой чай, и он пьет...

— Это потому, что у твоего Владимира Ивановича вместо горла, водопроводная труба!

— Что ты этим хочешь сказать?

— Ну, вот! Заладила сорока Якова...

— Какого Якова? На какого ты Якова намекаешь?!! Я тебе на твою немку не намекаю?!

— Во-первых, у меня никакой немки нет, а затем она всегда наливает чай, как следует, а не кипяток!

— Ах, вот что?!.. Так ты бы и шел к ней!..

— И пойду! Я, слава Богу, еще не в аду живу, где грешников кипятком шпарят...

— Все равно — скоро попадешь туда.

— Да, конечно! При твоем содействии. Сегодня кипяток, завтра кипяток, — конечно, в конце концов, сваришься. Ты рада меня со свету сжить, а самой убежать к твоему чертову Владимиру Ивановичу!..

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ну, вот! Черта крести, а он говорит — пусти.

— Да, уж верно!! Тебе только черта и крестить — для человека ты не годишься!!

— Шшто-с?! Так я тебе говорю: если ты мне еще раз подсунешь такой кипяток...

Жена вскочила, уронив стул, и завопила:

— Это не кипяток!! Обыкновенный горячий чай, который все пьют — слышишь ты это?!! Все!!

Я видел как в глубине столовой распахнулась дверь и в комнату вошла худощавая девица, по виду родственница.

— Ну, вот, вот, — закричала жена, схватывая ее за руку. — Пусть Лиля скажет; она лицо незаинтересованное. Попробуй, Лиля, что это за чай... Горячий он?

Лиля взяла стакан с подстаканником, отхлебнула глоток чаю и поморщилась.

— Фи, какая гадость... Еле теплый.

Муж схватился руками за голову и снова заметался по комнате, крича истерически:

— Теплый?! Еле тепленький?! Все, все в этом доме заодно! Я знаю, я всегда ваш враг, вы всегда друг с другом против меня!! Если вы кипяток считаете тепленьким, я считаю вас лживыми, истеричными бабами.

— Николай Николаевич! — сказала родственница, с достоинством выпрямляясь. — Если вы оскорбляете меня,

пользуясь тем, что мне негде жить, и я живу у вас из за милости моей сестры, то... дайте сами оценку своему поступку.

— Не желаю, — рычал муж, размахивая руками. — Не желаю давать оценки своему поступку. Сами давайте оценку!!

— Извольте! То, что вы делаете — гадость. Если вам моя сестра не нравится — вы могли на ней не жениться, а издеваться над беззащитными...

— Ну, вот!! Видели вы, люди добрые, — обратился он к самовару, который невозмутимо дремал в углу стола, — что она говорит?! В огороде бузина, а в Киеве дядька.

Жена снова вскочила, красная, со сверкающими глазами.

— Какой дядька? Вы это про какого дядьку говорите? Вы на кого намекаете?!!

— Чего ты кричишь? Небось, если бы себе спалила горло так же, как я, — не покричала бы.

— Мне палить горло нечем. Я алкоголя не пью!!!

— Господи! И среди таких людей мне приходится жить! Среди такого общества вращаться...

— Да-с, да-с! И это честь для тебя!! Я знаю, ты хочешь внести сюда нравы ночлежного дома!!! Но я...

Опять распахнулась дверь, и в комнату, ковыляя, вкатилась толстая старуха-нянька.

— Вы рази о дите подумаете, — сказала она негодующе. — Только что дите уложила, как нате вам! Завели волынку!!!! С утра самого: гыр-гыр-гыр, гыр-гыр-гыр!

Муж схватил няньку за руку и, таща к столу, заревел:

— Нянюшка! Вы единственная толковая женщина... Скажите вы по справедливости: можно пить такой чай?!

Нянька отхлебнула, задумчиво пожевала сморщенными губами и убежденно сказала:

— Никак такого чаю пить нельзя; кто же такой чай пить будет? Разве это возможно? Прямо нужно сказать: не такой это чай, чтобы его пили... Слава Богу, у хороших господ жила — знаю.

— А что? — вскричал муж. — Я знал, что нянюшка умная, справедливая женщина...

— Она справедливая женщина? Просто она подмазывается к тебе, чтобы попросить в счет жалованья. Вот и делает вид, что обожглась!

— Стара я, матушка, подмазываться-то. А только, если мне дают холодный брандахлыст, я и говорю: никто его пить не станет!

— Черт! — закричал муж в совершенном бешенстве. — Уберите от меня эту старуху! Это какое-то сонмище ядовитых змей! Извести вам меня надо? Так вы просто подсыпали бы мне чего-нибудь в кушанье...

— Это я? — хлопнула себя по бедрам нянька и громко зарыдала. — Я тебя хочу отравить?! Да чтоб мои глазыньки...

Я больше не мог быть безмолвным свидетелем того, что происходило в окне флигеля напротив моего кабинета.

Я вскочил, надел шапку и побежал к соседям.

Они были поражены моим появлением в столовой. Отступили в глубь комнаты и притихли, поглядывая на меня.

— Извините, — сказал я, — что, не будучи знакомым, пришел. Но я видел все, что здесь было — из окна своего кабинета — и хочу, как говорится, вывести вас на настоящую дорогу. Всяк из вас, милостивые государи, прав по-своему. Вы, сударыня, действительно налили очень горячего чаю... Супруг ваш обжегся и вступил с вами в пререкания. Ваша сестрица пришла через 10 минут после наполнения стакана кипятком, и, естественно, нашла чай теплым. Эта уважаемая старушка пришла еще пятью минутами позже — и застала совсем холодный, как она выражается: «брандахлыст». Температура жидкостей, как вам известно, от соприкосновения с окружающим воздухом...

— Что вам, собственно, угодно? — прищурясь, спросил супруг.

— Собственно, ничего. Я только хотел открыть вам глаза на истинное положение вещей. Я видел в окно все происходящее...

— Очень милое занятие, — перебила жена. — Подглядывать за соседями. Как не стыдно, право!

— Воспитание, — иронически покачала головою свояченица мужа. — Врываются в квартиру, дают наставления...

Нянька заметила:

— У нас один тоже у господ, где я допреж жила... Пришел так-то вот — и шубу с вешалки унес... Иди себе, иди, батюшка... Бог с тобой — иди!

И они, четверо, грозно стояли тесной стеной против меня, стояли, сплоченные общностью семейных и имущественных интересов. Стояли и сердито поглядывали на меня.

Я горько улыбнулся, покачал головою и ушел.

Люди хотят бродить во тьме, хотят быть слепыми, беспомощными, глупыми щенками, и горе тому, кто попытается показать им ослепительный свет истины.

Что ж... как им угодно.

ЛИКВИДАЦИЯ

Вызванные в участок обыватели, сидели на деревянном диванчике, тесно прижавшись друг к другу, и недоумевали.

— Может, налог новый хотят объявить?

— Хватили. Для этого и вызывать не станут. Просто — возьмут.

— А то, может, распоряжение какое-нибудь... Что, мол, на основании чрезвычайной охраны, предлагается жителям не иметь при себе и употреблять в пищу — ничего круглого. Вроде, как на праздник Иоанна Крестителя.

— Да зачем же это?

— Мало ли. А то еще: при наличии признаков, кои знаменуют приращение семейства — заблаговременно выбирать на этот предмет из соответствующих учреждений необходимые документы, как-то: метрику, пачпорт и всякое такое.

— Вы скажете! А пол как же? А возраст?

— Можно беленькие штучки такие в пачпорте оставлять, пробельчики...

Во взорах виднелась тоска неизвестности.

— Господи! Скорее бы уж...

— Васятка! Ты, может быть, грешен чем?

— Чем же, Микита Кузьмич?!

— Бомбов не стряпаешь ли, часом?

— Господи, Боже ты мой! Скажут этакое. Я и во сне их не вижу.

— Ребята! Может быть, кто газетой балуется?

Солидный обыватель Ихневмонов вытащил из кармана газету и потряс ею в воздухе:

— «Голос Москвы».

— Книга, может, у кого?

Другой обыватель сконфуженно вытащил из кармана книжку и помотал перед носом соседей:

— «Джон Вильсон, известный сыщик. Шулер — убийца игроков».

Хотя ничего крамольного в книжке не было, но все, от скуки, обратили на нее внимание.

— Любопытное сочинение. Дозвольте, ваша милость, читнуть в ее.

— Пожалуйста. Может быть, пока г. околоточный выйдет, мы вслух почитаем.

— Правильно. Читай, Иван Диомидыч!

Скоро в передней участка зазвучал ровный, монотонный, без остановок, голос чтеца:

— В предместье Лондона Уайт-Чапель жил негоциант Эдуард Гаррисон. В одну туманную ночь в его квартире происходило вот что: какой-то замаскированный незнакомец, держа револьвер перед почтенным негоциантом, восклицал: где спрятаны твои банковые билеты, а то буду стрелять. — Негодяй, — воскликнул негоциант, — ты за это поплатишься...

Дверь отворилась и быстрой походкой, хмуря брови, вошел к заслушавшимся гражданам околоточный.

Все встали.

— Изволили звать нас?

— Да-с. Изволил-с звать-с!

Молнии сверкали и сыпались из надзирателевых глаз так страшно, что у всех сердце екнуло.

— А ну-ка ты, как тебя... Иван Петров?

Околоточный поманил пальцем:

— Подойди-ка сюда. Подойди-ка...

Потом околоточный взглянул на какую-то бумажку, бывшую у него в руках, и спросил:

— А не скажешь-ли ты, Иван Петров, что ты делал 15 октября 1905 года в шесть часов пятнадцать минут вечера?

Иван Петров согнал с лица выражение ужаса и сделал вид, что задумался.

— Ну?

— Ваше благородие! Разве можно припомнить!

Околоточный сардонически захохотал.

— Еще бы! И не припомнишь ли ты, кто это 15 октября в шесть часов пятнадцать минут вечера аплодировал

на митинге оратору по восхвалению забастовок и кричал ему после речи: «Правильно, товарищ Демьян! Лупи дальше!»

Мертвенно бледный стоял Иван Петров и беззвучно шевелил белыми губами.

— Ваше благородие! Нешто я... За что ж теперь-то... Четыре года прошло... Неужто вспоминать. Время такое было...

— Ага! Время такое? А ты знаешь, милый, чем это пахнет?

Иван Петров чистосердечно заявил, что не знает.

— Восхваление преступных деяний, натравливание... возбуждение...

— Господи! Нешто я один тогда? Все были. И Васятка вот был, и Микита Кузьмич...

— Те-те-те! Постой — запишу. Микита Кузьмич, говоришь? Василий... как тебя?

Василий пошатнулся и со свистом пролепетал непонятные слова:

— Ам... блям... бу-бу-бу...

Кто-то в углу истово перекрестился. Кто-то заплакал.

— Плакать после будете, — сухо сказал околоточный. — Иван Диомидов Лобзиков. Что вы делали в ночь с 17 на 18 октября 1905 года в трактире Трындина?

— Я-с... Ваше благородие! Ежели пьян был...

— Нет, ты не был пьян. А ты будешь привлечен за то, что собирал подписи под благодарственной телеграммой графу Витте и говорил слова: «Пью сие пиво за восстановление революционно-социалистической монархии народного благоустройства»... У нас, голубчик, все записано! Сознаешься?

— Казанская Божья Матерь! Микола Милостивый! Нешто упомнишь...

— Хорошо-с. Следствие это выяснит. Василий Васильев! Может быть, во избежание утомительного судебного следствия, ты скажешь нам, какую газету читал ты в десять с половиной часов утра 21 октября 1905 года, сидя на конке Ивановская-Дворянская?

— Ваше бл... Мало ли тогда... Действительно что... Припоминаю. Будучи тогда на конке-то, читал «Начало». Помню, ваше благородие, потому, что вы тогда сидели насупротив меня и читали «Новую Жизнь», издание господина Горького.

— Дурак! Мало ли что читал... Почем ты знаешь, для чего я читал? Я лицо должностное.

— Ваше благородие! Тогда у всех было «Начало»...

Надзиратель улыбнулся.

— Тогда было начало, а теперь — конец. То-то. Кто еще остался? Игнат Дубинин? Не припомнил ли бы ты, Игнат Дубинин, на что ты любовался с веселым лицом восемнадцатого октября 1905 года? И кто сказал тогда же с веселым лицом нелепую, оскорбительную для великого прошлого России фразу: «Вот теперь мы вздохнем свободно!» Ага! Теперь вздыхаете?

Когда закованную в кандалы группу лиц, состоящую из Ивана Петрова, Василия Васильева, Ивана Лобзикова, Никиты Кузьмина и Игната Дубинина, вели по улицам города, одна старуха, указывая на них кривым пальцем, рассказывала толстому лавочнику:

— Креста на них нет! Из восьми душ семью вырезали, бумажки делали и под четырех начальников по бомбе бросили! Сичас помереть!!

ВИТЯЗИ

Это было как раз на другой день после выхода из национального всероссийского клуба М. Суворина, А. Столыпина, А. Демьяновича и Ал. Ксюнина.

За столом в одной из комнат клуба сидели оставшиеся члены и, попивая сбитень, мирно беседовали.

— А и тошнехонько же тут, а и скучнехонько же, добрые молодцы, — заметил граф Стенбок.

— Ой, ты гой еси, добрый молодец, — возразил барон Кригс. — Не тяни хоть ты нашу душеньку. Не пригоже тебе тако делати...

Один рыжий националист вздохнул и сказал:

— О, это, гой еси, по та пришина, что русский шеловек глюп! Немецки шеловек устроил бы бир-галле мит кегельбан, и было бы карашо.

— Тощища, гой, еси. А что, добры молодцы, может, телеграмму приветственную Плевицкой спослать?

— А по какому случаю? Вчера ведь посылали.

— Да так послать. А то что ж так сидеть-то?

— Не гоже говоришь ты, детинушка. Просто надо бы концерт какой-нибудь устроить.

— Нужно говорить не концерт, а посиделки.

— Добро! А ежели с танцами, то как!
— С хороводом, значит, гой еси.
— О, Боже ж, как тошнехонько!
В это время в комнату вошел новый националист.
— Здравствуйте, господа! Записался нынче я в ваш союз и в клуб. Принимаете?
Барон Кригс встал, поклонился гостю в пояс и сказал, тряхнув пробором:
— Исполать тебе, добрый молодец.
— Чего-с?
— Говорю: исполать.
Гость удивился.
— Из... чего?
— Исполать, — неуверенно повторил барон Кригс.
— Из каких полать?
— Не из каких. Это слово такое есть... русское... Мы ж националисты.
— Какой черт, русское, — пожал плечами гость. — Это слово греческое... Еще поют «Исполайте деспота!».
— А не русское? Вот тебе раз.
Барон снова поклонился гостю в пояс и сказал:
— А и как же тебя, детинушка, по имени, по изотчеству? Как кликати, детинушка, себя повелишь?
— Какие вы... странные. Меня зовут Семен Яковлевич!
— А и женат ли ты? А и есть ли у тебя жена красна девица-душа, со теми ли со деточками-малолеточками?
— Да, я женат. Гм!.. Что это у вас, господа, такое унылое настроение?
Барон Шлиппенбах покачал головой и сказал:
— А и запала нам в душу кручинушка. Та ли кручинушка, печалушка. Бегут из того ли союза нашего люди ратные и торговые и прочий народ, сочинительствующий, аще скоро ни одному не остатися. Эх, да что там говорить!.. А и могу ли я гостя дорогого посадити за скатерть самобранную и угостити того ли гостя сбитнем нашим русским.
— А и угостите, — согласился гость.
— А и не почествовати ли гостюшку нашего ковшиком браги пенной?
— А и ловко придумано.
— То ли какую марку гость испить повелит?
— То ли брют-американ.

— Дело! Эй, кравчий! А и тащи же ты сюда вина фряжского, того ли брют-американу.

Подали шампанского. Когда вино запенилось в деревянных ковшах, барон Вурст встал и сказал:

— Не велите казнить, велите слово молвить!

— Не бойся, не казним! Жарь дальше.

— То не заря в небе разгоралася, то не ратные полки на ворога нехрещенного двинулись! То я, барон Вурст, пью за то, чтобы матушка наша Россия была искони национальной и свято блюла те ли заветы старинные! А и крепка еще матушка наша Россия русским духом! А и подниму я свою ендову, выпью ее единым духом за нашу матушку и скажу то ли слово вещее: канун да ладан...

— То ли дурак ты, братец. При чем тут канун да ладан?.. Раз немец, не суйся говорить. Нешто это к месту?

— Милль пардон! Я что-то, кажется, действительно... А это, знаете, так красиво: канун да ладан! Ma foi!

— Не вели казнить, вели слово молвить, который теперь час?

— А и то ли восемь часов, да еще и с половинушкой.

— Ах, господа! А я еще обещал быть во тереме барона Шуцмана на посиделках. Ужасно трудно соблюдать национальные обычаи.

— И не говорите! — вскричал барон Вурст. — Вчера мы устроили русский обед и по обычаю тому ли русскому — пробовали лаптем щи хлебать. Ужасно неудобно. Капает на брюки, протекает, а капусту из носка лаптя приходится вилкой выковыривать.

— О, русски народ — глюпи шеловек. Ми тоже позавчерась пробовал сделайт искони русски свичай-обичай: лева ногой сморкаться. Эта таки трудни номер.

— Виноват, — возразил новоприбывший националист. — Вы немного напутали. Действительно, у русского народа есть такие выражения, но они имеют частицу отрицания «не». Говорят: «я тоже не левой ногой сморкаюсь», или: «мы не щи хлебаем».

— А, черт возьми, действительно, верно! Какой удар! Однако ты, гой еси, детинушка, действительно, хорошо знаешь русский свычай-обычай.

— Еще бы! Да вот вы, например, все время твердите, как попугай: гой еси, да гой еси! А вы знаете, что гой — это еврейское слово? Гой по-еврейски значит — христианин?

Из угла вдруг поднялся молчавший до сих пор угрюмый националист.

— А и куда же ты, детинушка, собрался?

— А и ну вас всех к черту. Думал я, что по-русски мы живем и разговариваем по-нашему, по-исконному, а тут тебе и по-греческому, и по-жидовскому, и щи лаптем хлебают, и левой ногой сморкаются... Исполать вам, гой еси, чтоб вы провалились.

— Пойдем и мы, — сказали двое мрачных людей.

Вздохнули, потоптались на месте и ушли.

— И хорошо, что ушли, — воскликнул старшина. — Все равно не надежны были. Зато теперь остался самый настоящий националист, крепкий. Ребятушки, чем займемся?

— Да чем же... давайте телеграмму Плевицкой пошлем.

— А и дело говорите. Исполать вам. Пишите. «Ой-ты, гой еси, наша матушка Надежда ли Васильевна! Земно кланяемся твоему истинно национальному дарованию и молим на мнагая лета тебе на здоровьица на погибель инородцам. Поднимаем ендову самоцветную с брагой той ли шипучей!»

— Подписывайтесь, детинушки!

И все расписались:

Барон Шлиппенбах. Граф Стенбок. То ли барон Вурст. Гой еси барон Кригс. А и тот ли жандармский ротмистр Шпице фон Дракен.

— Все подписались?

— Я не подписался, — застенчиво сказал новопоступивший националист.

— Так подписывайтесь же!

И он застенчиво подписал:

— Семен Яковлевич Хацкелевич, православный.

БЫТ

I

Однажды, вскоре после того как я приехал в Петербург искать счастья (то было четыре года тому назад), мне вздумалось зайти закусить в один из самых больших и фешенебельных ресторанов.

Об этом ресторане до сих пор я знал только понаслышке.

И вошел я в его монументальный огромный зал с некоторым трепетом.

И когда сел за столик, сразу на меня пахнуло суровостью и враждебностью незнакомого места. Было как-то холодно, страшно и неуютно... Официанты казались слишком необщительными, замкнутыми, метрдотель слишком величественным, а публика слишком враждебной и неприветливой.

«Господи! — подумал я. — Как мало в человеческих отношениях простоты, сердечности и уюта. Ведь они все такие же люди, как я; почему же они все так накрахмалены?! Так холодны? Чужды? Страшны?»

— Что прикажете? — сухо спросил метрдотель.

— Мне бы позавтракать.

— Простите, завтраков нет. Только до трех часов. А сейчас четверть четвертого.

— А вот те едят же, — смущенно кивнул я головой.

— Те заказали раньше, — ледяным тоном ответил метрдотель.

— Значит, что же выходит: что у вас мне не дадут есть?

— Почему же-с. Можно порционно. Но долго придется ждать: пока закажут, пока сделают.

— Тогда... ничего мне не надо, — сказал я, густо покраснев от сознания своего глупого положения. — Если у вас такие нелепые порядки — я уйду.

Я встал и, понурив голову, обескураженный, ушел, давая себе слово никогда больше в этот суровый ресторан не заглядывать.

* * *

Как это случилось — не знаю, но теперь это мой излюбленный ресторан.

Я в нем каждый день завтракаю, почти каждый день обедаю и часто ужинаю.

Швейцар на подъезде высаживает меня с извозчика и говорит:

— Здравствуйте, Аркадий Тимофеевич!

Снимая с меня пальто, другой швейцар замечает:

— Снежком-то вас как, Аркадий Тимофеевич, занесло... Погодка — прямо беда! А вас тут спрашивали Анатолий Яковлевич.

— Он ушел?

— Ушли-с. А Николай Николаевич здесь. Они с господином Чимарозовым сидят.

Я вхожу в зал.

Полный, вальяжный официант дает мне лучший столик, подсовывает карточку с тайной ласковостью, радуясь, что может ввернуть такое словцо, говорит:

— Бульон-ерши, конечно? Традиционно?

— Традиционно, — улыбаюсь я.

И действительно традиционно. Все традиционно... Буфетчик у буфета, наливая мне рюмку лимонной водки, сообщает, что «были Николай Николаевич и о вас справлялись», не спрашивая, поливает шофруа из утки соусом кумберленд и, не спрашиваясь, выдавливает на икру пол-лимона.

А сбоку подходит француз-метрдотель и говорит, мило грассируя:

— Вот, Аркадий Тимофеевич, говорят: заграница, заграница! А вы посмотрите, какие мы получили мандарины из Сухума — в десять раз лучше заграничных! Я вам пришлю отведать.

И все, что окружает меня в этом ресторане, дышит таким уютом, таким теплом и прочной лаской, что чувствуешь себя как дома, как в своей собственной маленькой столовой.

II

Когда меня впервые оштрафовали за какую-то заметку, я пережил несколько очень тягостных, неприятных часов.

Так было странно и неуютно, когда утром пришел околоточный и, несмотря на то что я еще спал, потребовал, чтобы его провели ко мне.

— Да барин еще спит.

— Ну, все равно я подожду: посижу здесь, в приемной.

— Да он, может быть, еще часа два будет спать...

— Ну, что же делать. А я его должен подождать. Дело срочное.

А когда я, наскоро одевшись, вышел к нему, меня поразил его неприветливый, гранитный вид.

— Что такое?

— Здравствуйте. Тут вот с вас нужно штраф взыскать... По распоряжению администрации.

— Да что вы говорите! Какой штраф? За что?!

— А вот тут сказано: за статью «Триумф октябристов».

— Позвольте! Да статья совсем безобидная!

— Не знаю-с. Меня не касается. Мне приказано взыскать деньги нынче же.

— Ну... а если я не уплачу?

— Тогда я обязан доставить вас в участок на предмет ареста.

Боже ты мой, как сухо, как официально.

Ни одной сердечной нотки... ни одного знака сочувствия.

Стоишь перед холодной гранитной стеной, которая не сдвинется, не пошевелится, хотя бы облить ее целыми ручьями слез человеческих.

— А завтра уплатить можно?

— Не могу-с. Циркуляр. Мы отсрочить не имеем права.

И вспомнился мне тот величественный метрдотель, который категорически отказал в завтраке только потому, что было на пятнадцать минут больше трех.

Суровый, безжизненный, холодный гранит! Угрюмый, замкнутый в своем величии мавзолей!

* * *

Как это случилось, не знаю, но теперь я в полиции свой человек.

Околоточный входит ко мне утром в спальню (он милый человек, и я его не стесняюсь), потирает руки и делает несколько веских замечаний о погоде.

— Собачья погода. Снегом совсем запорошило. Теперь в наряде стоять — одна мука. Здравствуйте, Аркадий Тимофеевич!

— А! Мое почтение, Семен Иванович. Ну, что?

Он улыбается.

— Традиционно!

Говорит он это вкусно звучащее слово совсем так, будто бы за ним должен последовать «бульон-ерши».

Я уже не испытываю тягостного, неприятного чувства живого человека перед мертвой гранитной скалой. У нас тепло, дружба, уют.

— За что это они, Семен Иванович?

— А вот я номерок захватил. Поглядите. Вот, видите?

— Господи, да за что же тут?

— За что! Уж они найдут, за что. Да вы бы, Аркадий Тимофеевич, послабже писали, что ли. Зачем так налегать... Знаете уж, что такая вещь бывает, — пустили бы пожиже. Плетью обуха не перешибешь.

— Ах, Семен Иванович, какой вы чудак! «Полегче, полегче!» И так уж розовой водицей пишу. Так нет же, и это для них нецензурно.

— Да уж... тяжеленька ваша должность. Такой вы хороший человек, и так мне неприятно к вам с такими вещами приходить... Ей-Богу, Аркадий Тимофеевич.

— Ну, что делать... Стаканчик чаю, а?

— Нет, уж я папироску выкурю и побегу. Дома-то у меня такая неприятность, жена кипятком руку обварила.

— А вы тертый картофель приложите: чудесно действует. Или чернилами обваренное место помажьте.

— Делали уж; и чернилами, и картофельную муку прикладывали.

— Ну, даст Бог, пройдет. А Афанасий Петрович попрежнему чертит?

— Да уж... горбатого могила исправит. Ну, я пойду. С деньгами как — традиционно? До завтра?

— Да, конечно. Я к Илье Константиновичу часа в три загляну. Всего хорошего.

В три часа я у Ильи Константиновича.

— А, господин анархист, — весело встречает он меня. — Традиционно? Садитесь! Я знаю, вы моих не курите, так я вам эти предложу, был Петр Матвеевич и забыл их у меня на столе. Курите контрабанду. Хе-хе.

— У Петра Матвеевича папироски хорошие, — соглашаюсь я, закуривая. — Марфу Илларионовну давно видели?

— Позавчера. В театре были. Потом поехали компанией ужинать и очень жалели, что вас не было.

— Да, да, очень жаль. Кстати, там у вас есть насчет меня предписание... четыреста рублей, так я...

— Знаю! Завтра, конечно, Аркадий Тимофеевич. А я те книжки, что вы мне дали, уже прочел. Следующий раз с Семеном Ивановичем их передам.

О «следующем разе» мы оба говорим так же хладнокровно, как о завтрашнем дне, который все равно неизбежно наступит...

Однажды я, по обыкновению, разогнался в свой излюбленный ресторан, и вдруг швейцар остановил меня на пороге:

— Сегодня, Аркадий Тимофеевич, закрыто: по случаю начала ремонта.

Я заглянул в залу, и сердце мое сжалось: не было привычных столов, покрытых белоснежными скатертями, мягкого красного ковра и зелени трельяжей.

— Э, черт! Какого же дьявола вы не объявили раньше!

* * *

Однажды утром ко мне явился Семен Иванович.

Он обругал погоду и сообщил о нескольких новых штрихах в облике неуравновешенного Афанасия Петровича.

— Садитесь, — сказал я. — За какую статью? Сколько?

— Нисколько. Я зашел, чтобы вы подписали протокол по делу о столкновении моторов. Вы свидетелем были.

Чем-то чужим, неуютным пахнуло на меня... Будто бы взору моему вместо привычного вида трех рядов столов, покрытых скатертями и украшенных цветами, предстала суровая, чуждая картина голых стен и обнаженного от мягкого ковра пола.

И разговор на этот раз не вязался. Мы были выбиты из привычной колеи...

Когда нет быта, с его знакомым уютом, с его традициями, — скучно жить, холодно жить...

ДРАМА В ДОМЕ

Правожительство? Если вы мне скажете что-нибудь о нем, я пожму плечами и буквально помру со смеху.

Что такое? К чему? Зачем?

Слушайте, тут никого нет по близости? А?

Так хотите, я брошу ретроспективный взгляд назад, и вы увидите, что такое значит еврейское правожительство.

Знаете что? Здравомыслящий человек не должен ему уважать. Что вы говорите? «Его»? Ну, оттого, что я скажу «его» — моего уважения к нему не прибавится. Таки-так.

Первый свой ретроспективный взгляд мы бросим на Семена Юшкевича. Хороший был еврей, так знаете, чего ему не хватало? Вы его спросите, чего ему не хватало! Сделался писателем. Тоже занятие для еврея! Сидит и сидит. Пишет и пишет. А в Петербург приехать не имеет права! Ну, так

написал он пьесу «Драма в доме» и — что только еврею может прийти в голову — захотел поставить в Императорском театре. Такой его идализм все-таки имел под себе... ну, да — под собой! Я и говорю: имел под собой почву, потому что «Драма в доме» таки была буквально принята на Александринку.

Вот тут и начинается настоящая драма в доме.

Семен Юшкевич хотел приехать для постановки драмы — Семену Юшкевичу нельзя приехать для постановки драмы... Чистый смех и слезы.

Обо всем забыл, даже начал подумывать, чтоб жену выписать, как вдруг, однажды... Тыкались, мыкались — тут тебе и академия наук хлопочет, и общество защиты детей от жестокого обращения, и интендантский вещевой склад...

Ну! Разрешили.

Получает Семен Юшкевич бумагу, что еврею «Шимону Шлиомову Юшкевичу-Рошкусу — это Юшкевича Семена так зовут, — разрешено временное, сроком на 2 месяца, пребывание в столице, для подготовительной работы на сцене Александринского театра — пьесы означенного еврея «Драма в доме».

Приезжает этот еврей — руки в карманах, нос держит так высоко, что глаз не видать — приезжает в Петербург.

А ну, где у вас тут репетиция? Давайте немножко поставим мою пьесу.

Стали ставить. Первый акт уже прошли, и второй, и третий — Семен Юшкевич уже полнеть стал, обо всем забыл, даже начал подумывать, чтобы жену выписать, как вдруг, однажды...

Сидят они, репетируют четвертый акт...

— Ой, — говорит Семен Юшкевич, — эту фразу мадам Мичурина, вы не так немножко произносите!

— А как же нужно?

— Смотрите сюда! Вы подходите к окну и говорите с немножечком аффектации так: «О, Боже м...» Что такое? Кто такой? Что вам нужно?

— Не видите разве — околоточный. Пожалуйте на выезд.

— Как так?

— Очень просто. Срок два месяца истек. Тек, тек, пока не истек.

— Ой, так я ж еще пьесы не кончил! Обождите денечка два...

— Это нам невозможно.

— Ну, посидите! Сейчас. Так вот вы, мадам Мичурина, подходите к окну и говорите: — «О, Боже м...» Ну, что вы за руку цапаетесь — иду. Уже нельзя двух слов сказать — загорелось! Иду и иду. Такая жалость — пол акта осталось — пожалуйте! Прощайте, мадам Мичурина, прощайте, мусью режиссер — вы видите, какая драма в доме получилась?

И околоточный, как нянька, посадил Юшкевича на поезд и даже сам свисток дал, чтобы машиниста не затруднять.

Это первое право жительства.

* * *

Вторая... что? Ну, да второе — я же и говорю: второе случилось со скульптором Менделем Беренсоном.

Одному важному купцу, коммерции советнику, захотелось, чтобы его бюст — знаете, так, без рук, без ног — одна грудь и наверху голова, — чтобы такой бюст ему слепил именно Мендель Беренсон.

Как будто мало других лепщиков.

Опять старая история, опять право жительства, опять хлопоты... Бегал-бегал коммерции советник, пока не добился своего.

— На тебе на один месяц, только отвяжись.

Ну, и закипела, знаете, работа. Сегодня один глаз, завтра другой, сегодня один подбородок, завтра дру... Ну, да, положим, так и было — завтра другой! Вы же знаете, у некоторых важных людей бывает по два подбородка.

Такая лепка идет, что ужас.

И опять, знаете, такая же история... Только левое ухо начал делать — пожалуйте!

— Что такое? Ой-ёй! Дайте же мне ему ухо сделать — нечего толкаться. Не может же человек с одним ухом остаться.

— Это, говорит, не мое дело. Пожалуйте. Потому — закон.

— Закон, закон! А такой закон есть, чтобы человек с одним ухом остался?! Это же не какой-нибудь биржевой заяц или набивальщик папирос, которому и вовсе без ушей хорошо, да?

Так нет. «Пожалуйте!»

Успел только, бедный Мендель, пока околоточный папироску закуривал, на левую щеку из глины такую гугулю

пришлепнуть, чтобы хоть немного на ухо было похоже. Так вы знаете — получилось такое ухо, что ни один приличный человек носить не станет.

И что получилось? Коммерсанту — убыток, знакомым его смех — относительно уха, а Менделю — неприятность.

* * *

А третья история с правом жительства самая нравоучительнавя...

Мотька Цилелтус, маравихер, и Гершка Цилиндр — настоящий идеал хипесничества — приехали без всякого паспорта и права жительства в Петербург. И остановились они у, извините, любовницы Мотьки, Раи Перельмутер, и стали вместе с Абрамом Гоем и Сенькой Сметаником работать — один месяц, два месяца, три и четыре месяца — так стали работать, что заглядение. И никто не говорил им, что нужно уезжать, а они себе работали и работали. Сегодня с прислугой познакомились, завтра в рассыльные поступили, потом кусочек воска к дверям приложили, потом что-то подпилили, кого-то подпоили, кого-то придушили — и такую в конце концов драму в доме поставили, что десяти Семенам Юшкевичам не снилось.

Вот что. Таки-так.

И если вы мне теперь скажете слова «правожительство», я буквально лопну от смеху. Ретроспективно лопну.

ЗАМЕТКИ ВЕЛИКОСВЕТСКОГО РЕПОРТЕРА

За последнее время слово «бридж» сделалось в великосветских гостиных всеобъемлющим...

(*Из великосветской хроники «Вечерн. Времени»*).

I

Вчера у баронессы фон-Шрам состоялся бридж. Были только близкие люди и я; сама баронесса (черно-синее платье с пальетками) не делает больших приемов после смерти своего дяди Брудастова (черный сюртук, на лбу бумажная

полоска, в ногах венок из белых роз), но интимные бриджи проходят очень оживленно. Из великосветской молодежи был К.И. Хромоногов (одет: черный смокинг, рубашка, на лице изящная царапина от дуэльного удара) и В. В. Дудукаев, тот самый, который имел громкую историю с графиней Милягиной (белое платье с пальетками, на шее экрю).

Хозяйка очаровывала всех своей любезностью; к двенадцати часам был приготовлен в столовой холодный бридж.

II

Наконец, граф Халамузин открыл двери своего аристократического бриджа на Сергиевской. После того, как он развелся с женой (белое атласное платье, крытое пальетками, в ушах горностаи чистейшей воды) — это был его первый открытый прием.

Щегольские бриджи подлетали, наполненные великосветскими монденами и монденками, к подъезду роскошного палаццо.

Веселились до 2-х часов ночи.

Приглашенный изящный пианист сел за рояль, и гости долго развлекались, танцуя бридж; хозяин очаровывал всех любезностью. Меня он называет просто: «братец», хлопает по плечу, и я, как свой человек, даже два раза бегал на кухню.

За ужином было оживленно, в особенности, когда захлопали пробки, и искристый бридж наполнил стаканы.

III

Третьего дня у княгини Штукаревой состоялось утреннее кофе. Из приглашенных был я. Сама княгиня (изящный пеньюар с пальетками) не вышла, сказав, что у нее болит голова, и я напился кофе один; было превесело, горничная очаровывала своей любезностью. Очаровательная хозяйка, выслала, наконец, в конверте двадцать пять бриджей, и гости, довольные, стали понемногу разъезжаться.

IV

В высшем свете много говорят о предстоящей великосветской дуэли.

Дуэль состоится между князем Сигаевым (черный жакет, полосатые брюки) и светским молодым человеком Брыкиным

(сюртук); все дело вышло из-за опереточной певицы О. (изящная кружевная сорочка с пальетками, на ногах гриперль).

Мы навестили князя, но он оказался нездоров: у него сильнейший бридж.

Из другой комнаты мы слышали, как он говорил своему камердинеру на чистейшем французском языке:

— Gonite ego!

Мы не решились беспокоить титулованного дуэлянта, поняв с demi mot'a, что приема у него не будет.

V

Вчера застрелился один из великосветских львов сезона (серый шлафрок со шнурами, черные брюки, револьвер Браунинг с пальетками); пуля пробила бридж.

Тетка его (синее платье цвета валансьен) долго рыдала над трупом; приемов эти дни не будет.

Я вчера заехал к тетке, выразил соболезнование, но швейцар (красная ливрея, в руках булава) от имени хозяев сказал на французском языке:

— Pochiol von!

Хозяева очаровывали всех своей любезностью.

VI

В великосветских гостиных бридж вытесняется другой игрой: именно, когда человек приходит, ему говорят на французском языке:

— Net doma.

Не зная этой игры, я пытался проникнуть во внутренние бриджи, но хозяин, очаровывая любезностью, спустил меня вниз.

Я замечаю, что весь монд увлечен этой игрой.

Самая высшая мода в этой игре — не пускать гостя дальше передней.

VII

Вчера в большом зале ресторана «Слон» состоялся великосветский ужин.

Из приглашенных был только я (блестящий сюртук, брюки горностай с бахромой); приглашенным подавали битки с пальетками и бутылку бриджу, выпив которую гости развеселились до упаду.

Швейцар очаровывал своей любезностью. Нынче под глазом у меня бридж.

РАЗРЫВ

Левее, черт желтоглазый!
Левее!

Извозчик.

— Дома?

— Это как для кого...

— Ха-ха... хе-хе... Шутник ты, Григорий!

— Вам что нужно то, господин?

— Господи! Голубчик, Григорий. Неужто ж, не признал? Сколько раз, кажется...

— Проходили бы вы. Нельзя тут постороннему народу останавливаться.

— Гриша! Милый! Да какой же я посторонний? Это я-то посторонний! Ты уж тово... пропусти меня, Гришенька. Мне нужно самого Владимира Николаевича видеть.

— Нельзя. Чужих пускать не велено.

Гучков сморщил лицо в больную, страдающую улыбку и ненатурально захохотал.

— Я? Чужой?! Веселый ты человек, Грегуар. Тебе бы где-нибудь в театрах выступать... Стишки смешные писать... гм... да.

— Нельзя. Чужих пускать не велено.

Швейцар стоял, как каменное изваяние.

— Гм... да. Так ты, тово, друг Горацио. Пойди и скажи: Гучков, мол, видеть хочет. Нужно, мол.

— Нельзя, — тупо смотря в землю, прогудел швейцар. Посторонних лиц пущать не велено.

— Грицко, дорогуша моя! Да что ж тут такое делается? Что с тобой? Ведь это я: Александр Иванович Гучков! В лидерах который.

Швейцар подумал.

— Не знаю. Проходите. Нельзя.

Рядом с Гучковым стоял сухой, тощий, скривившийся набок октябрист. Он потянул Гучкова за рукав и робко сказал:

— Пойдем, Александр Иваныч. Чего там... Ну, не пускают — что уж делать... Уж значит нельзя. Уж они, швейцары эти, знают.

— Нет, я не уйду! — обиженно закричал Гучков. — Ты меня пустишь! Вызови мне самого Коковцева!

— Во-во, — засмеялся швейцар. — Так он сам сейчас и выйдет. Пожалуйте мол, дядя, в хоромы чаев перловских с сахарами бобринскими кушать! Э-эх! Проходите уж.

Гучков покраснел от гнева.

— Хороше же!..

Он сделал несколько шагов назад, скрестил руки, откинул голову и внушительно произнес:

— Мы ждем!

Швейцар зевнул и почесал концом булавы за спиной.

— Вы слышите? *Мы ждем*!

Швейцар стоял, молча. Улыбался в усы.

— Эй, серьезно говорю вам: мы ждем!

— Ну, чего там дурака валяешь, — шепнул Гучкову искривленный октябрист. — Дума здесь, что ли?!

— Швейцар! — властно сказал Гучков. — Мы ж-д-е-м!

Швейцар вынул газетку, сел на стул и погрузился в чтение.

Прошло минут десять.

— Швейцар, — устало, печально сказал Гучков. — Мы ждем... Ведь, вы же видите...

Было тихо. Шелестела только газета.

Искривленный октябрист сел на землю и покорно опустил голову. Гучков стоял.

Шелестела газета. Моросил дождь... Где-то визжал и плакал граммофон.

— Швейцар!! — с последним взрывом горя и отчаяния, болезненно закричал Гучков. — Вы разве не видите — мы ждем! Молчите? Хорошо же...

Он ткнул ногой сидящего октябриста.

— Пойдем. Не пускают к Коковцеву. Понимаем-с, понимаем-с...

Он сделал бодрое лицо, взял товарища за руку и зашагал вдоль по Фонтанке...

Но, повернув в переулок, остановился, опустился, обвис и, бессильно прислонившись к каким-то воротам, закрыл лицо руками.

— Высосал! Выжал, как лимон, износил, как старые сапоги — и бросил! Гучков — первый человек был, Гучкову первое место... Советовались с Гучковым, заискивали у Гучкова. А теперь — пошел вон, старый изношенный глупый октябрист!..

Искривленный октябрист стоял около и гладил Гучкова по мокрому от дождя плечу.

— Ну, что там... Зачем так. Просто, его, вероятно, не было дома, или занимался какими-нибудь домашними делами... или голова болела. В другой раз, глядишь — и примет.

— Нет, Вася... Нет!! Не утешай меня. Все для меня теперь ясно, Вася...

Он обернулся, бледный, постаревший, с дрожью в плечах и в голове.

— Что делать? Где выход? Куда я теперь гожусь — старый, глупый, обойденный октябрист? Что я умею делать? На что способен? Вот был Гучков, час тому назад был... А теперь... Вася... Нету Гучкова. Обо... лочка осталась... тряпка... выж... жатый лим... лимон!

Он схватился за голову.

— Выбросили!!..

* * *

В Думе к лидеру эсдеков подошел курьер и сообщил, что его хочет видеть Гучков.

— Что ему надо! — удивился лидер. — Где он?

Прячась за белой колонной, стоял Гучков. Сюртук его был в пуху, на лице лежали серые свинцовые тени, и около ботинка из-под брюк болталась белая штрипка.

— Вы меня звали?

Гучков опасливо огляделся, взял эсдека за руку и отошел в угол.

— В чем дело?!

— Скажите, милый, — тихо промолвил Гучков. — Где вы... покупаете бомбы? Мне нужен десяточек.

Эсдек отодвинулся.

— С ума вы сошли! Для чего нам бомбы. Откуда мне знать, где они продаются?..

— Да, да... Знаем мы вас. Ей-Богу, я вас не выдам. Скажите только — где?

— Убирайтесь вы от меня! Что общего у меня с какими-то бомбами?

— Как же так? — удивился Гучков. — Ведь все левые бросают бомбы.

Эсдек пожал плечами и отошел.

Гучков пошел за ним, заглядывая ему в лицо, размахивал руками и быстро шептал:

— Может, к себе меня возьмете? Может, место какое у вас во фракции есть? Я мог бы прокламации сочинять, экспроприации делать... бомбы чинить... типографию...

— Отстаньте вы от меня, нелепый человек.

Гучков остановился и со стоном обрушил сжатый кулак себе на грудь:

— *Так что же мне тогда делать*?

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА “НОВОГО САТИРИКОНА” ВЫПУСК 67 (1914) ДУШИСТЫЕ ЦВЕТЫ

чёрным по белому

КРИК В НОЧИ

Прочтя известие о казни Ферреро, Василий Скрежетов нахлобучил на голову шапку и выбежал на улицу.

В его душе кипело негодование против иезуитов, возмущение против испанского правительства и скорбь за безвинного мученика.

Стремясь облегчить свое сердце, Василий Скрежетов вспомнил о приятеле Мухине и решил забежать к нему — излить всю желчь и негодование...

— Здравствуй! — сказал Мухин, увидя Скрежетова. — Вот проклятый конкурс в журнале! Два часа бьемся с Ложкиным и Шестипаловым — никак он не разрешается. Господа, познакомьтесь! Ложкин, Шестипалов — Скрежетов... Слушай: двенадцать человек собралось на лужайке! Из них четыре бабушки, семь сестер, две тещи, один шурин...

— Ферреро казнили! — вскричал Скрежетов.

— Неужели? — удивился Ложкин. — Это знаменитый экспроприатор?

— Нет, — сказал Шестипалов. — Это, кажется, персидский реакционер, которого бахтиары изловили и повесили!

— Да нет же! — нервно перебил Скрежетов. — Ферреро — свободный мыслитель, заподозренный совершенно ошибочно в барселонском восстании. Он испанец!

— Испа-анец? Так вы-то чего волнуетесь: мало ли испанцев на свете!?

— Ну, все-таки, — солидно вступился Мухин, — явление возмутительное! Казнь невинного человека не может быть допустима в правовом государстве... это верно. Но, ведь, его уже казнили?

— Казнили! — простонал Скрежетов.

— Ну, раз казнили — мы уже ничем помочь не можем. Если бы не казнили — тогда другое дело.

— Вы помочь не можете! — вскричал Скрежетов. — Но вы должны выразить свой протест!! Весь культурный мир поднялся против этой бессмысленной казни. Англичане, итальянцы, французы — все они под крики возмущения устраивают демонстрации против черных иезуитов и справляют поминки по погибшем борце! Всюду митинги протеста, шествия... устраивают забастовки! Объявлен всеобщий бойкот испанских товаров!.. Мэр Шербурга вернул испанскому послу орден, пожалованный этому мэру Альфонсом.

— Да что вы! — сказал Ложкин. — Если так, то я тоже буду бойкотировать испанские товары. Этакие наглецы, а? Отныне я ни на копейку не куплю испанских товаров. Хорошо же! Они увидят у меня...

— Жаль, что у меня нет ордена, пожалованного Альфонсом, — поддержал его Шестипалов. — Я бы сейчас же вернул ему. При письме каком-нибудь, вроде того, что, мол, «Милостивый государь!» и тому подобное.

— Дело не в том, господа, — страдальчески поморщился Скрежетов. — Мы должны немедленно выразить самым ярким образом наше возмущение и протест. Лучший способ — это активная демонстрация перед домом испанского посольства. Пусть видит официальная Испания, как смотрит на ее деяние независимая часть русского общества!

— Так что же нам делать?

— Наш долг, господа, быть там, где сейчас тысячи русских людей с сердцем, переполненным негодованием и жалостью, демонстрируют отношение великой России к позорному делу монахов... Господа! К испанскому посольству!

— А, в самом деле, господа... — сказал Мухин. — Отчего бы нам не пойти?.. Погода хорошая, дождя нет.

— А конкурс после решим? — спросил Ложкин. — Я бы хотел получить за отгадку прибор из термо-ткани.

— Успеется!

— Давненько я не видел демонстраций, — сказал Шестипалов, надевая пальто.

* * *

Когда шли по затихшим после дневной сутолоки улицам, Скрежетов рассказывал о последних минутах Ферреро.

Мухин был растроган.

Шестипалов с Ложкиным шагали сзади и тихонько напевали:

— Вы жертвою пали...

Когда до посольства осталось две улицы, Ложкин дернул Скрежетова за рукав и сказал:

— Я на минутку забегу к себе домой. Вспомнил, что нужно кое-что экстренно сделать. А вы идите вперед — я вас догоню.

— Да, ведь, вы нас не найдете в толпе.

Втроем пошли дальше.

Когда завернули за угол, Шестипалов заинтересовался витриной с открытками и при свете электрического фонаря стал их внимательно рассматривать.

— Да идите! — тащил его Скрежетов. — А то будет поздно.

— Сейчас, господа, сейчас. Идите — я вас догоню. Право, я сейчас. Что это такое? «Маленькие шалуны»? Хе-хе... А это? «Поцелуй любви»... Право, догоню!

Скрежетов взял под руку Мухина и, покачав головой, зашагал дальше.

Повернули в следующую улицу.

— Вот здесь испанское посольство, — указал Мухин на большой темный дом. — Видишь, никакой толпы нет. О какой же ты говорил демонстрации? Где же крики?

Пустынная улица тихо дремала, освещенная лучами выкарабкавшейся из-за тучи луны.

Скрежетов остановился и печально посмотрел на большой темный дом.

— Что же нам делать? — спросил Мухин.

— Давай покричим им в окна и уйдем, — сурово предложил Скрежетов.

— А нас с тобой не арестуют?

— Все равно.

— Ну, ты кричи, а я посторожу, чтобы кто-нибудь не помешал.

— А ты разве не хочешь кричать? — грустно спросил Скрежетов.

— Вот чудак человек! Тебе же лучше, если я сторожить буду. Ну, кричи!..

Мухин отошел от него и стал невдалеке, на углу.

Скрежетов вздохнул, переступил с ноги на ногу и, открыв рот, закричал неуверенно:

— А-а-а!!!

Подождал немного и опять закричал:

— О-о-о!!!

С другой стороны улицы послышались шаги, и показался запоздалый прохожий в фуражке, с поднятым воротником пальто.

Услышав крик, он подошел к Скрежетову и изумленно взглянул на него.

— Чего вы кричите?

Крадучись, к ним приблизился Мухин.

— Чего он кричит?

— Испанца тут одного казнили... — шепотом сказал встревоженный Мухин.

— Какого испанца?

— Школы он разные устраивал, издавал книжки... Ну, его и казнили.

— А этот-то чего кричит?

— Да обидно, все-таки...

— Он, что ж, тоже испанец?

— Зачем испанец? Русский.

— Тогда — чего ж он кричит?

— Да как же — человека ни за что, ни про что казнили.

Прохожий, сбитый с толку, посмотрел в рот Скрежетову.

— Он всегда так кричит, когда казнят испанца?

— Первый раз сегодня.

Прохожий застегнул пальто на все пуговицы, нахлобучил фуражку на лоб и, проворчав под нос:

— Вот дурачье! — зашагал дальше.

Мухин поежился и дернул Скрежетова за руку:

— Пойдем брат. Скучно.

РАЗНОСТОРОННОСТЬ

Милостивые государи! Я вас ни к чему не принуждаю и ничего не приказываю. Но если вы, негодяи, поступите не так, как мне нужно, то — смотрите!..

(Из речи губернатора Имари к публике. — Оперетка «Гейша»)

Тульский губернатор разослал по всем земским учреждениям циркуляр, с подробным списком газет, очень рекомендуемых («Русск. Знамя», «Колокол», «Новое Время»), терпимых («Голос Правды», «Голос Москвы») и абсолютно недопустимых («Речь» и «Русск. Вед.»).

— Вас там губернатор спрашивает...

— Какой?

— Да наш, тульский.

— А что ему надо?

— Бог их знает. Скажи, говорит, этому приезжему, что хочу его видеть.

— Гм... Ну, проси.

В мой номер вошел господин, с портфелем под мышкой, и вежливо раскланялся.

— Чем могу служить? — с некоторым удивлением спросил я.

— О, помилуйте... Это моя обязанность — служить приезжающим, что бы они не терпели никаких неудобств!.. Мы должны предусмотреть и позаботиться обо всем: не только о телесных неудобствах, но и о душевных эмоциях граждан. Позвольте вам кое-что предложить... Очень недорого, интересно и назидательно.

Он открыл портфель, вынул пачку газет и заговорил быстро-быстро:

— Не подпишетесь ли? Прекрасные издания: «Земщина», «Новое Время», «Колокол». Прекрасная бумага, четкий шрифт, здравые суждения. Могу предложить также «Русское Знамя», «Южный Богатырь», «Курская Быль»... «Новое Время» с картинками! Печатается на ротационных машинах, прочная краска, по субботам приложения. Можете иметь даже в несколько красок! Могу предложить даже со скидкой... Другие фирмы не дадут вам столько скидки,

сколько я! Подписывайтесь! Может быть, кто-нибудь из иудейского племени предложит вам какую-нибудь паршивую «Речь» или «Русское Слово», — так это, я вам скажу, такой народ, что он готов у человека изо рта выхватить кусок хлеба и подсунуть дрянь. Ну? Прикажете записать вас подписчиком на «Русское Знамя»? или «Земщину»? Или на что?

— Нет, не беспокойтесь, — сказал я. — Мне эти газеты не нужны... Я читаю другие.

— Что это значит — другие? Другие газеты скверные, а я предлагаю вам первый сорт. Умные статьи, аккуратная доставка, бандероли за счет издания. Чего вы еще хотите?

— Да нет. Не надо.

— Ага... Догадываюсь... Может, вы что-нибудь полевее хотите? Тогда могу предложить «Россию»! Замечательное издание! Чудный шрифт, печатается на самых прочных машинах, и метранпаж капли в рот не берет. Пишут генералы разные, статские советники, издание помещается в тихом деловом квартале. Очень замечательное!

— Да нет... Что уж... — робко сказал я. — Я уж луше так, как-нибудь... Не надо.

— Что? Не надо? Нет, надо.

— Ведь я, все равно, не буду их читать... Зачем же подписываться!

— Нет, вам надо подписываться!

— Да если я не хочу?

— Мало чего — не хочу...

Он вынул какую-то квитанционную книжку.

— На год? На полгода? «Колокол», «Знамя»?

— Ни то, ни другое.

— Шутить изволите. Эй, кто там есть!..

В комнату вошел коридорный и еще один неизвестный.

— Подержите-ка за руки подписчика. Он подписаться хочет. Вот так... Засунь-ка ему эти газеты в карман... Вот так... Еще, еще... Вот эту пачку! Это что? Бумажник? Прекрасно!.. Вот видите — я беру отсюда — за «Россию» и «Русское Знамя» 15 рублей... Вот вы уже и подписались. Видите, как просто. Пусти ему руки, Агафонов.

— А я их все-таки не буду читать! — упрямо сказал я.

— Вот тебе раз! Как не будете читать? Зачем же вы тогда подписывались?

* * *

Мы сидели молча, недовольные друг другом.

— На велосипеде катаетесь? — спросил неожиданно мой гость, увидев в углу комнаты велосипед.

— Да.

— Что это за система? Люкс? Жидовская система. Хотите, могу предложить вам нашей тульской работы — Захара Панфилова — он председателем здешнего отдела состоит. Хорошие велосипеды, тяжелые такие. За те же деньги купите, а в нем пуда четыре будет. Ручная работа.

— Зачем же, когда у меня уже есть.

— Ну, что это за велосипед? Жиденький — ни рожи, ни кожи. Завтра Панфилов вам привезет — давайте-ка задаток.

— Не хочу я Панфилова!

— Ну, как же не хотите! Завтра получите. Прекрасные велосипеды... Колеса, можете представить, совершенно круглые, сам человек почти непьющий, сын околоточным служит. Будете кататься да похваливать. А этот на слом можно.

— Оставьте меня! Пустите... Я не хочу...

....

— Вот-с. Видите, как просто. Получите квитанцию на задаток. Да... А то — Люкс!..

* * *

Через полчаса я оказался подписчиком двух газет, владельцем велосипеда фирмы Захара Панфилова, обладателем керосиновой кухни и какой-то машины «Истинно-русский самовоз».

— Наша фирма, — говорил, уходя, мой гость, — может предложить вам, что угодно — граммофоны, готовое платье, кондитерские изделия, галантерею, и все это будет не какой-нибудь Жорж Борман, а самое русское, настоящее. Конечно, вас никто не принуждает, но если вы только захотите...

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

1

Одесская городская дума сначала долго думала.

Потом поморщилась.

Потом сказала:

— Не нравится мне это!
— Что не нравится?
— Которые евреи.
— Ну?
— Чтоб не было их участия в выборах.
— Да разве можно их устранить?
— Так они ж, ведь, евреи!
— Ну, так что же?
— Они ж Христа распяли.
— Ну?
— Так вот, чтоб турнуть их с выборов.
— Нельзя.
— Почему нельзя? Будем церемониться?..
— А закон?
— Это которые книжки, такие толстые?
— Ну, да! Основные законы.
— Которые в переплетах?
— Есть в переплетах, есть без переплетов.
— Видали. Книжки основательные!
— То-то и оно.
— А изменить нельзя?
— Да как же их менять, если они основные?
— Може какую книжку без переплета взять и изменить... штоб не так жалко.
— Дело не в переплете... А законов основных менять нельзя.
— Довольно странно. А мы похадатайствуем... А?
— Не имеете права. Это не подлежит вашей компетенции.
— Чего-с?!
— Компетенции, говорю, вашей не подлежит!
— Вы, однако, не очень... этими словами.
Решено было возбудить ходатайство:
— Об устранении лиц иудейского вероисповедания от участия в выборах от города Одессы в Государственную Думу.
Написали.
Послали.

2

Мышкинскому исправнику Крушилову в последнее время очень не нравилось поведение Испании в марокксском вопросе.

— Дождутся они, кажется, у меня... — говорил он сурово.

— Чего дождутся?

— Молчу я, молчу, да и лопнет же наконец мое терпение!!

— А что вы сделаете?

— Что? Объявлю им войну!

— Как — войну?

— А так. Возьму, да от имени России и объявлю.

— Да какое же вы имеете право?

— А разве я не имею? Ведь, я исправник.

— Ну, конечно. По закону — только правительство может объявить и начать войну с иностранным государством.

— А исправнику нельзя?

Поведение Испании продолжало не нравиться Крушилову.

Он ходил бледный, задумчивый и, наконец, решил:

— А я все-таки объявлю!

— Да поймите же вы, что это противозаконно.

— И даже мобилизации нельзя объявить?

— По закону — и думать не можете.

Крушилов вздохнул.

— Тогда нечего делать — придется просить об изменении закона...

— Да разве основные законы можно менять? Ведь это же государственный переворот!

— Ну, вот! Одесской думе можно, а мне нельзя? Подумаешь!

В тот же день исправник Крушилов написал ходатайство:

— О предоставлении исправникам права объявлять и вести войны с иностранными державами, а также с предоставлением им, исправникам — объявления, как частичной, так и общей мобилизации...

3

Чиновник Стулов пришел к священнику и заявил ему о своем желании вступить в брак.

— Благое дело, — одобрительно сказал священник. — Холост? Вдов?

— Женат, батюшка.

— Ка-ак женат? Так чего же вы говорите, что хотите жениться?

— Еще раз хочу, батюшка. Очаровательная девушка!

— При живой жене?!
— Да она уже старая!
— Нет, это невозможно... По нашим законам многоженство не разрешается!
— Батюшка! Очаровательная девушка!
— Нельзя. Нет такого закона.
— А какой же есть?
— Можно быть женатым только на одной живой жене.
— Странный закон. Изменить нельзя?
— Что вы!!
— Ну вот — «что вы!» Одесской думе можно, исправнику Крушилову можно, а мне нельзя? Тоже не левой ногой... простите — облегчю нос.
Чиновник Стулов пришел домой и написал ходатайство:
— О предоставлении всем чиновникам, служащим на государственной службе — права вступать в брак до... (он призадумался) ... до четырех раз, со внесением оных шагов в формуляр.

4

Сашка кривой зарезал на проезжей дороге богатого еврея.
Когда его арестовали, он, пораженный до глубины души, спросил:
— За что, братцы?
— За то. Нет такого закона, чтоб евреям по дорогам головы отпиливать!
— Очень жаль, — сказал Сашка огорченно.
И, сидя в тюрьме, возбудил ходатайство:
— О предоставлении на проезжих дорогах всем Сашкам Косым права — отделять голову от туловища, принадлежащего лицам иудейского вероисповедания, независимо от возраста и пола потерпевшего.

ЖУРНАЛИСТЫ

Ст-н написал в «Нов. Вр.», что финны напали в Гельсингфорсе на русского дьякона о. Никольского и заплевали его так, что он был принужден зайти в магазин очиститься. По *расследовании* все это оказалось ложью.

Недавно ко мне прибежал нововременский Ст-н и, задыхаясь от ужаса, закричал еще с порога:

— Невероятное известие! Сто тысяч финляндцев стоят у границы и ждут только сигнала, чтобы двинуться на Петербург!

Я укоризненно взглянул на него.

— Зачем же вы врете?.. Ведь, вы сами прекрасно знаете, что это неправда, что вы, идя ко мне, сами по дороге это придумали... Неужели же серьезно думали, что я вам поверю?

Он, смущенный, остановился у стены и стал ковырять толстым пальцем какой-то гвоздик.

— В сущности, — нерешительно сказал он, — я, конечно, не уверен, что их сто тысяч и что они стоят именно у самой границы... Но что они решили в ночь на 17-е число перерезать всех русских, живущих в Финляндии, так это верно... Честное слово! У меня даже письмо есть. Позвольте... где оно? Куда же это оно девалось? Гм...

— Не ищите письма, — посоветовал я, пожав плечами.

— Почему... не искать? Оно было у меня вот тут, в боковом кармане... Гм... Неужели Меньшиков вытащил?

— Вы письма не найдете, — сказал я.

— Почему?

— Потому что насчет письма вы соврали. Никакого письма у вас не было и насчет независимости Финляндии — это только сейчас пришло вам в голову. Как можно так изолгаться? — удивился я.

— Почему же вы думаете, что я лгу? — обиделся Ст-н. — Правда, может быть, они перережут не все русское население Финляндии, а только духовенство...

— У вас нет задерживающих центров в мозгу, — сказал я. — За минуту до этого вы даже не знали, что вам придется сказать что-нибудь о духовенстве. Просто, язык сболтнул.

— Язык сболтнул?! А хотите — я вам покажу телеграмму от верного лица... Позвольте... Где она? Нет, в этом кармане нет. Неужели Меньшиков украл?

— Никакой у вас телеграммы нет. А просто вы шарите по карманам, чтобы скрыть смущение, оттого что я уличил вас во лжи. Сознайтесь — ведь вы солгали, что финляндцы хотят перерезать все русское духовенство? Ну, будьте мужественны — сознайтесь!

— Разве я сказал — все духовенство? — удивился Ст-н. — Они убьют некоторых, наиболее ненавистных. Недавно, например, одного священника убили.

— Ложь, ложь!

— Ну, не священника, а дьякона. Взяли его и разрезали на куски.

— Сознайтесь — про дьякона сейчас только выдумали?

— Нет, не выдумал! Никольский его фамилия.

— Соврали, соврали, — засмеялся я. — Отец Никольский жив, и никто его не убивал. Я знаю это точно.

Мой собеседник не смутился:

— Жив? Ну, что ж такое, что жив. Иногда смерть лучше позора. А финляндцы опозорили дьякона на всю жизнь.

— Послушайте... Что у вас за странный язык такой? Сболтнете и потом, вероятно, сами удивляетесь: с чего я это? Ну, как финляндцы могли опозорить дьякона Никольского?

— Они его заплевали!

— Как заплевали?

Ст-н подумал.

— Он шел по улице, а на него напали вооруженные с ног до головы финляндцы и стали плевать. Четыре часа плевали.

— Врете вы все, — пожал я плечами. — Ей-Богу, даже скучно! Никто на него не плевал.

— Не плевали?! Не плевали?! Ну, не четыре часа, а два часа... Но плевали! Из верных источников знаю! Да вот у меня фотография есть... Гм... где же это она? Вот тут, в этом кармане лежала... Неужели Меньшиков...

Я зевнул.

— Уходите вы. Скучно.

— Нет, я вам докажу! Он еще потом, когда его заплевали, зашел в магазин Синявина, и там его обчищали. Часа три обчищали.

— Выдумали! Сейчас только и магазин выдумали и три часа выдумали.

— Ну, уж я не знаю, как с вами и говорить! И тому вы не верите, и этому. Ну, не три, ну, час, ну, двадцать минут — но вычищали.

— Чепуха!

— Позвольте! Это, наконец, даже обидно! — вскричал Ст-н со слезами обиды в голосе. — Но, ведь, было что-нибудь? Что-нибудь должно же быть! Не могло же быть так, чтобы ничего не было!?

— Ничего и не было! Все соврали. От первого до последнего словечка.

— В таком случае — извините-с! — закричал он. — Уж если пошло на чистоту, так я вам скажу: дьякон был!

— Какой дьякон?

— Никольский.

— Ну, так что ж?

— Пусть, может, на него и не плевали, но он есть на свете и живет в Финляндии!

Призадумавшись, я потер лоб и сказал:

— Ну, хорошо... Хотя вы все и врете, но я готов допустить, что на этот раз вы сказали правду: дьякон Никольский живет в Финляндии. Так что ж из этого?

— Как — что?

— Ну, да... что из этого следует?

Он приблизился ко мне, засунул руки в карманы и, выпятив живот, торжественно сказал:

— Из этого следует, что Финляндия должна сделаться русской провинцией!

МИГ СЧАСТЬЯ

Однажды, когда енисейцы, по обыкновению, встали утром, оделись, умылись, помолились Богу, сели за чай с маслом, вареньем, лепешками и взялись за газету — они неожиданно вскочили с выпученными глазами, раскрытыми ртами, будто через них пропустили электрический ток.

— О! — воскликнул каждый такой енисеец. — Не может быть?!

— В чем дело? — спросила каждая жена енисейца.

— Сообщают, что у нас в Енисейском уезде — в единственном месте России снято исключительное положение!..

Что у нас, в Енисейском уезде — в единственном месте России — восстановилось действие нормальных законов. Го-го-го!!.

С утра все енисейцы наскоро напились чаю и пошли на улицы смотреть: что теперь будет.

К их изумлению — все было по-старому; все расхаживали, солидно покрякивая от мороза, никто не появлялся в шубе, вывернутой мехом наружу, ни одна душа не пыталась стать на голову или закричать петухом, и только какой-то прохожий выполз из-под ворот на четвереньках... Но и тот, при ближайшем рассмотрении, оказался пьяным.

— Ты чего безобразишь, охальник! — набросились на него енисейцы. — Снимай вам, чертям, после этого чрезвычайную охрану!

— Нешто он понимает? Вот возьмут, да опять введут!

Пьяный поднялся с земли, заплакал и, с просветленным лицом, ударил себя в грудь.

— И сколько ж я, братцы, годов ждал этого самого!.. Уррра!!!

И ни у кого из енисейцев не нашлось больше ни слова осуждения. Улыбнулись, покачали головами, отправили пьяного домой и снова пошли бесцельно шагать по нормальным улицам, дыша нормальным воздухом и изредка раскланиваясь с нормально встреченными и нормальными околоточными.

Несколько дней спустя, один енисеец поссорился с супругой и, будучи выгнан ею, сказал:

— И не надо! Подумаешь... Пойду, переночую в гостинице.

Он приехал в одну гостиницу и потребовал номер. Ему сказали:

— Нет ни одного номера. Все заняты приезжими.

Он поехал в другую.

— Только одно место и осталось: под лестницей на корзине с бельем!

— Да что такое?

— Приезжие. Заняли даже кухню и буфетные стойки. А один привязал себя веревками к потолку, да так, вися, и спит...

В третью гостиницу он не мог даже добиться: у дверей стояли толпа с чемоданами и сундуками и кричала:

— Может, на чердаке где-нибудь?

— Ишь ты, ловкий какой — на чердаке! Мне бы, г. коридорный, в сарайчике для дров где-нибудь, или в дымовую трубу залезть, что ли...

— Нет ли рукомойника какого-нибудь пустующего?.. Мне бы только где ночь переспать!..

Енисеец потоптался около этой странной толпы, пожал плечами и пошел, недоумевая, прочь.

К утру так, — недоумевающий, — и замерз на улице.

Через несколько дней Енисейск представлял собою странное зрелище: на всех улицах горели костры, а вокруг костров кишмя-кишела самая разнообразная толпа: слышался гортанный кавказский говор, певучий жаргон евреев из Привислянского края, лихая малороссийская песня и быстрая кудреватая речь ярославца.

Енисейцы подходили, со страхом смотрели на это море костров и человеческих тел и все допрашивали:

— Кто такие?

— Приезжие.

— Зачем?!

— Уж очень на нормальное положение потянуло! Стосковались.

— Хучь недельку бы нам у вас пожить... Хорошо у вас.

— Что и говорить... Единственное вы, можно сказать, нормальное народонаселение.

— Это правильно. Пошлет же Господь.

С востока, с запада шли новые толпы.

Через неделю на улицах было тесно, и приезжие располагались за городом, в степи.

Еще через неделю появились в газетах зловещие, леденящие душу слухи, что Россия превращается в тихую, молчаливую пустыню...

А еще через неделю было опубликовано следующее:

— Ввиду громадного скопления в Енисейском уезде народных масс, что угрожает общественному порядку и спо-

койствию — в Енисейском уезде, впредь до отмены, вводится чрезвычайная охрана...

Бледные, унылые, молчаливые, стараясь не смотреть енисейцам в глаза, уезжали приезжие на восток, запад, юг...

Енисейцы враждебной толпой обступили их и злобно смотрели на своих недавних гостей.

— Дьяволы! Очень нужно было вам приезжать!

— Сидели бы дома!

— Не у вас, ведь, сняли охрану, а у нас!

— Поле-езли!..

— Чтоб вы лопнули! Ни себе, ни другим.

Один енисеец сорвал с головы шапку и бешено швырнул ее на мерзлую землю.

— Чего ты?

— Теперь — жди!!!

ПУНКТИК

1

Член Союза 17-го октября Кроликов встретил кадета Хмурова и весело сказал ему:

— Поздравьте! Получил разрешение побеседовать с избирателями. Устраиваю собрание...

— Зачем? — угрюмо спросил кадет.

— Побеседовать с избирателями.

— С какими?

— Которые почтили меня избранием в Думу.

— А много их?

— Да кое-кто есть... — смущенно, потупив глаза, сказал Кроликов.

Хмуров посмотрел на Кроликова исподлобья и проворчал:

— Эх, ты... Третье июня!

Он пошел дальше, а Кроликов побежал за ним и, забегая вперед, спрашивал:

— Что такое третье июня? Почему вы так говорите?

— Потому что — третье!

Кроликов засмеялся насильственным смехом и сказал:

— Я вас не понимаю... Почему — третье? Почему не десятое... не двадцать пятое августа... не восьмое ноября? Что вы хотели этим сказать?

Он долго бежал за Хмуровым и все спрашивал, но потом устал и, повернувшись, побрел домой, недоумевающий, обиженный...

2

Кроликов приехал на собрание жизнерадостный, совершенно забыв о встрече с кадетом.

Выйдя на эстраду, он изящно поклонился и начал:

— Милостивые государи! То доверие, которым вы облекли меня, дает мне право, как представителю русского народа...

Из-под пюпитра послышался слабый вздох и тихий, как шелест, голос:

— Третье ию-ня...

Кроликов в недоумении остановился, бросил косой взгляд себе под ноги, заглянул под пюпитр и продолжал, немного сбитый с толку:

—... Того народа, который доверил мне защиту своих интерес...

И опять Кроликов услышал где-то — не то снизу, не то сбоку — тихий шелест:

— Треть-е и-ю-ня...

Оратор закрыл рот и подозрительно посмотрел на своих избирателей. Но они также сидели с закрытыми ртами, молча, важные, серьезные, и слушали Кроликова, ничего постороннего не замечая.

—... И будучи ни от кого не зависящим представителем...

— Трет-е и-ю-ня...

Бледный, растерявшийся Кроликов схватился за голову и крепко сжал ее. Это было вверху, внизу, сбоку, может быть, даже просто в ушах Кроликова, но он непрестанно, назойливо слышал все тот же тихий шелестящий звук, который нес в себе одни и те же странные, необъяснимые два слова: третье июня.

—... Я надеюсь, что плодотворность нашей работы может быть засвидетельствована...

— Треть-е и-ю-ня...

Кроликов с искаженным от ужаса потным лицом, подошел к первому ряду и жалобно пролепетал:

— Извините меня, господа, но мне что-то нездоровится. Разрешите объявить собрание закрытым и созвать его вновь в ближайшее время, так как в качестве народного представителя...

— Треть-е и-ю-ня...

3

На воздухе Кроликов пришел немного в себя.

Он сел в пролетку и сказал извозчику:

— Поезжай, любезный, по этой улице... Я хочу немного освежиться.

— Ну, ты! — крикнул извозчик и стегнул по лошади.

Кроликов пустив голову и, обвеваемый ветерком, печально задумался. Неожиданно его размышления были прерваны сильным толчком и каким-то криком.

— Что такое? — очнулся он.

Из-под колес выполз неизвестный человек и, прихрамывая, отскочил в сторону.

— Я тебе покажу, черт собачий, как на людей наезжать! — закричал он. — Ездить не умеете, вороны разнесчастные.

— Как же ты этак, братец, — укоризненно сказал Кроликов. — Нужно быть осторожнее. Вероятно, недавно начал ездить?

— Да, недавно, — вздохнул извозчик.

— А как недавно?

— Да с третьего июня.

Кроликов задрожал мелкой дрожью, глаза его округлились от ужаса, и он, остановив извозчика, прошептал:

— Я на тебе дальше не поеду. Вот ресторан — в ресторан и зайду.

4

В ресторане Кроликов заказал холодного пива, майонез из омаров и, сжав кулаками пылающую голову, задумался.

Когда подали то и другое — пиво показалось Кроликову горьким, а омары — несвежими.

Он, пересилив отвращение и позвав буфетчика, спросил:

— Что это у вас за омары?

— Консервы-с.

— Они, кажется, несвежие?

— Как будто не должно быть, — задумчиво сказал буфетчик. — Как будто мы не так давно их и выписали... Да позвольте — когда мы их получили? Вспомнил! Вот когда: третьего июня!

5

Кроликов не помнил, как он очутился дома. Нижняя челюсть его отвисла и все тело дрожало мелкой дрожью. Когда он, не снимая пальто, еле переступая на ослабевших ногах, вошел в комнату, его поразило, что жена не спросила его, где он был так долго, а отвернулась к стене и заплакала.

— Что с тобой? — встревожено спросил Кроликов и опять задрожал мелкой дрожью.

— Жан, — плача сказала жена. — Я нарушила супружеский долг! Прости меня. Совесть давно меня мучает, и я решила признаться тебе во всем. Это было еще летом...

— Когда? — замирая спросил Кроликов.

— Я хорошо помню этот день... — прошептала жена. — Это было третьего июня.

— Ха-ха-ха! — леденящим душу хохотом закатился Кроликов и рухнул, обессиленный, на пол.

Несколько неизвестных людей посадили члена Союза 17 октября Кроликова в черную карету и привезли в странный дом, в коих Кроликову раньше не приходилось бывать.

В приемной его подвели к столу, за которым сидел господин в очках, и сказали:

— Новый больной. Его нужно записать в книгу.

— Хорошо, — сказал господин, разворачивая большую книгу. — Запишем. Какое у нас сегодня число?

Кроликов засмеялся счастливым смехом и, захлопав в ладоши, воскликнул:

— Я знаю! У нас всегда, всегда, всегда третье июня.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА

Это было в Петербурге во время выборов в Государственную Думу.

Председатель избирательной комиссии и члены хлопотали с раннего утра.

— Дадут ли нам достаточный наряд полиции?

— А что?

— Как что? Вы шутите? Избиратели как сунут сразу, то и столы, и урны, и нас сметут, как щепочки! Вы шутите?.. Толпа, а тем более громадная, многотысячная — это слепой, стихийный зверь, который все сметает на своем пути!!.

— Вы думаете — могут произойти беспорядки?

— Ходынка будет!

И когда председатель и члены избирательной комиссии подъехали к помещению, где стояли урны — в глазах всех читалась затаенная тревога и страх перед грядущим.

— Странно, — сказал председатель. — Уже без пяти минут девять, а я не вижу никого из избирателей! Я думал — толпа будет...

Член комиссии зловеще улыбнулся.

— Погодите, погодите! Без пяти минут девять — еще не девять... Толпа аккуратна — этот стихийный зверь — и явится ровно в девять часов сплошным, все сокрушающим на своем пути потоком.

И комиссия, бледная, притихшая, вся ушла в нервное ожидание.

За стеной пробило девять часов.

— Видите — уже девять! — сказал председатель.

— Да, что-то странное... Может быть, те часы спешат?.. Нет, правильно! Ничего не понимаю!

С улицы донесся гул, топот и громкие крики.

— Вот оно! — растерянно воскликнул член комиссии и, подойдя к окну, распахнул его. — Идут.

— Идут!

Крики сделались слышнее.

— Нно, подлая! Пустых бочков ей везти тяжело!

— Хлесни ее, Пантелей, под брюхо!

— Экая стерва, лошаденка... Нно!!.

— Это не то, — сказал член комиссии, отходя от окна. — Это ломовики пустые бочки везут.

Члены комиссии и председатель приняли позы терпеливого ожидания и застыли...

Пробило десять часов.

— Я с вами согласен, — сказал ядовито председатель члену. — Толпа — стихийный слепой зверь! И потому толпа слепо, стихийно — не идет.

— Не понимаю! Может, они часы, в которые начинаются выборы, перепутали? Думают, что начало в 9 часов вечера.

— Или не 21-го, 22-го сентября, — поддержал другой член.

— Или не сентября, а октября...

— Или, — едко улыбнулся председатель, — не в 1912 году, а в 1922... Молчите уж луше!

Один из членов комиссии подошел к окну и, взглянув на улицу, воскликнул:

— Смотрите, смотрите! Там стоит густая толпа... Что это значит? Почему они не идут сюда?

— Где? Где?

Все подскочили к окну.

— Это не избиратели! Вечно вы напутаете!

— Это наряд полиции...

— Так зачем же целая толпа?

— Чтобы не допускать давки и беспорядка от скопления избирателей.

— Скорей бы уж они скоплялись, — с мучительной тоской в глазах прошептал председатель.

* * *

— Идет, идет! — закричал один из членов, смотревший в окно.

— Кто идет? Где?..

— Штатский какой-то... Наверное, избиратель.

— Сюда идет?

— Нет... Завернул за угол... скрылся! Подлец!..

Далеко где-то ухнула пушка.

— Двенадцать часов! — сказали члены комиссии, вынимая часы. — Да и тощища же!

— Идет, идет! Еще один идет.

— Сюда?

— Нет, кажется...

— Крикните ему.

Член комиссии распахнул окно, перевесился на улицу и закричал:

— Эй, как вас... Молодой человек! Господин избиратель!! Сюда, здесь! Здесь урны. Пожалуйте! Не бойтесь — полиция вас не тронет. Заходите!..

— Идет?

— Нет, — сказал член комиссии, откидываясь в комнату. — Махнул рукой, крикнул что-то и пошел дальше. Странный человек!

Один из членов пожал плечами, подошел к телефону и позвонил:

— Барышня... Что? Нет, мне никакого номера не надо... Скажите, барышня... У нас сегодня 21 число? Что? Наверно? Благодарю вас. Вы, барышня, вероятно, слышали или читали, что выборы на сегодня назначены? Что? Действительно, на сегодня? Благодарю вас!

Он отошел от телефона и сказал:

— Выборы сегодня. Это бесспорно.

— Идет! — сказал член у окна.

— Кто идет?

— Дождь.

— Господа, — сказал председатель. — Я немножно вздремну, а если кто придет — вы меня разбудите.

— Ладно. А я пойду скажу городовым, чтобы они наловили штук десять избирателей, да притащили сюда.

— Слушайте... Законно ли это?

— А что же делать. Не пустовать же урнам, в самом деле... Да, ведь, мы и не будем задерживать пойманных. Отберем бюллетени и сейчас же отпустим.

* * *

— Ведут, ведут! — закричал экспансивный член, стороживший у окна.

— Кого ведут?

— Избирателей!

Несколько городовых вошли, стуча сапогами и ведя под руку каких-то испуганных упирающихся людей.

— Успокойтесь, — ласково сказал председатель. — Вам дурного не сделают... Сколько всего? Шесть человек? Да зачем же вы, ребята, дам хватали? Три дамы здесь. Извините, сударыни... Вы можете идти. А вы, молодой человек... Здравствуйте! Как поживаете? Сколько вам лет?

— Чичирнадцать.

— Маловато. Можете идти... Впрочем... Эй, слушайте! Через одиннадцать лет приходите... Не забудете? Пожалуйста. А вы кто такой?

Один из пойманных упал на колени и сказал, простирая руки:

— Ваше благородие! Это не я!.. Это Лукашка Хромой!..

— Что такое?.. Какой Лукашка?

— Хромой! Это они вчерась торговку зарезали с Василием... А я смотрел только... Ваше благородие! Все, как на духу расскажу!.. Убежал это я из тюрьмы, иду, а смотрю — аны торговку режут. Аны этто режут, а я смотрю... Господин судья! Дозвольте вам...

— Черт знает, что!.. Какой-то беглый. Уведите его. А вы кто, господин? Не желаете ли кого-нибудь избрать в Думу?

Последний из приведенных, мещанин в толстом картузе, хитро прищурился и сказал:

— Нет-с. Не желаю-с!

— До почему же?

— А вот — потому-с. Знаем мы, что это значит — избрать.

— Да что же вы такое знаете? Это очень просто: подписываете бюллетень, и по удостоверении личности, опускаете вот сюда.

— Да-с? Подписываете? Опускаете? Ха-ха-ха! Знаем мы эти штуки... Попадались!

— Может, вы что-нибудь другое думаете! Господи! Что же мы, жулики какие, что ли?

— Нет-с, зачем же такое слово... А только знаем мы это. Учены часто... Ваше благородие! Отпустите вы меня... Ей-Богу. Что вам нужно? Три, пять рублей на приют какой-нибудь дам, а больше — верьте совести — не могу.

— Уходите! Бестолковая вы голова.

Председатель вздохнул и устало опустился в кресло. Сгущались ранние петербургские сумерки.

— Идет, идет!

В комнату вошел мастеровой, снял благоговейно шапку и перекрестился.

— Драсте. Не опоздал? Сапожники мы.

Все встрепенулись.

— А-а!.. Молодой человек! Здравствуйте.

Председатель подошел к нему и долго тряс его руку.

— Очень, очень вам благодарны, что зашли. Садитесь, пожалуйста. Вы курите?

— Мерси. Курну.

— Ну, как ваши дела?

— Сапожники мы.

— Бюллетень захватили? А то, без бюллетеня, трудно исполнять гражданский долг.

— Сполнять-то я — сполню. А только кого писать?

Избиратель вынул бюллетень, положил палец на нижнюю губу и задумался.

— Писать могу — кого хочу?

— Конечно! Это дело вашей совести.

Избиратель взял перо и написал кривыми буквами:

— Григориваныч Набойкин. Видали? Могу я Набойкина выбрать, а?

Председатель улыбнулся.

— Конечно, можете. Кто же это такой? Я о таком не слышал.

— Это я-с!

Он попрощался, взял у председателя еще пару папирос и, прищелкнув пальцами, вышел.

* * *

Пробило девять часов.

Председатель встал, потянулся и сказал:

— Окончены выборы. Если они прошли и в других участках так же, то я знаю имя человека, имеющего большие шансы пройти в Думу.

— Кто же он? Кто? — спросили с лихорадочным любопытством члены комиссии.

— Сапожник Григорий Иваныч Набойкин.

КАК КТО ПРОВЕЛ ДЕНЬ 17 ОКТЯБРЯ

Кадет

С вечера 16 октября получил из участка распоряжение:

— Ни в коем случае не праздновать этого дня уличными процессиями и неуместными манифестациями. В противном случае...

Случай был такой противный, что кадет постарался сейчас же изгнать его из мыслей.

Проснувшись утром 17-го, заметил, что подушка мокрая. Глаза были красные и настроение угнетенное.

С утра жег какие-то бумажки и плакал.

Сюртука в этот день не надевал, чтобы не уличили в праздновании. Ходил в халате. Заказывая обед, отменил пирог с говядиной и яйцами.

— Слишком уж на торжество это смахивает.

Плакал и до обеда.

После обеда пришел черным ходом другой кадет, долго жал руку хозяину и озирался по сторонам. Сели на коврик за диваном, чтобы не было видно, и шептались.

— Помните... — говорил хозяин.

— Да, да... — шептал гость. — А вы помните?..

— Еще бы... Тссс!..

Потом гость ушел черным ходом. Выходя из ворот, сделал такое лицо, будто был у портного.

Оставшись один, хозяин сел на стул и долго плакал.

Потом лег спать.

Утром 18-го числа подушка была опять мокрая.

Октябрист

Вставши утром, играл с собачкой Зоськой.

Пил чай с вареньем и бубликами.

Оделся, ущипнул горничную и ушел.

Гулял до обеда по улицам, рассматривал в фотографических витринах карточки генералов, а потом, купивши по случаю клетку для канарейки и книжку «Безумные ночи Парижа», — вернулся домой.

Поигравши с собачкой Зоськой, ел обед: пирожки, суп с клецками, жареного поросенка, карася и пломбир.

Выждав, когда жена уехала в театр, щипал горничную. Потом потребовал собачку Зоську и играл с ней: навязав на веревочку газету, бегал с ней по комнатам, а Зоська гонялась за ним и лаяла.

Утомившись, попросил чаю и ущипнул горничную. Чай пил с мармеладом и пирожками, оставшимися от обеда.

Отпивши чай, хотел пойти на кухню ущипнуть кухарку, но было лень. Зевнул, пощекотал Зоське за ухом и решил лечь спать.

В спальне вспомнил, что нужно оторвать на завтра календарный листок.

Оторвавши, обернул его другой стороной и прочел:

— «Добродетель должна быть ценима превыше других достоинств. Щи суточные, рулет по-польски, маседуан. Изд. И.Д. Сытина».

— Давно не было рулета по-польски, — подумал октябрист и лег.

Во сне видел Зоську в канареечной клетке и даму в купальном костюме.

Чиновник

Вечером 15 октября подошел к отрывному календарю, отогнул несколько листков и с нетерпением произнес:

— Боже ты мой! Скоро ли? Это было бы для меня таким праздником!

16 октября подходил два раза: утром и вечером. Отгибал листки и нервно повторял:

— Боже, как тянется время.

На другой день подошел к календарю и, взглянув на него, радостно всплеснул руками, с громким криком:

— Сегодня 17-е октября! Я так рад!..

— Чего ты радуешься? — недоумевающее спросила жена.

— Сегодня 17-е! Три дня всего до 20-го.

РЕФОРМЫ

В 1907 году, осенью, я сидел в своем кабинете, а напротив меня помещался мой друг Непоседов.

— В газетах о Дубровине и Пуришкевиче пишут, — тоскливо говорил он. — Дума занимается пустяками, октябристы топчутся, кадеты сморщены зубной болью, свободы, возвещенные манифестом 17 октября, забыты...

— Нельзя же все сразу, — пожимал я плечами, — нужно подождать.

— И в позапрошлом году говорили: подождать и в прошлом — подождать... И теперь — подождать... Дума занимается не сереьезным делом, а пустяками, октябристы топчутся на одном месте...

— Не ной ты, ради Бога! — воскликнул я мучительно. — Не надрывай моей душеньки!

Мелкий серый дождь шелестел в окнах.

— В газетах только о Дубровине читаешь... Кадетские лица сморщены, как от зубной боли... Октябристы топчутся... Гражданской свободы...

— Будет! — кричал я страдальчески. — Все будет! Неужели ты не можешь помолчать пока?

— Не могу я молчать. Проведение гражданских свобод отложено, октябристы топчутся, кадеты сморщены зубной болью, Дума мямлит... Возьмешь газету — только о Дубровине...

— Чего же ты хочешь? — нервно спрашивал я...

— Мне надоело ждать. Мне скучно.

— Подожди еще год. А чтоб не было скучно ждать, — улыбнулся я, — сядь в тюрьму на год.

— А знаешь, — прошептал он, пораженный. — Это мысль. Действительно нужно сесть.

Он впал в задумчивость.

Я заговаривал с ним, шутил, но он был рассеян, отвечал невпопад и скоро ушел.

Перед уходом, надевая в передней калоши, он спросил:

— За что полагается год тюрьмы?

— За многое. Кража со взломом, грабеж, насилие... А что?

— Да так, ничего.

На другой день ко мне явилась жена Непоседова и со слезами на глазах сообщила, что муж ее взломал кухаркин сундук, украл оттуда два рубля деньгами и байковый платок, а потом гонялся по двору за дворником, грозя ему ножом.

— И зачем ему понадобились эти несчастные два рубля? — плакала она. — Ведь, мы проживаем в год до десяти тысяч. И дворник ему ничего дурного не сделал.

— Какое наказание грозит ему? — спросила она.

— Год тюрьмы!

* * *

Осенью 1908 года, идя по улице, я столкнулся с Непоседовым.

— Здравствуй, брат! — сказал он, сжимая меня в объятиях. — А я только из тюрьмы.

— Неужели уже год прошел? — удивился я.

— Да, брат. Год. Наверно, много воды утекло за это время? Ну, рассказывай.

— Да что ж тебе рассказывать? — пожал я плечами.

— Что у вас в политике новенького? В общественной жизни?

— А как же! — оживился я. — Ты не слыхал, как Дубровин...

— Нет, милый, кроме Дубровина, — сказал Непоседов. — Уж пожалуйста.

— Да вот что ж, кроме Дубровина? На-днях — тебе, вероятно, это не известно — Пуришкевич в Думе сказал...

Взгляд Непоседова омрачился.

— Постой, — перебил он угрюмо. — Начнем по порядку: возвещенные 17 октября гражданские свободы...

— Еще нет, — вздохнул я.

— А Дума что делает?

— Да что ж ей делать!.. Вот недавно законопроект о праздничном вознаграждении нижнетагильскому земскому фельдшеру рассмотрела...

— А октябристы топчутся?

— Топчутся.

Опустив головы, стояли мы друг против друга.

— Как ты думаешь... Через год пойдет жизнь по-другому? Только скажи откровенно...

— Пойдет, — робко отвечал я.

— Тогда вот что: я схвачу тебя сейчас за шиворот и начну душить, а потом выхвачу твой бумажник...

— Зачем же ты будешь меня душить? — испугался я. — Мы с тобой всегда были в хороших отношениях. А если тебе нужны деньги, я тебе и так дам. Сколько нужно?

— Мне деньги не нужны, — проворчал Непоседов. — А ты только должен кричать «караул», когда я тебя буду душить. Сбежится народ, полиция, меня и схватят, как грабителя.

— Для чего же это тебе?

— Хочу еще сесть на год.

Я немного поколебался и сказал:

— Не хочу тебя обманывать: может быть, ожидаемая тобой с таким нетерпением жизнь настанет не через год, а через два.

— Что для этого нужно сделать?

— Грабежа, пожалуй, мало. Надо бы оказать полиции легкое сопротивление. Тогда ровно два года выйдет.

Он схватил меня за шиворот и стал душить.

Я закричал.

* * *

На-днях ко мне зашел Непоседов. На худом, изможденном лице горели лихорадочные глаза.

— Сейчас только выпустили. Я прямо к тебе. Ну, что? Как с гражданскими свободами?

Этот человек надоел мне.

— Пока ничего, — сухо ответил я.

— А Дума?

— И Дума ничего.

— А октябристы?

— Октябристы? И октябристы тоже ничего.

— Топчутся?

— Топчутся.

Он, молча, повернулся к дверям.

— Эй, постой! — закричал я. — Куда же ты?

— Грабить.

Мне сделалось жаль его.

— Знаешь, что, Непоседов? Из грабежей толку не выйдет. Года, очевидно, мало.

— Что же мне делать?

— Придется тебе поджечь дом, вырезать семью человек из десяти и обокрасть церковь.

— Лет на двадцать? — тоскливо спросил он.

— Не менее.

РИДИКЮЛЬ

У околоточного надзирателя Рукосуева сидел петербургский обыватель Смяткин и, прихлебывая чай, говорил:

— Чистое разорение, Никанор Иваныч, с этой вашей чрезвычайной охраной... Куда ни повернись — обязательное постановление, штраф.

Рукосуев солидно молчал.

Смяткин робко заглянул ему в лицо и прошептал:

— Сняли бы вы ее... А?

— Не могу, Смяткин! Странно вы, ей-Богу, рассуждаете... Сними, да сними! Ежели бы все успокоилось, ну, можно бы... А то — сами знаете!

Смяткин вытер лицо красным платком и сказал:

— Что же я знаю, Никанор Иваныч?.. Ничего я не знаю. Мир, тишина и в человецех... это самое... произволение! Ни бомб, ни экспроприации.

— Да? Тишина, мир?.. Ха-ха! — сардонически захохотал Рукосуев. — А ежели человека гуляющего встретят, да пулю ему всадят в спину — это человеческое произволение?!

Рукосуев нервно забегал по комнате, поскрипывая лакированными сапогами.

— Господи! Где же вы такое видели? Чтобы гуляющего, да встретили, да пулей...

— А Герценштейн, покойник... мало вам?

— Никанор Иваныч! Побойтесь вы Бога!.. Да когда же это было? В 1906 году, да и то не в Петербурге, а в Териоках. Вы бы сюда еще Стеньку Разина на Волге приплели.

— Положим, оно верно... в 1906 году. Да оно и теперь, если правду сказать, не лучше. Вчера вон у студента Будкина обыск делали, две оболочки нашли.

— От бомб?

— От нелегальной литературы.

— А литературу нашли?

— Литературы не нашли. Одни оболочки остались.

— Так неужто из-за каких-то паршивых оболочек, да охрану держать? Сняли бы вы ее, Никанор Иваныч, а?

— Не просите, г. Смяткин. Мне даже странно — такой солидный человек, а такого пустяка понять не хочет...

Рукосуев отошел к окну и стал протирать пальцем стекло.

— Снимите... Это легко сказать. А ежели человека поймают, обдерут ему физиономию, обрежут голову — вы тоже скажете — снимите!?

— Где это так?..

— В Лештуковом. Вот вам и снимите!

— Это уголовное дело, Никанор Иваныч.

— Положим, уголовное. А вчера какой случай был: привозят к нам в участок человека — вместо руки, кулдышка какая-то. Трамваем перерезало.

— При чем же здесь чрезвычайное положение?

— Да оно, конечно, ни при чем.

— Нет, Никанор Иваныч... Мы, право, говорим с вами на разных языках. Я вам о чрезвычайном положении, а вы, извините, черт знает о чем: о каких-то кулдышках! Ведь, по закону, дело ясное: чрезвычайное положение вводится во время каких-либо волнений и беспорядков. А нынче — какие теперь беспорядки?

Рукосуев сделал напряженное лицо, подумал и нерешительно сказал:

— В монастыре икону украли.

— Никанор Иванович! — воскликнул плачущим голосом Смяткин и даже всплеснул руками. — Ведь, это в Ченстохове! Понимаете — чуть не за тысячу верст! А мы говорим о Петербурге.

— Ну, Петербург ваш тоже хорош: кражи разные, грабежи.

— Где? Где, Никанор Иваныч? Ежели жулик с чердака мокрое белье стянет...

— Ну, не только белье... Проволоку, вон, пишут, воруют все, телефонную.

— Господи! Проволоку... Да это, ежели бы и я был вором, и я бы ее воровал... Подумаешь — важное кушанье — проволока! Нет, я понимаю, если бы вы сказали мне прямо: Смяткин! Я не могу снять чрезвычайной охраны, потому что в народе волнения и на каждом шагу динамит.

— Выпейте еще чаю.

— Знаю я ваш чай! Когда вам нечего сказать, вы мне чай предлагаете.

— Мне нечего сказать?! Господи, Боже Ты мой! Сколько угодно. Вчера, например, приводят к нам в участок мальчишку. Малыш, этакий, лет двенадцати. «Что такое?» — спрашиваю,— «Гаврилюк?». Городовой это, который его привел — Гаврилюк по фамилии.

— Ну?

— «Что такое?», спрашиваю, «Гаврилюк?». «Пымал», говорит, «ваше благородие. У дамы с руки рудюкуль оборвал». Каков народец? Ридикюль с руки! Да куда ж вы? Посидите!!

Смяткин, молча, с трясущимися от обиды руками, искал шляпу и палку.

— Благодарю вас за чай, за приятные разговоры. Спасибо, что научили меня, дурака, государственным делам.

Он оделся, сухо пожал Рукосуеву руку и вышел в переднюю.

Потом приоткрыл дверь и, просунув голову, спросил:

— Так не снимете?

— Ей-Богу, вы меня удивляете... Кажется, человек солидный, бакалейную торговлю имеете, а рассуждаете, как какой-нибудь интеллигент! Мальчишка десяти лет обрывает у прохожих ридикюли, а вы...

Смяткин хлопнул дверью и ушел.

На улице к нему подбежал оборванный мальчишка и захныкал:

— Холодно, господин! Дайте копеечку, на кушанье...

— Пошел прочь, мерзавец! — свирепо закричал Смяткин. — Из-за вас, чертей, чрезвычайную охрану держат, а вам, негодяям, хоть бы что!!!

РАССКАЗЫ ДЛЯ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ (1912)

чёрным по белому

ПРЕДИСЛОВИЕ

Очень, очень трудно писать предисловия. Всегда почти содержание предисловия сбивается на извинение: «простите, мол, меня, что я выпускаю книжку. Выпускаю я ее потому-то и потому-то, и больше не буду». Я в своем предисловии к этой книжке постараюсь быть оригинальным — извиняться и оправдываться не буду. «Да, выпустил книжку. Что ж из этого? Чуткий человек всегда поймет меня и оправдает».

Почему я выпустил эту книгу?

Обратили ли вы внимание, читатель, что у нас вся современная литература резко разделяется на две категории:

а) Книги для здоровых и

б) Книги для больных.

Для первой категории писали раньше, для второй пишут теперь. Но нет ни одной книги, которая обслуживала бы третью категорию: выздоравливающих. А это самая прекрасная, самая симпатичная категория.

Когда человек после долгой, тяжелой болезни раскроет впервые глаза и почувствует, что из открытого окна вместе с запахом сирени и гамом бодрого города в него чудесной вольной струей врывается новая жизнь и силы, — такому больному хочется всего *помногу*. Он хочет много есть, много пить, слушать много музыки и много смеяться. Рожденный снова на свет со свежими, обостренными чувствами, он жадно и весело впитывает в себя, как губка, все, что окружает его. Все должно сверкать, шуметь, искриться, всего должно быть помногу — много яичницы, много бифштексов, много укрепляющего красного вина.

И если он захочет читать — книга должна быть такая же, в ней он ищет много шуму, веселья, беззаботности, бодрости и молодой дерзновенной силы.

И вот я хочу своей книгой по мере сил послужить чудесному, прекрасному народу — выздоравливающим.

Да не подумает наивный читатель, что только для человека в больничном халате, с исхудалым лицом и сверкающими глазами написана эта книга. Недоставало бы в таком случае к книге приклеить этикетку с сакраментальной надписью: «Перед употреблением взбалтывать!»

Нет! Автор размахивается шире: вся Россия была больна и вся Россия выздоравливает — что бы там ни говорили бескровные нытики и рахитичные слизняки, с испуганными лицами поверженные в прах обыкновенным городовым с ближайшего перекрестка...

Свежая кровь со свежей энергией переливается в освеженных жилах — да здравствуют выздоравливающие!

Вот почему, для чего и для кого я написал эту книгу. Больше я этого никогда не сде... Впрочем, однако, я собирался быть оригинальным... Не хотел ни оправдываться, ни извиняться... И съехал на то и другое.

Как трудно писать предисловия!

Аркадий Аверченко

СЕРДЕЧНЫЕ ДЕЛА ФИЛИМОНА БУЗЫКИНА

I

Вышеназванный молодой человек восхищал меня тем, что его внутренние свойства строго гармонировали с его наружностью. Ввиду этого, я полагаю, будет достаточно одного наружного осмотра этого увлекательного малого, чтобы составить себе мнение о его духовной стороне.

Маленькое толстое туловище с трудом поддерживалось тонкими ногами, которые, изнемогая от наваленного на них груза, покривились и образовали нечто вроде овальной рамки для зеркала; носки сапог не отворачивались друг от друга с пренебрежением, как у других людей, а, наоборот, стремились дружески сблизиться, подавая тем благой пример враждующим пяткам... Руки хотя и казались короткими, но зато кисти их были так красны, что это могло утешить самого взыскательного человека. Круглая жирная голова, украшенная парой повисших ушей — двух печальных флагов в дождливую погоду, — плотно и несокрушимо сидела на массивных плечах. Лицо заплыло целым морем жира, и несчастные маленькие глазки захлебывались и тонули в этом море, несмотря на то что сердобольная рука окулиста бросила им пару спасательных кругов — громадные черные очки.

Таков Филимон Бузыкин — оптовый торговец кишками и бычачьими шкурами. Наше странное знакомство началось с деловых встреч в конторе транспортного общества, через которое он отправлял за границу бочки с кишками, а я в качестве конторщика этого общества писал ему коносаменты и накладные.

Я привык видеть его озабоченным, деловым, вечно клянчащим каких-нибудь уступок и послаблений и поэтому был однажды чрезвычайно удивлен его легкомысленным неделовым видом. Он явился ко мне домой в воскресенье в отвратительном сюртуке и сером галстуке, который больше походил на петлю удавленника.

— Что это вы?! — спросил я.

— Да вот к вам. Вы, вероятно, сведущи в этих делах — так я и пришел... Хи-хи.

— В каких делах?

— В этих...

Он встал, подошел ко мне и неуклюже пощекотал пальцем у меня под мышкой.

— Что вам нужно? — с легкой тревогой спросил я.

— Видите ли что, мой друг...

Губы его раздвинулись в широкую улыбку, жир выступил из берегов и совершенно затопил глазные участки; глазки захлебнулись и пошли ко дну, хотя два черных спасательных круга и плавали на поверхности лица.

— Видите ли что... Я знаю, вы сведущи в этих делах...

— В каких же?!

— В любовных. Нужно вам сказать, что я до сих пор занимался только делом. Дело, и только дело! — таков мой девиз. Но, знаете, сердце, в конце концов, просит другого, и я вздумал немного пошалить с бабеночками.

— Дело хорошее! — серьезно сказал я.

— Не так ли?! Я хотя делишек с женщинами не имел, но повадку их знаю. Ведь стоит только подмигнуть хорошенько бабе — она и побежит за вами.

— Да уж... женщин на это взять.

— Говорят, некоторые женщины добродетельны, но я в это не верю. А?

— Сказки! — горячо сказал я. — Все они хороши до первой интрижки.

— О, неужели все? И даже самые интеллигентные?

— Да при чем тут интеллигентность?

— Это, положим, верно.

Бузыкин повеселел.

— Хе-хе... Выходит, значит, что всякую женщину можно при желании соблазнить.

— Всякую, — твердо сказал я.

— И я так думаю. Вот только насчет способов, как говорится, я слаб. Практики не было. Вот — хи-хи — и зашел к вам...

— Какие там способы, — пожал я плечами. — С ними ведь очень простое обхождение: понравилась — сейчас хватай за руку, потом за талию, пара горячих поцелуев — и она ваша.

— Вот это по-моему. Ну, а если она обидится?

— На одного обидится, а на другого и не обидится.

Он задумчиво вытянул губы и потом, с трудом прищурясь, спросил:

— А на меня... как вы полагаете? Хе-хе! Не обидится?

— На вас? Конечно нет. Да чего ей и нужно: молодой, красивый.

— Тридцать два года! — отрывисто сказал Бузыкин. — Все зубы, хороший цвет лица. Когда прохожу по улице — все оборачиваются.

— Да и неудивительно, — согласился я. — На примете есть кто-нибудь?

— Из бабенок?

— Да!

— Есть тут одна — жена адвоката Медляева, может знаете?

— Ого! Вы, однако, молодец! Она, говорят, красавица. Так и надо: уж если заниматься этим делом, так брать самое лучшее!

— А вы как же думаете? Хи-хи. Филимон Бузыкин еще себя покажет. Я, миленький мой, тоже не дурак.

— Вот женщины таких и любят — смелых, решительных... Вы составили себе какой-нибудь план?

— За этим-то я и пришел. Дело в том, что она каждое утро до обеда прогуливается в городском саду. Вот через полчаса она уже придет. Но как к ней подъехать — вот вопрос. Главное — начать, потом-то я пойду как по маслу.

— И вы еще раздумываете! — всплеснул я руками. — Молодой, интересный, кровь с молоком, знающий женщин как свои пять пальцев! Да просто подходите, берите за руку — и готово.

— И она не удивится, не испугается?

— Ни капельки. Оне к этому привыкли.

— О? Ну и проклятое бабье. Вот-то мужьям, я думаю, обидно?

— А вам-то что? Не думаете же вы жениться?

Он захохотал.

— Ни-ни. На мой век бабья и так хватит.

— Лихой вы парень, — любезно сказал я. — Когда думаете «подъехать» к вашей избраннице? Сегодня?

— Я думаю, не стоит откладывать этого дела в долгий ящик. Вы свободны? Поедем в городской сад.

— С вами — хоть к дьяволу на рога.

II

Мы уселись на скамью у киоска минеральных вод и стали рассеянно глядеть на возившихся в песке детишек.

— А что, если у нее от меня дети будут? — озабоченно спросил Бузыкин.

— Да вам-то что? Не вы же их кормить будете.

— Хи-хи... Я думаю! Вот она! Вот.

По дорожке в задумчивости шагала красивая высокая дама. Мысли ее, очевидно, витали где-то далеко.

— О любовниках думает, — шепнул мне продавец бычачьих кож.

— Да уж у них других мыслей и нет. Ну, не робейте! Действуйте! Куйте железо, пока горячо!

— А вы не находите, — спросил Бузыкин, — что у нее лицо какое-то такое... угрюмое?

— Э, милый мой... Маска! Светский прием. Эх! Я бы и сам не прочь подойти.

— Э, нет! Это нечестно — отбивать у приятелей. Я ее нашел, а не вы. Глядите! Она пошла в левую аллею.

— Вот вам счастливый случай! Не зевайте!

Бузыкин встал, затянул потуже галстук и бросился в погоню за задумчивой красавицей... ....

....

Не прошло и двух минут, как он вынырнул из липовой аллеи и поспешно вернулся ко мне, переваливаясь на кривых ногах и наступая сам себе на носки.

— Ну что?

— Слушайте... она... дерется!

— Как дерется?! Что вы!

— Да так. Я взял ее за руки, а она меня как хватит!

— Неужели?!

— Уверяю вас.

— Гм... Тут что-нибудь не так... Какой рукой ударила?

— Э, черт... Не все ли равно? По лицу.

— Да вы как сделали?

— Как вы и говорили... Я ж не знаю. Подошел сзади, схватил ее за руку, говорю: «Едем, милочка!» Она даже не спросила куда, не поинтересовалась... дерется!

— А вы знаете что... Я думаю, вы на нее все-таки некоторое впечатление произвели.

— Вы думаете?

— Я в этом уверен. Молодой, интересный... Просто ей было неловко с вами по саду идти на глазах у публики — все-таки замужняя, — она и отказалась.

— Так зачем же драться?

— Да у них это все вместе: и колотушки, и поцелуи. Да, может быть, она вас просто потрепала по щеке?

— Нет... ударила. Хотя... гм!.. Может быть... Что ж теперь делать? Вы ведь в этом мастак.

— Она сюда пешком приходит?

— Нет, в автомобиле. Ее автомобиль у входа ждет.

— Так очень просто. Засядьте сейчас потихоньку от шофера в автомобиль, а когда она войдет — бросайтесь смело на приступ. Вы не можете себе представить, как темнота и тайна делают женщину доступной.

— Ну? Хи-хи... А вы, я вижу, тоже дока.

Так он и сделал. Шофер о чем-то дружески беседовал с извозчиками и не заметил шаловливой проделки моего друга, который влез потихоньку в автомобиль и сейчас же послал мне из окошечка дождь поцелуев и кивков головой.

Через пять минут госпожа Медляева вышла из сада, через пять с половиной, открыв дверку, влезла в автомобиль, а через шесть минут влюбленный Филимон в ужасе и смущении вылетел на тротуар.

Дама высунула голову и сказала шоферу, который держал Бузыкина за шиворот:

— Не надо драки — отпустите этого идиота. Как я жалею, что муж в отъезде — он расправился бы с ним как следует. Садитесь, Павел. Домой!

Когда автомобиль умчался, я приблизился к изумленному Филимону Бузыкину и сказал радостно:

— Поздравляю! Ваше дело наполовину выиграно!

— Что вы! Вы видели, как она меня шваркнула?

— «Шваркнула» она вас по заслугам! Она, кроме того, назвала вас идиотом — и тоже по заслугам! Как можно было не догадаться спустить шторы на окнах. Ведь со всех сторон было видно и вас, и ее. Не могла же она себя компрометировать!

— Но зачем же ей драться?! Опять ударила, вытолкнула из автомобиля.

— Милый мой! Ведь она рисковала репутацией! Развратные-то оне все развратные, но репутацию свою берегут. Впрочем, ваше дело идет на лад.

Мой друг молча, вопросительно взглянул на меня.

— Конечно! — горячо сказал я. — Вы заметили — фраза «как я жалею, что мой муж в отъезде» сказана для вас. Вас она хотела предупредить, что путь сейчас свободен. И вы не теряйте времени, потому что для вас же сказана и вторая фраза: «Павел, домой!» Этим вам показано, что ваша очаровательница отправляется прямо домой, где, конечно, вас будут ждать.

— Ну? Вы думаете? Как бы чего не вышло... А?

— Чепуха! Раз первое знакомство сделано — остальное пустяки. Сейчас же и поезжайте! Если и теперь ничего не добьетесь — значит, вы не мужчина...

— Вы думаете? Хи-хи... А ведь это верно... гм... Зачем бы ей иначе о муже было сообщать?..

Притаившись за углом, я терпеливо ждал появления моего предприимчивого друга из подъезда дома Медляева.

Ждать пришлось недолго: дверь распахнулась, вылетел сначала котелок, потом палка, потом Бузыкин. Споткнувшись, он упал... Сидя на земле, надел котелок, почистился, опираясь на палку, встал и тихо побрел...

Я высунулся из-за угла и уверенно сказал:

— Добились? По лицу вижу, что экспедиция удачна! Молодцом! Я иначе и не предполагал.

— Да... — нерешительно промямлил он. — Она... этого... согласилась... Только сейчас, говорит, занята... Чем-то, уж не знаю... В другое время.

— Ага! Так, так... Целовались?

— Да-а... Гм... Четыре раза.

Когда мы ехали домой, я оживленно говорил:

— С этим бабьем, как вы верно изволили выразиться, так и надо поступать! Стоит только подмигнуть — и готово. Так вот, на людях они все тихони и неприступные, а дома всякая неприступность к черту. А если разобрать, замужняя, незамужняя, интеллигентная, неинтеллигентная — это вздор! Все одним миром мазаны!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ АКТРИСЫ МАРЫСЬКИНОЙ

Раздавая роли, режиссер прежде всего протянул толстую, увесистую тетрадь премьерше Любарской.

— Ого! — сказала премьерша.

Потом режиссер дал другую такую же тетрадь любовнику Закатову.

— Боже! — с ужасом в глазах вздохнул любовник. — Здесь фунта два! Не успею. Фунта полтора я бы еще выучил, а два фунта — не выучу.

«Дурак ты, дурак!» — подумала выходная актриса Марыськина.

— Это не роль, а Библия! — вскричала Любарская и сделала вид, что сгибается под тяжестью полученной тетрадки.

«Дура ты, дура, — подумала Марыськина. — Оторвала бы для меня листков десять — я бы вам показала!»

Потом получили роли: старуха Ковригина, комик Лучинин-Кавказский, второй актер Талиев и вторая актриса Макдональдова.

Марыськина с аппетитом проглотила слюну и спросила, сдерживая рыдания:

— А мне?

— Есть и тебе, милочка, — улыбнулся режиссер. — Вот тебе ролька — пальчики проглотишь.

Между двумя его пальцами виднелась какая-то крохотная, измятая бумажка.

— Это такая роль?

— Такая.

— Да где она?

— Вот.

— Я ее и не вижу, — обиженно сказала Марыськина.

— Ничего, — вздохнул режиссер, — она маловата, но зато дает громадный материал для игры. Подумай, ты богатая купчиха, гостья — во втором акте.

— А что я говорю?

— Вот что: «... в числе других гостей входит купчиха Полуянова. Целуется с хозяйкой... («с ней» — указал режиссер на Любарскую) ... говорит: «Наконец-то собралась к вам, милые мои...» Солнцева: «Очень рада, садитесь». — «Сяду и даже чашечку чаю выпью». — «Сделайте одолжение!» Полуянова садится, пьет чай».

— И это все? — с отвращением спросила Марыськина. — Хоть бы две странички дали...

— Миленькая! Да ведь тут игры масса! Погляди, быту сколько: «Наконец-то собралась к вам, милые мои...» Ведь это живое лицо! Купчиха во весь рост! А потом: «...сяду и даже чашечку чаю выпью!» Заметь, ей еще и не предлагали чай, а она уже сама заявляет — «выпью»! Вот оно где, темное купеческое царство гениального Островского: сяду, говорит, и даже чаю выпью. Ведь это тип! Это сама жизнь, перенесенная на подмостки! Я понимаю, если бы хозяйка там предложила ей: «Выпейте чаю, госпожа Полуянова». А то ведь нет! Этакая бесцеремонность: «Сяду и даже чаю выпью». Хе-хе! Ты бесцеремонность-то подчеркни!

Марыськина с болезненной гримасой прочла еще раз роль и сказала:

— А мне тип Полуяновой рисуется иначе: эта женщина хотя и выросла в купеческой среде, но она рвется к свету, рвется в другой мир... У нее есть идеалы, она даже влюблена в одного писателя, но муж ее угнетает и давит своей злостью и ревностью. И она, нежная, тонко чувствующая, рвется куда-то.

— Ладно, — равнодушно кивнул головой режиссер. — Пусть рвется. Это не важно. Тебе виднее...

— Я ее буду толковать немного экзальтированной, истеричкой...

— Толкуй! Дальше... «Роль слуги Дамиана»! Это вам, Аполлонов. «Горничная Катерина» — Рабынина-Вольская!

Марыськина отошла в угол в задумчивости...

* * *

... Начался второй акт. Сцена изображала гостиную в доме Солнцевой (Любарская). Собираются гости, приходит комик Матадоров (Лучинин-Кавказский), с которым хозяйка ведет напряженный разговор, так как она ожидает появления своего любовника Тиходумова (Закатов), изменившего ей с баронессой. Должна произойти сцена, полная глубокого драматизма. Объяснение на первом плане; в глубине сцены — тихий разговор ничего не подозревающих гостей...

Когда поднялся занавес, на сцене была одна Солнцева. Она ходила по сцене, ломала руки и, читая какую-то записку, шептала:

— Неужели? О, негодяй!

В это время в гостиную вошла группа гостей, и Солнцева, согнав с лица страдальческое выражение, приветливо встретила пришедших.

Она поклонилась молчаливым гостям, поцеловалась с купчихой Полуяновой (Марыськиной), и когда суфлер сказал: «Ах, это вы... вот приятный сюрприз!» — хозяйка тоже обрадовалась и покорно повторила:

— Ах, неужели же это вы! Вот так приятный сюрприз!

Марыськина посмотрела вдаль и печально прошептала:

— Наконец-то собралась к вам, милые мои!

— Очень рада, — приветливо сказал суфлер. — Садитесь.

Хозяйка дома вполне согласилась с ним:

— Очень рада! Чрезвычайно. Отчего же вы не садитесь? Садитесь!

Марыськина истерически засмеялась и, теребя платок, сказала:

— Сяду, и даже чашечку чаю выпью!

Она опустилась на диван, и сердце ее больно сжалось.

«Все... — подумала она. — Все! Вот она и роль!..»

И неожиданно сказала вслух:

— Да... что-то жажда меня томит, с самого утра. Ну, думаю, приеду к Солнцевым — там и напьюсь.

Солнцева недоумевающе взглянула на купчиху.

— Сделайте одолжение, — согласился гостеприимный суфлер.

— Пожалуйста! Сделайте одолжение... Я очень рада, — преувеличила Солнцева.

— Да... — сказала Марыськина. — Ничто так не удовлетворяет жажду, как чай. А за границей, говорят, он не в ходу.

— Замолчите! — прошептал суфлер, меняя обращение с купчихой Полуяновой. — «Солнцева отходит к другим гостям».

— Что это вы, милая моя, такая бледная? — спросила вдруг Марыськина. — Неприятности?

— Да... — пролепетала Солнцева.

От приветливости суфлера не осталось и следа.

— Молчите! Почему вы, черт вас дери, говорите слова, которых нет? «Солнцева отходит к другим гостям»! Солнцева! Отходите!

Солнцева, смотревшая на Марыськину с немым ужасом, напрягла свои творческие способности и сочинила:

— Извините, мне надо поздороваться с другими. Вам сейчас подадут чай.

— Успеете поздороваться, — печально прошептала Марыськина. — Ах, если бы вы знали, душечка... Я так несчастна! Мой муж — это грубое животное без сердца и нервов!

Марыськина приложила платок к глазам и истерически крикнула:

— Лучше смерть, чем жизнь с этим человеком.

— Замолчишь ли ты, черт тебя возьми! — прошептал энергично суфлер. — Оштрафует тебя Николай Алексеич — будешь знать!

— Передо мной рисуется другая жизнь, — сказала Марыськина, ломая руки. — Я рвусь к свету! Я хочу пойти на курсы. О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?!

— Успокойтесь! — сказала Солнцева и повернула к публике свое бледное, искаженное ужасом лицо. — Извините... Я пойду к другим гостям.

Марыськина схватилась за голову.

— К другим гостям? А кто они такие, эти гости? Жалкие паразиты и лгуны. Агриппина Николаевна! Здесь перед вами страдает живой человек, и вы хотите променять его на каких-то пошляков... О, Бож-же, как тяжело... Все знают только — ха-ха! — богатую купчиху Полуянову, а душу ее, ее разбитое сердце никто не хочет знать... Господи! Какое мучение!

— Она с ума сошла! — сказал вслух суфлер и, сложив книгу, в отчаянии провалился вниз.

— Пусть я не святая! — вскричала Марыськина, подходя к рампе. — Я женщина, и я люблю... Пусть! И знаете кого?

Она схватила Солнцеву за руку, нагнула к ней искаженное лицо и прошипела с громадным драматическим подъемом:

— Я люблю вашего любовника, которого вы ждете! Он мой, и я никому его не отдам. Вам написали насчет баронессы — ложь! Я его люблю! Что, мадам, кусаете губы? Ха-ха! Купчиха Полуянова никого не стесняется — да! Я имею любовника, и фамилия его — Тиходумов.

— Вон со сцены! — проревел из-за кулис режиссер.

«Истерику бы, — подумала Марыськина. — Если уж чем выдвинуться, то истерикой».

Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи ее задрожали... Плач перемешался с хохотом, и из уст вырывались отрывочные слова:

— Пусть! Пусть... Я его вам... не отдам. Ты у меня его не возьмешь... змея!

Никогда зрителям не приходилось видеть более жалких, растерянных лиц, чем у актеров на сцене в этот момент. Все так привыкли говорить только по тетрадкам весом в два фунта, в фунт и четверть фунта, что самые простые слова, вырывающиеся у присутствующих при истерике, никому не приходили в голову.

И в то время, когда купчиха Полуянова билась в истерике, два гостя рассматривали картину, и один говорил другому вызубренные наизусть слова:

— А эта Солнцева богато живет... У нее шикарно!

— Говорят, у нее что-то есть с Тиходумовым.

— Кто говорит? Я об этом ничего не слышал...

Никому не пришло в голову даже предложить воды плачущей купчихе. Нахохотавшись и наплакавшись вдоволь, она встала и, пошатываясь, сделала прощальный жест по направлению к Солнцевой:

— Прощай, низкая интриганка! Теперь я понимаю, почему ты предлагала мне чаю! Я видела через дверь, как твой сообщник сыпал мне в чашку белый порошок. Ха-ха! Купчиха Полуянова только сама, собственной рукой, перережет нить своей жизни! Не вам, червям, бороться с ней! Прощайте и вы, пошлые манекены, и ты прощай, жалкий, хихикающий Матадоров! Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни!

Марыськина вышла... и гром аплодисментов, низринувшись с галерки, разбился внизу, прокатился по партеру и замер в снисходительно похлопавших первых рядах...

* * *

Усталая, опустошенная, прошла Марыськина за кулисы, повернула в уборную и наткнулась на режиссера, который бежал прямо к ней:

— Вот твои вещи — их уже уложили. Тебе следовало двадцать восемь рублей, минус двадцать пять штрафу — три! На.

— Ладно, — сказала устало Марыськина. — Пусть... вещи на извозчика.

— Никифор! Выброси на извозчика ее вещи.

— Прощайте.

— Вон!

Сверх платья купчихи Полуяновой Марыськина натянула дряхлое, истасканное пальто, размазала рукой по лицу грим и с непроницаемым видом вышла, споткнувшись о порог.

ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО БЫЛИ ИДЕИ

Посвящается Н.А. Тэффи

I

Его звали Калакуцкий — он сам сказал мне это. Называю его фамилию для того, чтобы всякий знал, кто такой Калакуцкий, если Калакуцкий появится на горизонте. Если появится на горизонте человек с озабоченным выражением лица, маленький, крепкий, худой, черноволосый, с энергичными жестами и бодрым взглядом на будущее, человек в потертом костюме, но имеющий в одном из его карманов ключ к богатству, — если он появится, то это и будет Калакуцкий.

Он и ко мне пришел — этот Калакуцкий — человек с усталым, но энергичным и озабоченным выражением лица, носивший, вероятно, еще недавно глубокий траур по одному из своих родственников и снявший на днях этот траур со всего себя, кроме одного места — ногтей, вид которых доказывал, что обладатель их никак не мог утешиться, потеряв родственника.

— Давно собираюсь к вам. — сказал он, — да все был занят. Я — Калакуцкий. Много слышал о вас как о способ-

ном человеке и поэтому пришел к вам, ибо такой человек должен оценить меня.

Он сделал передышку.

— Я могу быть вам очень полезен.

— Да? Чем?

— А видите ли, я с ног до головы набит различными идеями; я, так сказать, ящик Пандоры, с тою лишь разницей, что содержимое ящика Пандоры было — змеи, а я — вместилище идей.

— Чего же вы хотите?

— Поделиться с вами. Вдвоем мы сможем завоевать весь мир.

— Это идея, — усмехнулся я.

Он энергично потер ладони одну о другую.

— Видите — первая идея уже дана. Но серьезно, когда вы увидите, что я за человек, вы должны меня прямо с руками оторвать.

— От чего?

— Как это так — от чего?

— От чего оторвать? Вы к чему-нибудь прикреплены?

— Увы, теперь нет. Служил в контроле сборов, но ушел, потому что *служить* где-нибудь *мне* — равносильно, как если бы алмазом резать кисель. И вот теперь я свободен — пользуйтесь.

— Гм... Ну давайте-ка на пробу какую-нибудь идею...

— Идею? Пополам, конечно?.. Слушайте! Прежде всего журнал! Мы должны издавать журнал совершенно нового типа и новых задач. Такого журнала, ручаюсь вам, еще не было и, держу пари, — не будет. Были журналы для актеров, для художников, даже для каких-то резчиков по металлу и текстильных рабочих... А такого не было.

— Для кого же будет ваш журнал?

Калакуцкий сложил руки на груди и, глядя на меня в упор, отчеканил:

— Журнал специально для потерпевших кораблекрушение!

Я вскочил с места.

— Ага! Вы поражены... Не удивительно ли, что до этого никто до сих пор не додумался. В самом деле, посмотрите-ка — кто больше всего нуждается в своем органе, как не эти заброшенные люди, для которых мой журнал будет другом, советчиком и помощником. Я думаю завести такие отделы:

легкое чтение. В долгие томительные вечера, когда ветер шумит и свистит между прибрежных скал, а океан поет свою вечную песню, — это чтение даст бедняге отдых и успокоение... Затем, отдел второй — практические советы. Как построить себе хижину, как находить съедобные сорта растений, а также способы охоты за животными. Третий отдел — почтовый ящик. Ответы на читательские вопросы по поводу...

— Один вопрос, — перебил я. — Где предполагается местопребывание ваших будущих подписчиков? Я полагаю, на необитаемом острове?

Он осторожно спросил:

— Почему именно на необитаемом?

— Да потому, что на обитаемых ему ваш журнал не нужен. Он найдет там все — от жилища до журналов — и без вас. Значит, остров необитаемый? Хорошо. Теперь предположим, человек путешествует на корабле; пока он не потерпел кораблекрушение — он и думать не будет о вашем журнале; *пока* этот журнал абсолютно не для него. Теперь: если он потерпел кораблекрушение — как он подпишется на этот журнал? Поймает птицу, привяжет к ней подписной билет и деньги и пустит ее лететь в вашу редакцию? А вдруг она не долетит? Вдруг ее убьют или ограбят любители чужого? Ну, скажем, она долетела по адресу. Как же вы будете рассылать ваш журнал по назначению?

— Я уже думал об этом, — сказал с легким беспокойством Калакуцкий. — Можно соорудить такие маленькие пакетботы, которые развозили бы...

— Да поймите вы, что если такой пакетбот пристанет к острову, то самое простое не вручать подписчику вашего журнала, а просто забрать беднягу на борт и привезти в Европу...

....

II

Калакуцкий, огорченный, долго молчал.

— Пожалуй, вы и правы. Ну да ведь я вам сказал идею этого журнала к примеру. Математически она все-таки хороша и проста. Вот только практически... Гм!..

Он согнал со своего лица задумчивость, встрепенулся и бодро сказал:

— Хотите, я вам скажу настоящую идею? Я долго ее вынашивал и обдумал так, что, как говорится, комар носу не подточит. Конечно, я надеюсь на вашу порядочность, и если мы, скажем, в условиях не сойдемся, то вы даете мне слово, что не воспользуетесь моей идеей без меня?

— Даю. Конечно, даю.

— Вы задавали себе вопрос: почему наши извозчики бедствуют? Очень просто — их разоряет лошадь. Ее нужно сначала приобрести, потом кормить, иметь для нее конюшню, подковывать и тратиться на ремонт сбруи. О кнуте я уже не говорю. Что же делаю я? Лошадь — к черту! Оглобли — к черту! Просто я приделаю впереди большое колесо, педали для ног извозчика, как на велосипеде, — и мой извозчик начинает, ничтоже сумняшеся, ездить без лошади, овса и сбруи. О кнуте я уже и не говорю.

— Позвольте, — подумав, возразил я. — О кнуте вы уже и не говорите... При наличности двух седоков общий вес будет пудов шестнадцать-семнадцать. Одному человеку не сдвинуть этого, хоть вы приделайте десять колес.

— Я уже думал об этом. Если даже это и так — оно неважно. Важен принцип. Математически он прост и осуществим. А движение?.. Если извозчиковы ноги не годятся, ведь можно сделать и механический двигатель. Паром, там, или электричеством.

— Да, да, — подхватил я. — Поставить бензиновый двигатель и конец.

— Ну конечно! — радостно согласился Калакуцкий. — Вот вы меня и поняли.

— А для управления приделать руль!

— Ну да! Верно!!

— А двигатель сделать посильнее, да и устроить экипаж на четырех пассажиров.

— Да! Ей-Богу!

— И тогда... (я злорадно помедлил) и тогда вы будете иметь обыкновенный автомобиль, изобретенный несколько лет тому назад, и который вы можете видеть на улицах в числе нескольких тысяч экземпляров.

III

Если бы кто-нибудь хотел видеть человека, раздавленного в лепешку, — ему нужно было бы посмотреть на Калакуцкого.

Свесив голову, он тяжело дышал. Лицо его было изборождено страдальческими морщинами, как у человека, который неожиданно увидел свою заветную мечту разрушенной и втоптанной в грязь. Он вздыхал и вертел головой. Он чуть не плакал.

— А ведь как было математически просто... — скорбно сказал он.

Я спросил его:

— Больше у вас ничего нет?

— Ах, конечно же есть. Я сверху донизу, как колбаса, набит разными идеями. У вас есть издатель?

— Есть.

— Не купите ли вы в компании с ним у меня одну книжку? Можно хорошо нажиться.

— Какую книжку?

— Мою. Стихи. Я издал месяц тому назад книжку, ухлопал на нее все денежки, а так как у меня нет охоты возиться с ней, то я бы уступил ее за полцены. Около десяти тысяч книжек.

— Что вы! Когда же стихи печатались в таком количестве?!

— Почему же? Тут уж наверное мой способ математически прост и осуществим... Я рассчитывал так: чем больше я напечатаю книжек, тем больше можно заработать.

— А если книжка не пойдет?

— Почему же ей не пойти? Слава Богу, стихи, кажется, хорошие. Повторяю — мой расчет математически прост: за один месяц я продал двести книг. Значит, в год я продам (или вы продадите) две тысячи четыреста, а в четыре года и два месяца — все, до последней книжечки.

Я встал с кресла:

— Довольно! Еще два слова, и мы закончим наш разговор. Я вам приведу другой расчет — он так же «математически прост и осуществим». Если человек в две минуты съедает одну котлету, то в час он, значит, съест тридцать котлет? А в рабочий восьмичасовой день 240 котлет? Отвечайте, черт возьми!

— Почему вы это говорите? — растерялся Калакуцкий.

— Потому что можно съесть две котлеты, можно купить двести книжек, но не больше! Слышите вы — не больше!

— Однако же раз двести покупателей нашлось, почему же не найтись еще нескольким тысячам?

— Почему? Да потому, что нет такой самой скверной, самой ледащей книжонки, которая бы не продалась в этом фатальном количестве — «двести экземпляров». Это издательское правило. Кто эти двести покупателей, двести чудаков? Неизвестно. Их никто не видал. Брюнеты они, блондины или рыжие, бородатые или бритые — Бог весть. Их никто не знает. Я бы дорого дал, чтобы лично взглянуть хоть на одного из этой таинственной секты «двухсот». Чем они занимаются? Домовладельцы ли, антрепренеры, библиотекари или конокрады? Это не узнано и, вероятно, никогда не узнается. Но они неуклонно продолжают свое нелепое дело, эти двести безумцев, — и своими деяниями сбивают с толку таких простаков, как вы.

IV

Калакуцкий выслушал меня, встал, стер ладонью пот со лба и сказал:

— В таком случае я у вас попрошу маленького одолжения. Мне нужно немножко денег, так рублей пятьдесят... для одного дела. Через две недели я вам отдам хоть сто.

Он был бледен и худ от голода.

Призадумавшись немного, я кивнул головой и предложил этому человеку, набитому с ног до головы идеями, свою идею.

— Знаете что? Я вам не дам пятидесяти рублей с условием получения обратно ста, а я предложу вам десять рублей, но зато без всякого возврата.

Очевидно, он нашел мою идею «математически простой и легко осуществимой», потому что взял золотую монету. И ушел.

Я думаю, что ушел он от меня, довольный мною.

Человеку, потерпевшему кораблекрушение, так приятно встретить на необитаемом острове другого человека.

ТРИ ВИЗИТА

Как жутко и сладостно-весело находиться у самого края того кратера, где кипит и бурлит расплавленная лава, называемая человеческою жизнью. Перевесишься через край, заглянешь в бушующую стихию, и голова закружится.

Моя профессия (я писатель и редактор журнала) дает мне возможность частенько проделывать это, потому что в моем кабинете в приемные часы толчется много странных разнообразных диковинных людей.

Недавно на одну из моих пятниц пришлось три визита — как на подбор странных и удивительных.

I. Женщина из Ряжска

Это была скромно одетая дама, с величаво-медлительными движениями рук и выражением лица, в достаточной мере скорбным.

Впрочем, вначале она была очень спокойна и даже оживлена.

Когда я усадил ее, она неторопливо вынула из ридикюля какую-то сложенную вчетверо бумагу и, помахивая ею, спросила:

— Вы знаете нашего члена управы Голоротова?

— Гм!.. Пожалуй, что и не знаю. То есть я даже наверное могу сказать, что он мне не знаком.

Дама значительно сжала губы и веско сказала:

— Он мерзавец!

— Да?

— Мерзавец, каких мало. И он думает, что на него в Ряжске не найдется управы. Нет-с, миленький... На всякого человека в конце концов есть палка. И эта палка — ваш журнал!

— Палка? Журнал?

— Да. Вы его должны распечь хорошенько, этого мерзавца. Вот, я привезла вам стихотворение — тут все штучки Голоротова выведены на чистую воду, — и если вы это напечатаете, он издохнет от злости.

Я сделал шаблонное лицо и сказал шаблонным тоном:

— Хорошо. Оставьте. Ответ через две недели.

— Две недели? — воскликнула чрезвычайно удивленная дама. — Но я не могу ждать две недели. Я приехала всего дня на два, на три.

— О, Господи! — нервно засмеялся я. — Ведь не ради же этого стихотворения о Голоротове приехали вы в Петербург?

Посетительница из Ряжска спокойно взглянула на меня и сказала:

— Именно из-за этого стихотворения я и приехала в Петербург.

— Боже ты мой! Неужели вы не могли послать его по почте?

— Что вы! Это слишком опасно посылать такие... вещи по почте. Если бы там оно попало кое-кому в руки... Да, кстати! Я вас умоляю, ни под каким видом не открывать фамилии автора. Просто как там подписано: «Ряжский Мефистофель» — так и печатайте. Если откроется, что это писал мой сын, — мы погибли! Вы не можете себе представить, на что способен Голоротов. Я должна сказать откровенно: он и вам может сделать большие неприятности. Это ужасный человек.

— Знаете что, — задумчиво сказал я, желая сплавить даму и отделаться поскорее от ее стихотворения. — Вы уезжайте-ка обратно в Ряжск, а я вам денька через два напишу... Гм... Сообщу, как говорится, результаты. А?

— В таком случае, — сказала дама, — я лучше подожду здесь... Два-три денька мне многого не будут стоить. Если уж поднялась с места, двинулась, то хоть доведу свое дело до конца.

— Позвольте стихотворение, — со вздохом попросил я. — Гм... Что это такое?

Ряжский Малюта Скуратов

Пусть всяк из вас догадается,
Как этот фрукт прозывается.
Я ж про все его проступки
Расскажу вам без охулки.
Вот утром на службу Малюта идет,
Где взятки он часто берет.
На того же, кто взяток ему не дает,
Он председателю управы Мразичу донесет.
А прежде всего расскажу я вам всем,
Как вдову X. сжил он со свету совсем.

— Позвольте, — спохватился я, прочтя начало. — Да ведь ваше стихотворение очень большое!

— Да, не маленькое, — с горделивой усмешкой и тайным восхищением перед талантом сынка подтвердила приезжая из Ряжска.

— В нем строк 200?

— Да уж... не меньше! Хе-хе. Если не больше.

— Ну, вот видите. А наш журнал таких длинных стихов не печатает.

Дама побледнела.

— Ну что вы такое говорите. Почему ж его не напечатать?

— Именно потому, что оно очень длинное. Не касаясь его литературных достоинств, мы не можем просто его напечатать вследствие размера.

Какая-то внутренняя борьба отразилась на лице посетительницы. Она встала и решительно сказала:

— Ну, хорошо! В таком случае печатайте без гонорара.

— Сударыня! Дело не в гонораре. За все то, что напечатано, мы платим... Но ваша... эта вещь... просто не подходит.

Лицо ее исказилось ужасом, и на глазах выдавилась пара слезинок.

— Господин редактор! Ради Бога... умоляю вас — напечатайте. Вы увидите, какой это будет иметь успех. В Ряжске этот номер журнала прямо-таки расхватают...

— Но уверяю вас, что нам это безразлично... Для журнала, обслуживающего Россию, эфемерный успех в Ряжске...

— Вот что... Я подписываюсь на ваш журнал на целый год! Могу даже сейчас внести деньги... А?

— Я не знаю, как мне уверить вас, что это нам безразлично, что это не имеет для нас никакого значения...

— Не имеет значения? Ну, а если я, скажем, покупаю у вас сразу сто номеров журнала с этими стихами...

— Да черт возьми! — злобно сказал я. — При чем тут сто номеров, когда у нас десятки тысяч идут каждую неделю! Можете вы понять или не можете, что просто ваши стихи не нужны. Хоть вы тысячу номеров купите, хоть все издание! И ответьте вы мне: почему вы так хотите всучить их нам? Кому, в конце концов, интересен ваш Голоротов, который чем-то вас там обидел и которому вы хотите насолить?

Дама утерла слезы, с достоинством взглянула на меня и сказала:

— Я не насолить хочу, а стремлюсь к тому, чтобы негодяй хоть каким-нибудь образом понес заслуженное наказание... Суд с ним, конечно, ничего поделать не может. Пусть хоть печать. Приехала, стратилась...

— А знаете что? Напечатайте это в ряжской газете... — посоветовал я.

— О, там-то уж наверно не напечатают. Побоятся... Нет, я уж прямо ехала к вам. Была уверена, и вдруг!.. А? Приехала, стратилась...

Она призадумалась, притихла. Потом положила свою руку на мою и попросила:

— Разве вот что: вы их немного сократите, а? Там можно будет выбросить то место, где сказано о его проделке с дровами для городской столовой. И еще насчет его поступка с бонной. Вот это место:

Все тихо спит. Не спит жена.
Лишь тихо крадется она.
И, видя мужа своего
У бонны в комнате, стыдит его...

— Нет, — решительно сказал я. — Тут уж сокращать не стоит. Все стихотворение не подходит.

Она поднялась, убитая горем; на ее лице была написана такая тоска, такая безысходная мука, что мое суровое, ожесточившееся в стычках с начинающими авторами сердце дрогнуло. И я не мог найти в себе мужества сказать то, что следовало: что стихи никуда не годятся, что их нигде не возьмут и что самое лучшее — сейчас же выбросить их на улицу, купить билет и уехать обратно в Ряжск.

— Неужели я даром проехалась? — скорбно прошептала посетительница. — Думала как, мечтала. Собралась, приехала, стратилась... На тебе! Скажите — ну, если не в ваш журнал, то куда их можно пристроить?

По скверной петербургской манере я обрадовался возможности сплавить ее с рук на руки и поэтому, не задумываясь, сказал:

— Я думаю, в газете вам будет легче пристроить эти стихи. Это, так сказать, газетная тема. Голос из провинции... Зайдите в «Вестник жизни» или «Ежедневное обозрение». Они нуждаются в материале и гм... того...

Она неторопливо свернула рукопись, с благодарностью пожала мне руку и направилась к дверям...

Вдруг вернулась и снова приблизилась ко мне, причем на губах ее сияла улыбка, а в глазах сверкали искорки:

— Вы можете себе представить, что сделается с этим вором, с этим негодяем, когда он увидит воздаяние себе по заслугам!.. О, тогда мы с сыном можем спокойно заснуть, потому что послужили не только себе, но и ряжскому обществу!..

II. Человек с испорченными часами

Усевшись поудобнее в кресло, он осмотрел меня и, удовлетворенный, сказал:

— Вот вы какой!

— Да, — скромно улыбнулся я.

— Давно пишете?

— Четыре года.

— Ого! А я тоже, думаю: дай-ка что-нибудь напишу!

— Написали? — полюбопытствовал я.

— Написал. Принес. Хочу у вас напечатать.

— Раньше писали?

— Нет. Другим была голова занята. А нынче с делами управился, жену в имение отослал, ну, знаете ли, скучно. Эх, думаю, попробую-ка что-нибудь написать. Вот написал и притащил — хе-хе! Печатайте новоявленного Байрона.

— Хорошо-с. Одну минутку... кончу корректуру и тогда к вашим услугам.

Это был длинноносый немолодой человек, в черном сюртуке и с бриллиантом на худом узловатом пальце.

Он осмотрел свои ногти и, улыбнувшись, сказал:

— А приятно, когда везет.

— Кому?

— Да вот, например, вам. Пишете, зарабатываете деньги, вас читают.

— Трудно писать, — рассеянно сказал я.

— Ну, как вам сказать. Я, например, сел, и у меня это как-то сразу вышло.

Я отодвинул неоконченную корректуру и сказал:

— Где ваша рукопись?

— Вот она. Условия: пятнадцать копеек строка. А следующие вещицы — по соглашению. За дебют можно и подешевле...

— Ладно. Ответ через две недели.

Я бросил косой взгляд на начало лежавшей передо мной рукописи и сказал:

— Кстати, нельзя писать: «Солнце сияло на закате небосклона».

— Ну, ничего, — добродушно усмехнулся он. — Исправите. Это первые шаги. Ну — я пойду. Не буду отнимать у себя и у вас драгоценное время.

Он вынул часы, взглянул на них и сказал с досадой:

— Вот анафемские! Опять стали.

— Испортились? — спросил я.

— Да. Давал чинить — ничего не выходит.

— Да, уж эти часовые мастера! Позвольте, я посмотрю их. Может быть, что-нибудь можно с ними сделать.

Он удивленно посмотрел на меня.

— А вы и часы можете починить?

— Отчего же... Пустяки!

Я взял протянутые им часы, открыл заднюю крышку и стал внимательно разглядывать сложную комбинацию колесиков и пружин.

— Ну-с... попробуем.

Я взял перочинный ножик и ковырнул механизм. Два колесика отскочили и упали на письменный стол.

— Ага! — удовлетворенно сказал я. — Ишь ты, подлые.

Нащупав пальцем тонкую, как паутина, спираль, я подцепил ее ногтем и, размотав, вытащил. Заодно выпали и два каких-то молоточка, соединенных дужкой.

— Ну что? — спросил писатель, с недоумением следя за моей работой.

— Да что ж, — пожал я плечами, выковыривая из футляра последние остатки механизма. — Часы как часы. Тут столько всякого напутано, что сам черт не поймет.

Он вскочил, бросил растерянный взгляд на выпотрошенные часы и вскричал:

— Да вы-то сами... понимаете что-нибудь в часах?

— Как вам сказать... Скорей не понимаю, чем понимаю.

— И вы никогда не занимались часовым делом?

— Откровенно-то говоря — нет. Вот сейчас только... немножко.

Он заревел, собирая в опустевшие часы все свои колесики, пружины и молоточки:

— Так какого же дьявола, ни черта не смысля, вы беретесь не за свое дело?!

Заревел и я:

— А вы-то тоже! Какого вы дьявола взялись за литературу, ни черта в ней не смысля?! Что ж, по-вашему, починять часы труднее, чем написать хорошее литературное произведение?

Потом мы оба сразу остыли. Он засмеялся и сказал:

— Ну, черт с вами. Если эта моя вещица не подойдет — принесу другую.

— Ладно, — согласился я. — Если еще будут у вас часики, притащите и их. Может быть, мы оба в конце концов научимся...

III. Господин с полузакрытыми глазами

Я не люблю и осуждаю тех авторов, у которых в несложном арсенале их творчества только и существует для создания гнетущего настроения два средства: «дождь плакал за окном холодными слезами» и «где-то вдали уныло завывала шарманка».

Некоторые писатели так и пробродили весь свой век по жизненному полю с этой шарманкой за плечами, упорно вертя ее ручку под обильными струями «плачущего за окном» дождя.

Если отобрать у такого писателя шарманку — он расплачется не хуже дождя, потому что без шарманки, уныло завывающей вдали, — настроение рассказа исчезает, фонтан творчества иссякает и писателю приходит конец.

Эти строки написались сейчас потому, что третий визит ко мне совпал с очень скверной петербургской погодой, когда дождь плакал за окном холодными слезами и где-то вдали уныло завывала шарманка. Однако надо признаться, что если бы даже за окном сияло лучезарное солнце и откуда-то издали доносились мелодичные звуки штраусовского вальса (вторая форма настроения — «бодрое»), то и тогда бы третий визит произвел на меня крайне отталкивающее впечатление.

На внешности вошедшего ко мне человека не мешает остановиться подробнее: громадный лысый лоб его украшался по бокам двумя густыми кустарниками рыжих волос, которые в своей стремительности выбегали даже на щеки, расстилаясь у углов губ мелкой травкой. Губы были бледные, бескровные, безмолвно шевелившиеся даже в то время, когда посетитель слушал кого-нибудь. Глаза были быстрые, беспокойные, сомневающиеся в чем-то и чего-то боящиеся. *Полузакрытые веками*, они глубоко запали, уйдя в темные впадины, будто в овраг, одна сторона которого густо поросла желтым растрепанным кустарником — бровями.

Да и вообще вся физиономия пришельца чрезвычайно напоминала странный пейзаж. Лоб, например, показался мне чрезвычайно похожим на проезжую дорогу, изборожденную глубочайшими продольными колеями — морщинами. Долго, вероятно, нужно было тяжелой колеснице времени ездить по этой дороге, чтобы оставить такие глубокие, нестирающиеся следы.

Ноги незнакомца были очень тонки и в коленях не сгибались; опирался он на очень толстую палку, и так как она тоже не сгибалась, то можно было подумать, что человек пришел на трех ногах.

Голос у него был противный, мерно скрипучий, с легким, не вынужденным необходимостью покашливанием, интонация раздражающая, тон рассудительный.

— По редакционному делу? — отрывисто спросил я, рассмотрев его.

— Если хотите — да, если хотите — нет.

Он сел, расставив острые углы колен и опершись руками и подбородком на палку.

— Скорее нет, чем да. Скажите, вы не отказываетесь от того, что вами был устроен десятого числа текущего месяца благотворительный вечер?

— Чего ж тут отказываться? Кажется, всему Петербургу было известно... Афиши были...

— Ага! Так, так. Не отказываетесь? Хорошо. В таком случае, мы быстро столкуемся. Итак, значит, пока что мы можем установить бесспорный факт: благотворительный вечер 10-го числа был действительно вами устроен? Да? Признаетесь?

— Ну, конечно, Господи...

— Ага! — вскричал посетитель таким торжествующим тоном, будто бы он поймал меня в расставленную им хитроумную ловушку. — Ага! Вот это-то мне и надо. В таком случае — уплатите же мне восемьсот рублей!

— Какие восемьсот?

— Те самые, — сказал посетитель хладнокровно, с сознанием своего права. — Те, которые мною утрачены на вашем вечере.

— Как... утрачены?

— Очень просто. Кто-то вынул их у меня из кармана.

Я удивился.

— При чем же тут мы? Вы должны были бы заявить полиции.

— И не подумаю, — пожал он плечами. — Вы ведь устраивали вечер 10-го?

— Устраивал.

— Деньги у меня похитили на этом вечере?

— Ну, предположим.

— Значит — кто должен вернуть их мне?

— Я думаю, вор не вернет, — улыбнулся я.

— Конечно. Поэтому должны вернуть вы.

— Да почему же? При чем тут я?

— Вы при том, что устраивали вечер. Вы печатаете, что вы ответственный распорядитель. Понимаете — *ответственный Распорядитель.*

— Да что ж я — ворами там распоряжался, что ли?

— Там — ворами или не ворами — это не мое дело. А то, что мне следует, позвольте получить.

— Да что вам следует? Вам ничего не следует!

Посетитель прищурился, будто взрослый, который терпеливо беседует с бестолковым ребенком:

— Ни-че-го? А восемьсот-то рублей? Мне мои денежки подайте. Я не какой-нибудь там Ротшильд, чтобы швыряться сотнями. Слава Богу — денежки не маленькие.

— Ну, так вот что, — нетерпеливо сказал я. — Никаких денег я вам не дам, так как ничего не должен!

— Почему?

Я вспылил.

— Да кто вы такой: человек или дерево? Русским вам языком говорят — я ни при чем. Какое мне дело, что где-то, у кого-то, у какого-то разини вытащили из кармана деньги.

Посетитель язвительно засмеялся.

— Это называется «где-то». На его же вечере, который он устраивал, у посетителя пропадают деньги, а он говорит «где-то»...

— Ну, хорошо: а если бы, скажем, вы шли по городской улице и у вас вытащили деньги. С кого бы вы требовали? С городского управления?

— То улица, а то — концертный зал, — сказал он с глупейшей рассудительностью. — Громадная разница.

— Знаете, что? Подайте-ка в суд: посмотрим, что вам там запоют. Вас засмеяли бы там с вашим нелепым иском.

— Да? Вы так думаете? А по-моему, дело мое настолько верное, что его даже смешно доводить до суда. Я думал, мы покончим миром.

Я потер горячую голову.

— Ну, хотите — спросим сейчас какого-нибудь свежего человека, что он об этом думает?

— О, пожалуйста. Я уверен, всякий скажет одно и то же.

Я открыл дверь в соседнюю комнату и крикнул:

— Георгий Александрович! Пожалуйте-ка сюда. Вот — это наш секретарь. Спросите у него.

Секретарь внимательно выслушал, вздернул плечами и заявил:

— Никогда мне не случалось сталкиваться с более глупым шантажом. Я на вашем месте не разговаривал бы, а просто посоветовал обратиться в суд. Стоит ли понапрасну время терять...

— Вам же будет хуже, если я обращусь в суд, — сказал посетитель, положив подбородок на руки, покоившиеся на палке. — Придется платить судебные издержки.

— За что-о?! — заревел рассерженный секретарь. — Полно вам дурака валять... У него кто-то вытащил деньги, а мы за это отвечай. Я еще понимаю, если бы вы сдали их нам на хранение. А разве мы можем ручаться за всех посетителей вечера? Ведь могла явиться добрая половина жуликов всего города — и мы ничего не могли бы поделать.

Посетитель с гадкой, хитрой улыбочкой погрозил нам пальцем.

— Вы, конечно, тут человек служащий и поэтому должны держать руку хозяина. А в глубине души вы ведь чувствуете, что мое дело верное? А?

— А, будьте вы прокляты, — вскричал секретарь, не владея собой. — Эй, кто там есть в конторе? Бухгалтер! Кассир! Кто-нибудь из посторонних есть? Подписчик? Зовите, пригласите его сюда.

Пять человек вошли в мой кабинет, заинтересованные шумом.

— Вот! — сказал секретарь, потрясая кулаками. — Вот... сей муж говорит, что устроитель благотворительного вечера должен ему вернуть восемьсот рублей, вытащенные у него каким-то жуликом.

— Вытащенные *на этом вечере*, добавьте, — солидно вставил посетитель, раскачиваясь в кресле.

— На этом ли, на том вечере — один дьявол! Вечер был публичный! Никто не может отвечать за контингент посетителей!!!

— Никто? Да-с? Вы так думаете? А ответственный распорядитель должен отвечать?

— Ну, вот что... — сказал я. — Эти люди все наши служащие, и вы можете упрекнуть их в пристрастности. Но вот человек посторонний. Случайный подписчик — спросите его! Что он скажет?!

— Чепуха! — сказал подписчик. — Ничего вы получить не можете. Заявите просто полиции о краже.

— Да ведь не полиция у меня украла, чего же я ей буду заявлять, — возразил посетитель с наружной рассудительностью.

— Подавайте в суд! — резко сказал я. — А пока, извините, прошу не отнимать у меня времени — я занят.

— А восемьсот-то рублей!

— Ни копейки!

Посетитель поднялся с кресла.

— Хорошо-с. В таком случае вы мне заплатите втрое.

— Да? Это на каком же основании? — подхватил подписчик.

— По закону. За находку полагается третья часть, а за пропажу — втрое. Я хотел с вами миром уладить, но если вы упрямитесь...

Секретарь схватил его за костлявые плечи, заглянул ему в глаза и, тряся, злобно сказал:

— В своем ли вы уме, что та...

Он вдруг закричал пронзительным голосом, оттолкнул упрямого незнакомца и выбежал в другую комнату.

Я, встревоженный, последовал за ним, нашел его лежащим в углу на диване и нервно дрожащим, чуть не в истерике.

— Что такое? Почему?

— О, Господи! Глаза, глаза!.. Как же вы не догадались раньше заглянуть ему в глаза: ох, какие это страшные, душу холодящие глаза! Ведь он сумасшедший!

Я вернулся в кабинет. Посетитель холодно прощался со всеми, затянув свои безумные глаза холодными непро-

ницаемыми пленками век. Со мной холодно раскланялся и сказал:

— А так как я на эти деньги собирался открыть фабрику нарезных гаек, то вам и за это придется заплатить. Считая в год по три тысячи, за десять лет — тридцать тысяч!

ЗЕРКАЛЬНАЯ ДУША
(Святочный рассказ)

Сначала кто-то долго пытался нашарить ключом замочную скважину.

Человек, пытавшийся сделать это, применял такой способ: откачнувшись, он падал на дверь, с приставленным к животу ключом, в надежде, что ключ случайно проскользнет в замочную скважину.

Но это было похоже на лотерею-аллегри, где на сто пустых билетов — только один выигрышный: общая площадь двери была громадная, а замочная скважина маленькая.

Но случай великое дело; на сорок седьмой попытке ключ попал в замочную скважину, при тихом торжествующем смехе хозяина квартиры.

Он повернул ключ в замке, но сейчас же забыл об этом и, когда после его толчка дверь распахнулась, удивился: как это он с утра оставил дверь открытой.

— Может быть, пришел ко мне кто-нибудь? — нерешительно подумал он.

Предположение его оказалось справедливым: когда он зажег электричество — в большом зеркале, вделанном в стену и украшенном драпировкой, отразилась чья-то фигура в шубе и шапке, нерешительно на него поглядывавшая.

Он тоже бросил на неизвестного человека робкий взгляд, шаркнул ногой, притопнул и поклонился.

Неизвестный ответил вежливым поклоном.

— Здрасс... те! — сказал хозяин квартиры. — Какими судьбами? А я, представьте, так и догадался: смотрю — дверь открыта, ну, значит, кто-нибудь... на огонек. Раздевайтесь!

Хозяин снял шубу, бросил ее на диван; потом повернулся к гостю, чтобы помочь ему разоблачиться, но гость был уже без пальто.

— Садитесь! — сказал хозяин. — Очень рад, что вссс... помнили! Хе-хе. Сядьте.

Гость, однако, стоял, ухмыляясь.

— Ну, право, сядьте. Наверное, устали, взбираясь по лестнице. Садитесь! Не хотите?.. Вот чудак! Хе-хе... Вырасти хотите? Да? Ну, я сам покажу пример, хотя это, мила-ай мой, со стороны хозяина и невежливо. Верррно?!

Хозяин опустился на стул; тогда и гость последовал его примеру.

— Веселое нынче Рождество, не так ли? — спросил хозяин, помолчав.

Гость ответил легким помахиванием руки.

Хозяин, в сущности, не знал, о чем и как беседовать с неразговорчивым гостем, но правила гостеприимства, которые он твердо помнил, несмотря на отуманенную, отягченную вином голову, заставляли его поддерживать пустой бессодержательный разговор.

— Моррозы! Да?

Гость ответил неопределенным жестом руки.

— Уж-жа-сные! Представьте, вышел я на улицу, а калоши — трах! Моментально примерзли к тротуару. Хочу поднять одну ногу — не могу! Хочу другую — не могу! Хочу треть... Гм! Да... Очень сильные морозы.

Помолчали.

— Это очень хорошо, что вы пришли. Нужно, знаете ли... духовное общение... Подъем!..

Хозяин сочувственно взглянул на гостя; вглядевшись попристальнее, он заметил в одежде гостя беспорядок: галстук был развязан и воротничок, петля которого оборвалась, торчал одним концом у самого уха.

— Что это, голубчик, с вами? Воротничок-то подгулял, а? Хе-хе.

Оба долго смеялись, плутовски подмигивая друг другу.

Потом тема разговора иссякла.

— Сильные морозы, а? Пре-же-сто-кие. Во!

Гость сжал руку в кулак с таким видом, будто хотел иллюстрировать крепость мороза, но ничего не сказал.

— Да... Очень, очень большие морозы. Вот вы заметьте — летом не бывает морозов — почему? Потому что — смешно! В июне снег! В июле — мороз! Как так? Засмеют!! Ей-Богу. Дико!

Снова собеседники замолчали, неприязненно поглядывая друг на друга.

— Пришел и молчит, — подумал хозяин. — И еще — одну калошу снял, а другую не снял. Как не стыдно, право... Свиньи, а не люди! Черт с ним! Закурю лучше...

Он полез в карман, вынул портсигар, взял одну папиросу и протянул портсигар гостю, но тот тоже достал портсигар и уже протягивал его хозяину.

— Благодарю вас! Свои курю, — сухо сказал хозяин. — Позвольте прикурить только.

Он вытянул голову, прикоснулся папиросой к папиросе гостя и затянулся.

— Кой черт! Ведь у вас не горит. Чего же вы даете мне закуривать?.. Эх вы! Сейчас!

Хозяин встал, нашел спички, зажег папиросу, дал закурить от своей папиросы гостю, и оба они, окружив себя облаками табачного дыма, погрузились в молчание.

— Да, — сказал хозяин. — Очень большие морозы...

Гость иронически промолчал, очевидно, недовольный однообразием темы разговора и будто выжидая, не скажет ли хозяин что-нибудь более интересное...

— Свирепые. Я на одном доме нынче видел — градусник к стене примерз. Чесссн... слово.

Гость дипломатично промолчал.

— Может, коньяку выпьете, — неожиданно предложил хозяин. — Чрезвычайный коньяк есть! Совсем забыл за этими разговорами. Хе-хе.

Хозяин оживился и заметил, что при упоминании о коньяке оживился и гость.

— Любит, наверно, дрызнуть, — с легким укором подумал хозяин. — Ишь, как глазки сразу заблестели...

Он вышел в столовую, натыкаясь на стулья и тихонько посмеиваясь. Достал бутылку коньяку, рюмку и, вернувшись, сказал:

— Вот коньячок и две рюмочки. Ни-ни — и не отказывайтесь! Дело праздничное...

Гость облизнулся и потер руки.

— Любишь, каналья, — с ласковой укоризной подумал про себя хозяин.

Он наполнил единственную рюмку, отодвинул горлышко бутылки на вершок влево, налил немного вина на скатерть и подмигнул гостю:

— Ну... ваше здоровье! Выпьете, может, развеселитесь...

В руках гостя уже была рюмка. Оба звонко чокнулись и, опрокинув головы, выпили.

— Ну, как дома у вас... все благополучно? — спросил хозяин, снова садясь на стул.

Гость ни слова не ответил на этот простой вопрос.

— Слушайте! Вы! Я вас спрашиваю, — с легким раздражением возвысил голос хозяин. — Вы все время молчите — нельзя же так! Я могу это счесть за нас... мешку! За презрение к хозяину дома! Или — хе-хе — вы уже так набрались, что и говорить не можете?

Гость усмехнулся, но по-прежнему остался безмолвен, как дерево.

Хозяин горько засмеялся.

— Конечно! Мы люди маленькие... Разве нас удостоят разговором эти большие господа... Они нас, видите ли, презирают... Нисходят до нас! А в наш дом, — крикнул он, — они приходят! Наш коньяк пьют! Зачем тогда было приходить — шли бы к себе домой...

Голос хозяина принял оттенок язвительности.

— А знаете что? Наплевать мне и на вас и на ваши разговоры! Идите домой и — надеюсь — никогда не встречусь с вами. Тоже... гость!.. Пришел, когда хозяина дома нет — это разве можно! А может, я тебя не желаю принять? «Илья Чепцов нынче болен и никого не желает принимать!» Слышишь! А ты лезешь. Потрудитесь уйти, я спать хочу — вот что-с!

Но гость и не думал об уходе; наоборот, он развалился в кресле и бросал на хозяина вызывающие взгляды.

— Слушш... Уходите отсюда! Довольно-с. Пора спать, милоссс... государь! А то я поговорю с вами иначе!

Ярости и возмущению хозяина не было границ, когда гость вдруг ни с того ни с сего погрозил хозяину кулаком и уперся руками в бока.

Хозяин, дрожа от злости, встал со стула... Встал и гость.

Чувствовалось, что сейчас произойдет что-то ужасное.

— Вон! — крикнул хозяин, размахнулся и — получил сильнейший удар по своему сжатому кулаку.

— А-а, — слабо улыбаясь, сказал бледный хозяин. — Драться? Да? Пришел в гости и дерется?

Рука его горела от удара, а обида на сердце скопилась в целое бушующее море...

— Его коньяком угощаешь, разговар... как с порядочным человеком, а он — драться!..

Было жалко себя, своей загубленной молодости, сердце щемила обида и унижение.

— Хорррошо! — неожиданно сказал хозяин. — Черт с тобой... Ты не уйдешь — уйду я. Ха-ха-ха! Видали, люди добрые? Хозяина выгоняют из его же собственного дома... Прекрасно! Я уйду, милый... Уйду... Пусть! Человечество меня гонит, у меня нет крова — пойду и усну, как собака бездомная под забором. Замерзну... (он заплакал). И кто будет виноват? Ты! Что ж... Мало ли нас, бездомных странников... умирает... под забором. Эх! Доехали... Доехали Илью Чепцова!

Он поднял с полу свою шубу, надел ее, нахлобучил на уши шапку и, не глядя на грубого человека, оскорбившего его, ушел с великой тоской в растоптанной душе...

СЕРДЦЕ ПОД СКАЛЬПЕЛЕМ

Глава I. Замечательный попутчик

Стройная красивая дама вошла на остановке в наше купе, положила на диван небольшой ручной сак и сейчас же вышла, — вероятно, с целью проститься с провожавшими ее друзьями.

Мой сосед кивнул в мою сторону с плутовской улыбкой и сказал:

— Занятная штучка. Я думаю, на номер четвертый ее можно было бы поймать.

Я не знал этого человека — мы с ним только что познакомились. Наружность его была самая ординарная и незначительная. Никто не мог бы предположить в нем удивительной, оригинальной натуры: среднего роста, худощавый, с черными, опущенными книзу усиками и лицом, темным, будто от загара; глаза быстрые, искательные.

Я, признаться, не понял сразу — что это за номер четвертый, на который, по словам моего соседа, «можно поймать» даму.

Такой термин мог быть у коммивояжера — торговца дамскими вещами, у сыщика охранного отделения или, еще проще, у вора, милого добродушного экземпляра, почему-либо принявшего меня за одного из своих.

— Вы говорите, четвертый номер? — неопределенно спросил я.

— Да. А вы не согласны? Не думаете же вы, что с ней можно обойтись первым или вторым номером — это слишком для нее примитивно!

Надеясь что-нибудь выведать у него, я спросил, заинтересованный:

— Второй номер — работа без инструментов?

— О, Господи! Все номера — работа без инструментов. Какие там, к черту, инструменты!

— Так вы больше склоняетесь к четвертому номеру?

— К четвертому. Э, чертова работа! Да вы, вероятно, не знаете четвертого номера?

Я не знал ни одного номера — от первого до последнего, и мог признаться в этом с чистой совестью.

Но, не желая показать себя неопытным простаком, заявил:

— Четвертого, действительно, я как будто не знаю.

Незнакомец заговорил монотонным деловым тоном:

— Исключительная заботливость и предупредительность. Подчеркивается, что вы знаете обычаи света, и если берете ее за руку после десяти фраз и целуете, то это якобы простая фамильярность, в дороге допустимая. Номер четвертый основан на том, что все ваши подходы и любезности как будто кем-то где-то уже установлены и против них нельзя возражать, боясь прослыть смешной и синим чулком. Тем более что предыдущая заботливость и предупредительность обязывает к снисходительности. К номеру четвертому существует небесполезное примечание: «Полезно при первой встрече принять вид человека, остолбеневшего от удивления и восторга перед красотой обрабатываемого объекта. Можно быть даже неловким от смущения в первый момент — это всегда прощается».

— Это что же... — спросил я, ошеломленный. — Нечто вроде «Кодекса волокитства»?

— Ну конечно. Я же Волокита и есть.

Он это сказал таким тоном, каким говорят: «Я инженер путей сообщения» или: «Я служащий кредитного общества».

— Кто же выработал этот... гм... любопытный кодекс?

— Кто выработал! Жизнь выработала! Я его только анализировал, систематизировал научным путем и стал применять в обработанном, очищенном от ненужного виде. Согласны вы, что номер первый, как примитив, восхитителен?

Как всякий ученый, он думал, что весь мир знаком с его трудами и знает их наизусть.

— Первый номер? Не можете ли вы, во избежание путаницы, освежить эти номера в моей памяти по порядку.

Он пожал плечами и с готовностью начал тем же деловым, немного однообразным тоном:

— *Номер первый.* Это не тонкая столярная работа, а если можно так выразиться — грубая, плотничья. Говорится просто: «Сударыня! Жизнь так прекрасна, надо торопиться. Второй раз молодости уже не будет. Надо ловить момент! Мы оба молоды и прекрасны — пойдемте ко мне на квартиру». Если она скажет, что это «грех», можно возразить самым небрежным тоном: «Какой там, к черту, грех, все пустяки и трын-трава, а рая никакого и нет!» После чего других возражений уже не предвидится. Но повторяю: номер первый — это базарный грубый номер для первых встречных дурочек.

Номер второй. Ошеломляющая грубость. Вы говорите: «Послушайте, ну что там ломаться, ведь я знаю, что я вам нравлюсь. Вы сейчас же должны меня поцеловать, слышите?» Тут даже уместен переход на «ты». «Мы, миленькая, я вижу, одного поля ягоды, а если ты будешь кочевряжиться, то мне недолго тебя и придушить. Иди же сюда, пока я не оттрепал тебя хорошенько!» Это так называемая работа «под апаша», и ее может недурно провести самый благомыслящий почтенный человек, который в другое время мухи не обидит. Увы! Женщина чаще, чем думают, любит свирепые страсти.

Номер третий. Равнодушие, смешанное с пренебрежением. Вы стараетесь говорить женщине все время колкости и вообще подчеркиваете, что она самая ординарная натура, которых вы видывали сотнями. Ничто так не разжигает женщину, как это. Она в слепой злобе сейчас же захочет

показать, что она не такая, захочет покорить под нози своя такого строптивого мужчину, такая победа кажется ей сладкой — и вот уже она бьется, бедненькая, в расставленных вами сетях.

Номер четвертый вы уже знаете, а номер пятый, действие на ревность — так уже избит, что его не нужно и комментировать. Приемы старые, как мир. Вы или делаете вид, что разговариваете с кем-нибудь по телефону, или, якобы случайно, роняете на пол какое-нибудь письмо от женщины, схватываете и рвете на мелкие кусочки. Нужно только остерегаться проделывать этот прием со счетами от портных и обойщиков, потому что на одном из подобранных впоследствии клочков может оказаться кусок гербовой марки...

С шестого номера начинается уже более тонкая, деликатная работа. Прием с «чем-то роковым, что предопределено», требует известной интеллигентности и чутья. Подходить нужно издалека. Вы спрашиваете: «Послушайте, вам не кажется странным, что нас судьба свела вместе?» — «Почему же странно? Мало ли кто с кем знакомится?» — «О, нет, вы знаете, что такое Ананке?» — «Не знаю». Вы молчите долго, долго, а потом начинаете говорить каким-то глухим, надтреснутым голосом, будто издалека: «Все на свете предопределено роком, и ни один человек не избежит его. Если человеку что и дано в этом случае — так только *знать иногда заранее* об этом роковом предопределении... дано чувствовать неизбывную силу руки Ананке»... Тут вы наклоняетесь к самому ее лицу и шепчете с горящими таинственным светом глазами: «И вот, я чувствую всеми своими фибрами, что эта встреча для нас не окончится простым знакомством, что мы предназначены друг другу. Может быть, вы будете бороться, будете стараться убежать — но ха!-ха!-ха! — это бесполезно. От Ананке еще никто не убегал. Понимаете — это уже решено там где-то! Сопротивляться? О, неужели вы не слышите таинственно гудящего сверху рокового колокола: Поздно! Поздно! Поздно! К чему же тогда борьба? Ха-ха-ха! С Ананке не борются!!» Ну, конечно, бедняжка, видя, что раз уж так где-то решено и что борьба бесполезна, сама заражается духом мистического начала и подходит к вожделенному концу. Ловко?

— Скажите! — спросил я потрясенный. — Откуда же вы все это так хорошо знаете?

Мой спутник скромно вздохнул и покачал головой.

— Откуда? О, Господи! Посмотрите на какого-нибудь ученого, отыскивающего чудодейственное средство для пользы человечества... Он делает сотни лабораторных и практических опытов, натыкается на неудачи, разочарования, и опять ищет и ищет. Сегодня у этого фанатика ничего не вышло, завтра не вышло, послезавтра у него взорвало колбу и опалило руки, — там, гляди, невежественная толпа, заподозрив в нем колдуна, избила ученого, там от него отказалась семья и сбежала жена — и все-таки в конце концов этот фанатик, этот апостол науки добивается света во тьме своих изысканий и выносит ослепленной восторгом толпе чудодейственное перо Жар-Птицы! Забыты разочарования, забыта взорвавшаяся и опалившая руки колба.

— А скажите, — деликатно спросил я. — До того, как вы обрели настоящее перо Жар-Птицы, у вас часто... гм... взрывались колбы?

Под гнетом воспоминаний он опустил голову.

— Бывало! Ой, бывало. Самая ужасная колба разорвалась в моих руках в Ростове: муж нанес мне ножом две раны в шею, облил кипятком и сбросил в пролет лестницы. Сколько ошибок, сколько разочарований! В Москве какой-то дрянью обливали, к счастью, неудачно, в Армавире полтора часа под балконом на зацепившемся пиджаке провисел, пока проходивший водонос не снял... Моя жизнь — это сплошной дневник происшествий: чем-то обливали, чем-то колотили, откуда-то сбрасывали и из чего-то стреляли. Впрочем, я не ожесточился. Дубленая кожа всегда мягче. И, кроме того, я всегда вхожу в положение обманутого мужа, конечно, ему обидно. Ведь он, чудак, не знает, что за женой все равно не усмотреть. Так-то, молодой человек...

Меня удивлял и восхищал этот скромный господин, с таким незначительным лицом и вялыми движениями. И, однако, несмотря на скромность, в его словах, когда он говорил о своей жизни, горела неподдельная энергия и неукротимый дух подлинного апостола.

— Ко всякому незнакомому городу я подъезжаю со странным чувством: «Что-то здесь мне предстоит? Что будет?» И если рассчитываю прожить побольше, то первым долгом разбиваю мысленно город на участки и начинаю работу

планомерно, от участка к участку, не спеша, не суетясь, но и без лишней потери драгоценного времени.

Помолчав, я осведомился:

— У вас только шесть номеров и есть?

— Главных? Нет, семь. Седьмого я вам еще не досказал... Это самый гениальный, самый поразительный номер! Бывало, там, где уже нужно бы прийти в отчаяние, где руки совершенно опускались, я хватался за этот драгоценный номер, за эту жемчужину моей коллекции — и через полчаса неприступная недотрога уже склоняла голову на мое плечо. Неудивительно, что прием номера седьмого действует почти на всех. Схема номера седьмого чрезвычайно проста и портативна, как все гениальное...

— Надеюсь, вы мне сообщите ее, — перебил я, дернув головой от неожиданной остановки поезда.

— Конечно! С удовольствием. «Седьмой номер»!.. Вы... Э, черт! Поезд, кажется, остановился? Какая это станция?

— Разбишаки, поезд стоит 3 минуты.

— О, дьявол! Да ведь мне здесь сходить нужно. Чуть не прозевал. Прощайте! До приятного свидания, спасибо за компанию.

Он схватил свой чемодан и, наскоро пожав мне руку, выскочил. Звонок зазвенел. Поезд засвистал и двинулся.

Я принялся ругать сам себя за то, что, отвлекши внимание Волокиты разными расспросами, так и не узнал номера седьмого, но в этот момент в вагон вошла та самая дама, с которой, по предложению Волокиты, «надо было работать номером четвертым».

Я вскочил с места и, основываясь на примечании к номеру четвертому, застыл перед ней с бессмысленно изумленным видом, опершись, как будто в полуобморочном состоянии, на спинку дивана.

Глава II. На практике

Я полагаю, что в выражении моего лица было больше бессмысленности, чем изумления; не думаю, чтобы даже самая красивая женщина в мире произвела именно такое впечатление. Своим видом я скорее напоминал деревенского мальчишку, увидавшего впервые в зоологическом саду жирафа.

Отделавшись кое-как от «примечания к номеру четвертому», я занялся разработкой этого номера: сбросил с полки ручной сак незнакомки и, подхватив его на лету, протянул ей.

— Что это такое? — удивилась она. — Зачем это?

Я смущенно отскочил от нее, ударился плечом о косяк двери (насколько помнится, маленькая неловкость и мешковатость даже поощрялась четвертым номером) и, краснея, пролепетал:

— Может, вам отсюда что-нибудь нужно вынуть... книжку или какую-нибудь там пудру, помаду. Дело, знаете, дорожное.

И с самым общительным видом я снисходительно махнул рукой.

— Ничего мне не нужно. Положите сак обратно.

— Слушаю-с. Может, окошечко открыть?

— Оно открыто.

— Тогда не закрыть ли?

— Не надо.

— Может, лимонаду хотите?

— Спасибо, не хочу.

— Я бы достал. Скушать, может, что-нибудь желаете — рябчик, ветчина, отбивные котлеты — на первой же станции сбегаю.

— Не надо.

— А то бы сходил.

— Говорят вам — не хочу!

Я счел, что лед в отношениях до некоторой степени пробит. Теперь только оставалось, по теории Волокиты, подчеркнуть свое знакомство с обычаями света, а затем — поцелуй руки и остальное.

— Знаете, — заметил я. — Есть люди, которые закуривают папиросу, не спросив даже разрешения у дамы. Вот уж никогда бы себе этого не позволил!

— Вы это ставите себе в заслугу? — спросила она с любопытством.

— Нет, чего там! А я одного такого субъекта знал; полнейшее отсутствие умения вращаться в обществе; недавно заезжаю к нему и, не застав дома, оставляю карточку с загнутым углом. На другой день встречаю его, а он и говорит: «Ты это что же мне поломанные, мятые карточки оставляешь? Не было целой?» Я чуть не помер со смеху.

Подготовив таким образом почву, я с некоторой фамильярностью, обыкновенно в дороге допускаемой, взял руку своей соседки и поднес ее к губам.

— Это еще что такое? — вскричала она, вырывая руку.

— Красивая ручка, — заметил я, принимая тупо-самодовольное выражение, хотя втайне был совершенно обескуражен. «Сейчас видно, — подумал я, — что она не знает номера четвертого».

— Красивая? — нахмурилась незнакомка. — А вы знаете, как называется тот человек, который, не познакомившись даже как следует, лезет целовать руки?

— Душой общества? — высказал я догадку.

— Нахалом он называется — вот как.

«Пожалуй, Волокита ошибся, — подумал я. — Четвертым номером с ней ничего не сделаешь. Очевидно, это тонкий, культурный интеллект, который поддастся разве только на номер шестой».

— Послушайте, — спросил я, глядя вдаль загадочным взором. — Вам не кажется странным, что судьба свела нас вместе?

Она пожала плечами.

— О, Господи! Мало ли с кем приходится ехать в пути.

— Нет, нет! — возразил я глухим голосом. — Вы знаете, что такое Ананке?

— Станция?

— Нет-с, не станция. Это — судьба, рок. По-гречески. Ни один человек не избежит Ананке. И вот, знаете ли вы (наклонившись к ней, я пронзительно заглянул ей в лицо), знаете ли вы, что у меня есть способность прозревать будущее: Ананке свела нас, и эта встреча будет для вас очень важной... Да-с. Решающей на всю жизнь. Сопротивляться? Бежать? Ха-ха-ха! Не поможет! Не-ет-с, голубушка, не отвертитесь...

— Послушайте!..

— Нет, вы послушайте. Слышите, как наверху гудит таинственный колокол: «Поздно! Поздно!»

— Что вы такое там болтаете, навязчивый человек? — вскричала она с заметным нетерпением. — Предупреждаю, что, если вы позволите что-нибудь лишнее, я вас так отделаю, что долго не забудете.

«Какой трудный случай», — подумал я. И досада охватила мое сердце. «Если ты способна на драку, то и первый

номер для тебя хорош», — решил я, мужественно бросаясь в атаку.

— Сударыня! — сказал я. — Жизнь прекрасна, пока мы молоды. Нужно торопиться ловить моменты счастья и вообще... гм!.. Мы оба молоды, прекрасны — почему бы нам и не быть счастливыми? Вы скажете — «это грех!». Какой там грех, ведь рая-то нет, а жизнь-то, она не ждет!

— Вы просто глупый, развязный нахал и больше ничего, — неожиданно сказала дама и злобно отвернулась к окну.

Тут и меня разобрала злость. «Видно, матушка, — подумал я, — тебе захотелось попробовать номера второго?!»

Я сбросил с себя маску галантного человека, засунул руки в карманы, откинулся на спинку дивана, положил ногу на ногу и, прищурившись, процедил:

— Ну, довольно, миленькая моя! Терпеть не могу, когда ломаются. Покуражилась, и довольно! Ведь вы на нашего брата, мужчину, летите — ха-ха! — как мухи на мед. Кажется, я тебя раскусил — мы с тобой одного поля ягоды! Поцелуйка меня, пока я тебя не поколотил как следует! А если что, так ведь я придушить тебя могу. Го-го! Не впервой.

— Не думаю, чтобы вы были сумасшедший или пьяный, — сказала она, с поразительным хладнокровием осматривая мою цинично изогнувшуюся на диване фигуру. — Просто вы мелкий наглец, пользующийся тем, что женщина одна и никто из присутствующих не может за нее заступиться. Но все-таки даю слово — я вас ни капельки не боюсь... Вы мне просто жалки.

Я постепенно согнал со своего лица залихватское апашское выражение, расправил морщины цинично прищуренного глаза и, покраснев, как вишня, потупил голову.

В это время мне подвернулся под руку «третий номер» своеобразного кодекса, преподанного Волокитой.

— Извините, — сказал я. — Я просто хотел вас испытать. Вы, однако, оказались самой ординарной натурой, которые мне приходилось встречать сотнями.

— А что же вы думали: я сейчас же и повисну у вас на шее?

Я пренебрежительно пожал одним плечом.

— На шее? О, некоторые женщины думают, что это для мужчины верх удовольствия. Боже мой! Как трудно встретить оригинальную, своеобразную натуру...

— Если вы ее ищете таким способом, то...

— Да? Вы так уверены, что я именно искал такую оригинальную натуру в вас? Правда, личико у вас довольно миловидное, свежий цвет лица, но ведь у тысяч женщин можно найти это. Неужели вы серьезно думаете...

— Оставьте меня в покое. Ничего я не думаю! Если вы не перестанете болтать, я перейду в другое купе.

Мы замолчали.

«Пожалуй, — подумал я, — мне не следовало обрушивать на нее сразу все номера. Я, как неопытный слесарь, которому поручили открыть замок, сразу растерялся и стал хвататься за все инструменты, ни один не попробовав толком. Я ее запугал этим водопадом противоположностей... Может быть, если бы я обратил большее внимание на номер четвертый, все было бы благополучно... Ба! Впрочем, у меня есть еще в запасе номер пятый. Говорят, некоторые женщины ревнивы до сумасшествия».

— Сейчас, — вслух сказал я, — на станции мне удалось видеть прехорошенькую барышню. Она на меня посмотрела довольно жгуче, а когда я, проходя, нечаянно толкнул ее плечом, она засмеялась.

Моя спутница промолчала.

«Молчишь! Подожди же!»

Я сделал вид, что вынимаю из жилетного кармана часы, и вместе с часами вынул сложенное вчетверо письмо, которое сейчас же упало на пол.

— Ах, — сконфуженно сказал я. — Письмо! Ради Бога, не дотрагивайтесь до него. Его нельзя читать... Гм! Уверяю вас, что я этой женщины не знаю. Мало ли кто и что захочет мне писать. Если бы это писал я, а за других я не отвечаю. Нет, ни за что я не дам вам его прочесть!

Я схватил письмо и изорвал, хотя дама не выражала никакого поползновения «ревниво схватить и прочесть оброненное письмо».

Наоборот, она медленно встала и потянулась за своим саком, приговаривая:

— О, Господи, какой кретин! Какое невероятное дерево!

— Позвольте, я вам помогу!

— Не надо!

— Еще раз спрашиваю вас: знаете, что такое Ананке? Уходите? Сударыня, жизнь коротка, и нужно ловить... Нет, ты меня поцелуешь, или удар ножом образумит тебя, негод...

В отчаянии я пустил в ход все номера сразу; но она взяла свой сак и, оттолкнув меня, выскочила из купе.

«Счастье твое, моя милая, — подумал я, — что я не успел узнать номера седьмого. Повертелась бы ты тогда... Проклятый Волокита! Сообщил мне разную мелкую чепуху, а главного-то и не сказал!..»

Глава III. Номер седьмой

Если судьба столкнула двух людей один раз, то она обязательно столкнет их и второй. То, что называется Ананке.

Вторая моя встреча с Волокитой была еще молниеноснее первой...

Именно, мой поезд должен был через пять минут отойти на север, а Волокитин через полминуты — на юг. Оба поезда стояли рядышком, и, когда я выглянул в окно, первое, что мне бросилось в глаза, — это Волокита, высунувшийся из окна вагона своего поезда.

— А, здравствуйте, — сказал он.

— Слушайте! — отчаянно крикнул я. — Ради всего святого! Вы мне тогда обещали сообщить самый главный номер, седьмой, да так и сбежали, не сказав.

— Сделайте одолжение! Дело в том...

Но в это время Волокитин поезд свистнул, вздрогнул и двинулся.

— Ради Бога! Умоляю! — взревел я, высовываясь чуть не по пояс из окна. — В двух словах!

Однако он не успел сказать мне и одного слова. Наоборот, откинулся в глубь вагона, и только рука его, высунувшись из окна, завертелась во все стороны.

Я всмотрелся: между большим и указательным пальцем Волокитиной руки была зажата какая-то вещица, очень похожая на золотую монету.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ

I

Однажды в саду на даче я возился и бегал с крошечной девочкой лет четырех.

Ее маленькие ножки не знали устали — она носилась по дорожкам, как вихрь, а я, большой, сильный, здоровый

человек, запыхался и, опустившись на зеленую скамейку, решил не двигаться с места, какие бы соблазны мне ни сулили.

— Слушай! — сказала девочка, раскачивая мою бессильно свисшую руку. — Пойдем...

— Куда?

— Туда... К старой калитке. Где много деревов.

— Зачем?

— Там веревка висит.

— Так что ж из этого?

— Ты поднимешь меня до веревки, а я буду ее дергать.

Она не любила сложных игр. Примитивная «игра с веревкой», сочиненная ею полчаса тому назад, приводила ее в восторг.

— Подумаешь, как весело! — скептически проворчал я.

— Да пойдем!

— Не хочу.

— Да пойде-е-ем!

— Ни за что.

— Да почему?

— Боюсь.

— Чего?

Я подумал немного и лениво сказал:

— Разбойников.

— Ничего. Пойдем.

— Ишь ты, какая ловкая — «пойдем». А что, если разбойники выскочат из кустов да начнут нас убивать?

— Не бойся. Может, не убьют.

Я опустился со скамейки на песок, спрятал голову в руки и захныкал:

— Бою-юсь! Они меня убьют...

Глубокая нежность засветилась в ее взгляде. Она долго гладила меня крошечной, неуверенной ручонкой по голове, потом потрепала по плечу и покровительственно сказала:

— Ничего, пойдем! Я тебя спасу.

В это время она, вероятно, очень меня любила своим детским сердечком — большого, трусливого, беспомощного... Она думала, что ее рука — единственная для меня опора в этом жестоком свете. И был, вероятно, в ее чувстве ко мне легкий оттенок презрения — презрения культурного, уверенного в безопасности человека к пугливому суеверному дикарю.

Ниже я скажу, по какому случаю вспомнился мне этот пустяковый разговор с четырехлетней девочкой...

Сидя в обществе четырех человек, я среди разговора сообщил:

— Я еду в Крым.

Елена Николаевна сказала:

— Неужели? Я тоже еду в Крым. Вы когда?

— В конце этой недели.

— Боже мой! Но ведь я то же самое! Вы через Одессу или прямо?

— Мне все равно. Могу через Одессу.

— Прекрасно. Поедем вместе. Будет веселее. А то путешествовать женщине одной — это такой ужас...

Я поклонился:

— С удовольствием. Считайте меня своим спутником!

Мой друг Переплетов заерзал на месте, с участием взглянул на меня и, встав с места, сделал мне незаметный знак, чтобы я последовал за ним.

— Что такое? — спросил я, когда мы вышли.

— Милый мой! Да ты с ума сошел... Зачем ты навязал себе на шею эту бабу?

— А ведь прехорошенькая, не правда ли?

— Тем хуже! Путешествие с хорошенькой женщиной?!

Голос его зазвучал пророчески:

— Отныне ты не будешь знать ни дня, ни часа! Ты будешь ее лакеем, горничной, носильщиком, кормильцем и поильцем. Ты будешь отвечать за все забытые ею вещи, за опоздание на поезд, за отсутствие свободных мест, за то, что дует из окна, или за то, что жарко. Рано утром ты должен разыскивать для нее мыло и зубной порошок, который она забыла, и бегать на станцию за чаем. Ночью ты должен будешь сторожить, чтобы никто не вошел в купе, а также поправлять ей плед, которым она покрыта и который сползает у нее ежеминутно. В 4 часа утра у нее разболятся зубы и ты побежишь за лекарством... О вещах ты должен заботиться — о ее и о своих, номер в гостинице должен искать для нее и для себя, составлять меню обедов для нее и для себя... Нет, ты форменный глупец.

Я вздохнул, улыбнулся, и на моем лице разлилось выражение кротости (я видел это в зеркале...).

— Ничего... Что ж делать!.. Ей-Богу, это не так страшно.

— Да? Ну, посмотрим...

Голос его звучал сухо, зловеще.

Сговорились ехать в субботу, в 11 часов вечера.

II

До отхода поезда осталось двадцать минут. Я приехал с чемоданом, сунул его под диван в буфете первого класса, а сам отправился бродить по огромному залу третьего класса.

— Боже мой! Вот он где, — раздался сзади меня знакомый голос. — А я-то вас ищу-ищу — весь вокзал обегала.

— А-а, здравствуйте. Как поживаете?

— Почему вы здесь? Что вы тут делаете?

— А не знаю... Вижу какое-то помещение — дай, думаю, зайду сюда.

— Билеты-то вы взяли?

— Какие билеты? — удивился я.

— Да позвольте... Что ж мы поедем по метрическому свидетельству, что ли?

— Положим, верно, — согласился я после небольшого раздумья, — билеты-то взять бы не мешало...

— Так возьмите!!..

— Да где же их взять? Я не знаю, где касса.

— Вот еще дитя беспомощное! Скажите носильщику — он и купит!

— А если он убежит с деньгами?

— А номер его для чего же?

— Но-омер? А кто мне поручится, что я через минуту не забуду номера. Признаться, память у меня возмутительная.

— Если плохая память — запишите!!

— Вот-то жалость! У меня нет карандаша.

— О, Боже! Честное слово, мы рискуем опоздать.

— Да, знаете ли... Ничего нет легче этого. Да вот, кажется, и первый звонок...

Она всплеснула руками и метнулась в сторону.

— Стойте здесь! Носильщика уже поздно... сама возьму!

— Ладно. А я пока буду следить за звонками.

Принятые мною на себя обязанности не утомили меня. Я лениво глазел на бешено несущуюся публику и нетерпеливо ждал свою спутницу.

— Опять зазевались! Ну, бежим скорее... Сейчас будет второй звонок.

Она побежала вперед, я за ней.

— А где ваши вещи?

— Я засунул их под диван в буфетной. Я думаю, после можно их будет достать.

— Когда после? Сию секунду бегите... Да не туда, не в ту сторону! Буфет — здесь!

— А как же я... вас потом найду?

— Да что вы... трехлетнее дитя, что ли? Однако компаньона я себе нашла... Ну, бегите скорей в буфет — я вас тут подожду...

— Только вы ж не уходите отсюда... а то я...

— Ради Бога, скорее!

Я схватил чемодан и мы понеслись на перрон.

— Где наш поезд? — спросила она, переводя дух.

— Я думаю, этот. Ай-я-яй; какой маленький...

— Это отцепленный вагон, глупый вы человек. А нам нужен поезд! Вот и мой носильщик, кстати. Где поезд в Одессу?

— Пожалуйте!

Впереди шла Елена Николаевна, отыскивая наш вагон, за ней обремененный коробками и саквояжами носильщик, а сзади — я, беззаботно помахивая своим чемоданчиком.

Сели вовремя — через минуту поезд двинулся.

Елена Николаевна обмахнула платком разгоряченное лицо и, улыбнувшись, спросила:

— Как вы думаете, если бы не я — уехали бы мы сегодня?

— Ни за что, — уверенно сказал я. — Я удивляюсь, как вы так хорошо разбираетесь в этих железнодорожных штучках.

— В каких штучках?

— Вот в этих билетах, носильщиках, поездах... тут сам черт ногу сломит.

III

Полчаса прошло в дружеском разговоре. Я сказал:

— А мне хочется есть.

— О чем же вы раньше думали, на вокзале?

— Забыл.

— Эх, вы! Впрочем, вероятно, скоро будет буфетная станция... Посмотрите путеводитель.

— Да у меня его нет...

— У меня есть. Берите.

Я взял в руки путеводитель и повертел его в руках.

— Ого, какой толстый... Воображаю, сколько тут буфетных станций!

Развернул, стал перелистывать, вздохнул.

— В три часа утра будет станция. Не дождаться...

— Какая станция?

— Териоки...

— Что-о? Вы какую дорогу смотрите?

— Вот... желтые такие листочки...

— Ах ты Господи! Вам няньку нужно... В путеводителе не можете разобраться!

— Хотел бы я видеть человека, который в нем разбирается! — недоверчиво сказал я.

— Подумаешь, трудность. Дайте-ка мне... Вот! Через сорок минут вы можете закусить... Поезд стоит восемь минут.

— Не успею... Я всегда запутываюсь в этих минутах.

— Ну, ладно... Выйдем вместе.

Я подпер рукой подбородок и принял сиротливую позу. Елена Николаевна участливо взглянула на меня.

— Как же вы вообще живете, большое дитя, если ничего не понимаете, всюду опаздываете и теряетесь в самых пустых случаях?

— Да и плохо живу, — прошептал я со скрытым страданием в голосе. — Папа у меня умер, мама далеко... А тут всюду какие-то номера, звонки, все кричат, бегут... Хорошо, что я с вами поехал...

— Ну, ничего, — успокоительно сказала она. — Ничего, мой большой ребеночек. Как-нибудь доедем. Вы где предпочитаете спать: на верхней койке или на нижней? Надеюсь, уступите мне нижнюю?

— Уступлю, конечно. Только я уж извиняюсь, что ночью разбужу вас...

— Чем?

— Упаду. Я ночью всегда ворочаюсь с боку на бок и, разметавшись, обязательно падаю.

— Гм... Ну, ладно... Спите внизу. Как-нибудь устроимся... Ах вы, беспомощное существо!

Она шутливо погладила меня по голове, и в голосе ее прозвучала материнская нежность и снисходительность к слабому.

IV

Никогда мне не приходилось путешествовать с таким комфортом и спокойствием, как в этот раз.

Я чувствовал себя маленьким любимым ребенком, о котором всегда позаботятся, которого не дадут в обиду, накормят, убаюкают и приласкают. Мой большой рост, густой голос и широкие плечи не служили препятствием этому.

Моя спутница укладывала меня спать, поправляла сползавший плед, гасила свет, когда я засыпал, и будила утром, когда была остановка на большой станции, чтобы я мог напиться кофе, который она разыскивала с помощью проводника вагона.

Ее тешило, когда я, просыпаясь, тер кулаками глаза, потягивался, как ребенок, и щурился от сильного света.

— А-а, — покровительственно говорила она. — Бэбэ проснулось? А для бэбэ уже готов кофе.

Я был рад, что разбудил в ней материнские инстинкты. Мой чемодан потихоньку приютился около ее вещей, и его всегда на пересадках переносили вместе с картонками и саквояжами, а я шел сзади и насвистывал, поглядывая по сторонам.

Озабоченная Елена Николаевна шагала впереди, изредка оглядывалась и с беспокойством говорила:

— Вы тут? Смотрите не потеряйтесь. Я пойду купить вам апельсинов, а вы постойте тут и никуда не отходите, как вчера, когда я чуть не опоздала из-за вас на поезд.

— Куда я там отойду, — капризно возражал я.

— Знаю, знаю. За вами, как за малюткой нужно.

В Одессе она сама отыскала гостиницу, заказала для меня ванну и составила меню превкусного ужина.

А на пароходе, когда мы ехали в Севастополь, она, укладывая меня спать и поправляя одеяло, потрепала меня по щеке и незаметно перекрестила...

Когда мы возвращались в Петербург, я телеграфировал Переплетову, чтобы он нас встретил.

Было так: едва поезд остановился, я выскочил из вагона и бросился в объятия Переплетова.

— Пальто! — закричала встревоженная Елена Николаевна, выглядывая из окна. — Я вовсе не хочу, чтобы вы простудились... Наденьте пальто! Кстати, какой номер вашего домашнего телефона? Я буду с вокзала звонить к себе, кстати позвоню и к вам, чтобы приготовили вам закусить — вы с утра почти ничего не ели.

Изумленный взгляд Переплетова очень потешил меня.

Елена Николаевна вышла вслед за носильщиком, груженная двумя картонками. Спросила, поправляя мне галстук:

— Ничего не забыли? Вторая шляпа в чемодане?

— Да...

— Книги взяли? Палку захватили?

— Да, да...

— Ну, значит, все. Пока прощайте.

— А... вещи? — спросил сбитый с толку Переплетов. — Где твои вещи? Чемодан?

— Он у меня, — улыбнулась Елена Николаевна. — Да где ему там самому с вещами возиться — сущий ребенок... он их еще потеряет. Я пришлю их к нему на квартиру с прислугой...

Переплетов сказал:

— Я сошел с ума.

РУСАЛКА

— Вы кашляете? — учтиво спросил поэта Пеликанова художник Кранц.

— Да, — вздохнул бледный поэт. — И кроме того, у меня насморк.

— Где же это вы его схватили?

— На реке. Вчера всю ночь на берегу просидел. И нога, кроме того, ломит.

— Так, так, — кивнул головой третий из компании — угрюмый Дерягин. — Рыбу ловили, с ума сошли или просто так?

— Просто так. Думал.

— Просто так? Думал? О чем же вы думали?

Пеликанов встал и закинул длинные светлые волосы за уши.

— О чем я думал? Я думал о них... о прекрасных, загадочных, которые всплывают в ночной тиши на поверхность посеребренной луной реки и плещутся там между купами задумчивой осоки, напевая свои странные, чарующие, хватающие за душу песенки и расчесывая гребнями длинные волосы, в которых запутались водоросли... Бледные, прекрасные, круглые руки поднимаются из воды и в безмолвной мольбе протягиваются к луне... Большие печальные глаза сияют между ветвей, как звезды... Жутко и сладостно увидеть их в эту пору.

— Это кто ж такие будут? — спросил Дерягин. — Русалки, что ли?

— Да... Русалки.

— И вы их надеетесь увидеть?

— О, если бы я надеялся! Я только мечтаю об этом...

— Рассчитываете дождаться?

— Полжизни я готов просидеть, чтобы...

Дерягин в бешенстве вскочил с кресла.

— Будьте вы прокляты, идиоты, с вашими дурацкими бреднями. Встречаюсь я с вами уже несколько лет, разговаривал с вами, как с порядочным, нормальным человеком, и вдруг — нате, здравствуйте! Этот человек бродит по ночам по берегу реки! Зачем, спрашивается? Русалок ищет, изволите ли видеть! Бесстыдник.

— Вы не понимаете прекрасного! — сказал, свеся голову на грудь и покашливая, Пеликанов.

— Да ведь их нет! Понимаете, это чепуха, мечта! Их не существует.

Поэт улыбнулся:

— Для вас, может быть, нет. А для меня они существуют.

— Кранц! Кранц! Скажи ему, что он бредит, что он с ума сошел! Каких таких он русалок ищет?

Художник Кранц улыбнулся, но промолчал.

— Нет! С вами тут с ума сойдешь. Пойду я домой. Возьму ванну, поужинаю хорошенько и завалюсь спать. А ты, Кранц?

— Мне спать рано. Я поеду к одной знакомой даме, которая хорошо поет. Заставлю ее петь, а сам лягу на диван

и, слушая, буду тянуть шартрез из маленькой-маленькой рюмочки. Хорошо-о-о!

— Сибарит! А вы, Пеликанов?

Пеликанов грустно усмехнулся:

— Вы, конечно, будете ругаться... Но я... пойду сейчас к реке, побродить... прислушаться к всплескам волн, помечтать где-нибудь меж темными кустами осоки о прекрасных, печальных глазах... о руках, смутно белеющих на черном фоне спящей реки...

— Кранц! — завопил Дерягин, завертевшись, как ужаленный. — Да скажи ты ему, этому жалкому человечишке, что его проклятых русалок не существует!..

Кранц подумал немного и потом пожал плечами.

— Как же я ему скажу это, когда русалки существуют.

— Если ты так говоришь, значит, ты дурак.

— Может быть, — усмехнулся Кранц. — Но я был знаком с одной русалкой.

— Боже! — всплеснул руками Дерягин. — Сейчас начнется скучища — розовая водица и нудьга! Кранц нам сейчас расскажет историю о том, как он встретился с женщиной, у которой были зеленые русалочьи глаза и русалочий смех, и как она завлекла его в жизненную пучину, и как погубила. Кранц! Сколько вам заплатить, чтобы вы не рассказывали этой истории?

— Подите вы, — нахмурился Кранц. — Это была настоящая, подлинная, речная русалка. Встретился я с ней случайно и расстался тоже как-то странно.

Пеликанов жадными руками вцепился в плечи Кранца.

— Вы правду говорите?! Да? Вы действительно видели настоящую русалку?

— Что же тут удивительного? Ведь вы же сами утверждаете, что они должны быть...

— И вы ее ясно видели? Вот так, как меня? Да?

— Не волнуйтесь, юноша... Если это и кажется немного чудесным, то... мало ли что на свете бывает! Я уже человек немолодой и за свою шумную, бурную, богатую приключениями жизнь видел много такого, о чем вам и не снилось.

— Кранц! Вы... видели русалку?!

— Видел. Если это вас так интересует — могу рассказать. Только потребуйте вина побольше.

— Эй! Вина!

— Только побольше.

— Побольше! Кранц! О русалке!

— Слушайте...

— Однажды летом я охотился... Собственно, охота какая? Так, бродил с ружьем. Люблю одиночество. И вот, бродя таким образом, набрел я в один теплый летний вечер на заброшенный рыбачий домик на берегу реки. Не знаю, утонули ли эти рыбаки во время одной из своих экспедиций или просто, повыловив в этой реке всю рыбу, перебрались на другое место, — только этот домик был совершенно пуст. Я пришел в восторг от такого прекрасного безмолвия, запустения и одиночества; съездил в город, привез припасов, походную кровать и поселился в домике.

Днем охотился, ловил рыбу, купался, а вечером валялся в кровати и при свете керосиновой лампочки читал Шиллера, Пушкина и Достоевского.

Об этом времени я вспоминаю с умилением...

Ну, вот.

Как-то в душную, грозовую ночь мне не спалось. Жара, тяжесть какая-то — сил нет дышать. Вышел я на берег — мутная луна светит, ивы склонили печальные головы, осока замерла в духоте. Вода тяжелая, черная, как густые чернила.

«Искупаюсь, — решил я. — Все-таки прохладнее».

Но и вода не давала прохлады: свинцовая, теплая — она расступилась передо мной и опять сомкнулась, даже не волнуясь около моего тела.

Я стал болтать руками, плескаться и петь песни, потому что кругом были жуть и тишина неимоверная. Нервы у меня вообще как канаты, но тут воздушное электричество, что ли, так их взвинтило, что я готов был расплакаться, точно барышня.

И вот, когда я уже хотел выкарабкаться на берег, у меня, около плеча, что-то такое как всплеснет! Я думал — рыба. Протягиваю инстинктивно руку, наталкиваюсь на что-то длинное, скользкое, хватаю... Сердце так и заныло... На ощупь — человеческая рука. Ну, думаю, утопленник. Вдруг это неизвестное тело затрепетало, забилось и стало вырываться... показалась голова... прекрасная женская голова с печальными молящими глазами... Две белые круглые руки беспомощно взметнулись над водой...

И странно, я сразу же успокоился, как только увидел, с кем имею дело. Случай был редкий, исключительный, и я моментально решил не упускать его. Руки мои крепко обвились вокруг ее стройной, гибкой талии, и через минуту она уже билась на песке у моих ног, испуская тихие стоны.

Я успокоил ее несколькими ласковыми словами, погладил ее мокрые волнистые волосы и, бережно подняв на руки, перенес в домик. Она притихла и молча следила за мной своими печальными глазами, в которых светился ужас.

При свете лампы я подробнее рассмотрел мою пленницу. Она была точно такого типа, как рисуют художники: белое мраморное тело, гибкие стройные руки и красивые плечи, по которым разметались волосы удивительного, странного, зеленоватого цвета. Вместо ног у нее был длинный чешуйчатый хвост, раздвоенный на конце, как у рыбы.

Признаться ли? Эта часть тела не произвела на меня приятного впечатления.

Но в общем передо мной лежало преаппетитное создание, и я благословлял провидение, что оно послало такое утешение одинокому бродяге и забулдыге.

Она лежала на моей постели, блестя влажным телом, закинув руки за голову и молча поглядывая на меня глазами, в которых сквозил тупой животный страх.

— Не бойся! — ласково сказал я. — Старина Кранц не сделает тебе зла.

И я прильнул губами к ее полуоткрытым розовым губкам.

Гм... Признаться ли вам: многих женщин мне приходилось целовать на своем веку, но никогда я не чувствовал такого запаха рыбы, как в данном случае. Я люблю запах рыбы — он отдает морем, солью и здоровьем, но я никогда бы не стал целоваться с окунем или карасем.

— Я думаю, — спросил я, нерешительно обнимая ее за талию, — вы питаетесь главным образом рыбой?

— Рыбы... — пролепетала она, щуря свои прекрасные печальные глаза. — Дай мне рыбы.

— Ты проголодалась, бедняжка? Сейчас, моя малютка, я принесу тебе...

Я достал из ящика, служившего мне буфетом, кусок холодной жареной рыбы и подал ей.

— Ай, — закричала она плаксиво. — Это не рыба. Рыбы-ы... Дай рыбы.

— Милая! — ужаснулся. — Неужели ты ешь сырую рыбу?.. Фи, какая гадость...

Тем не менее пришлось с большими усилиями достать ей живой рыбы... Как сейчас помню: это были карась и два маленьких пескаря. Она кивнула головой, схватила привычной рукой карася и, откусив ему голову, выплюнула, как обыкновенная женщина — косточку персика. Тело же карасиное моментально захрустело на ее зубах. Вы морщитесь, господа, но должен сказать правду: пескарей она съела целиком, с головой и внутренностями... Такой уж, видно, у них обычай.

— Воды, — прошептала она своими коралловыми губками. — Воды...

«Беднягу томит жажда», — подумал я.

Принес ей большую глиняную кружку, наполненную водой, и приставил заботливо ко рту.

Но она схватила кружку и, приподнявшись, с видимым удовольствием окатила себя с хвоста до головы водой, после чего рухнула обратно на постель и завизжала от удовольствия.

— Милая, — сухо сказал я. — Нельзя ли без этого? Ты мне испортила всю постель. Как я лягу?

— Воды! — капризно крикнула она.

— Обойдешься и так! Вон вода ручьями течет с постели. Как не стыдно, право.

Действительно, одеяло и подушка были мокрые, хоть выжми, и вода при каждом движении пленницы хлюпала в постели.

— Воды!!

— А чтоб тебя, — прошептал я. — На воду. Мокни! Только уж извини, голубушка... Я рядом с тобой не лягу... Мне вовсе не интересно схватить насморк.

Второй ковш воды успокоил ее. Она улыбнулась, кивнула мне головой и начала шарить в зеленых волосах своими прекрасными круглыми руками.

— Что вы ищете? — спросил я.

Но она уже нашла — гребень. Это был просто обломок рыбьего хребта с костями в виде зубьев гребня, причем на этих зубьях кое-где рыбье мясо еще не было объедено.

— Неужели ты будешь причесываться этой дрянью? — поморщился я.

Она промолчала и стала причесываться, напевая тихую, жалобную песенку.

Я долго сидел у ее хвоста, слушая странную, тягучую мелодию без слов, потом встал и сказал:

— Песенка хорошая, но мне пора спать. Спокойной ночи.

Лежа навзничь, она смотрела своими печальными глазами в потолок, а ее губки продолжали тянуть одну и ту же несложную мелодию.

Я лег в углу на разостланном пальто и пролежал так с полчаса с открытыми глазами. Она все пела.

— Замолчи же, милая, — ласково сказал я. — Довольно. Мне спать хочется. Попела — и будет.

Она тянула, будто не слыша моей просьбы. Это делалось скучным.

— Замолчишь ли ты, черт возьми?! — вскипел я. — Что это за безобразие?! Покоя от тебя нет!!

Услышав мой крик, она обернулась, посмотрела на меня внимательно испуганными глазами и вдруг крикнула своими коралловыми губками:

— Куда тащишь, черт лысый, Михеич? Держи влево! Ох, дьявол! Опять сеть порвал!

Я ахнул:

— Это что такое? Откуда это?!

Ее коралловые губки продолжали без всякого смысла:

— Лаврушка, черт! Это ты водку вылопал? Тебе не рыбачить, а сундуки взламывать, пес окаянный...

Очевидно, это был весь лексикон слов, которые она выучила, подслушав у рыбаков.

Долго она еще выкрикивала разные упреки неизвестному мне Лаврушке, перемежая это приказаниями и нецензурными рыбацкими ругательствами.

Забылся я сном лишь перед рассветом.

Яркое солнце разбудило меня. Я лежал на разостланном пальто, а в кровати спала моя пленница, разметав руки, которые при дневном свете оказались тоже зеленоватыми. Волосы были светло-зеленые, похожие на водоросли, и так как влага на них высохла, пряди их стали ломаться. Кожа, которая была в воде такой гладкой и нежной, теперь стала шероховатой, сморщенной. Грудь тяжело дышала, а хвост колотился о спинку кровати так сильно, что чешуя летела клочьями.

Услышав шум моих шагов, пленница открыла зеленые глаза и прохрипела огрубевшим голосом:

— Воды! Воды, проклятый Лаврушка, чтобы ты подох! Нету на тебя пропасти!

Поморщившись, я пошел на реку за водой, принес ковш и, только войдя в комнату, почувствовал, как тяжел и удушлив воздух в комнате: едкий рыбный запах, казалось, пропитал все...

Хрипло бормоча что-то, она стала окачиваться водой, а я сел на пальто и стал размышлять, хорошо ли, что я связался с этим нелепым существом: она ела рыбу, как щука, орала всю ночь нецензурные слова, как матрос, от нее несло рыбой, как от рыночной селедочницы.

— Знаете что... — нерешительно сказал я, подходя к ней... — Не лучше ли вам на реку обратно... а? Идите себе с Богом. И вам лучше, и мне покойнее.

— Тащи невод, Лаврушка! — крикнула она. — Если веревка лопнет — ухи оборву!

— Ну и словечки, — укоризненно сказал я. — Будто пьяный мужик. Ну... довольно-с!

Преодолевая отвращение от сильного рыбного запаха, я взял ее на руки, потащил к реке и, бросив на песок, столкнул в воду. Она мелькнула в последний раз своими противными зелеными волосами и скрылась. Больше я ее не видел.

* * *

История с русалкой была выслушана в полном молчании.

Кранц поднялся и стал искать шапку. Собрался уходить и Дерягин.

— А вы куда? — спросил он поэта Пеликанова. — На реку?

— Пожалуй, я пойду домой, — нерешительно сказал поэт. — Нынче что-то сыровато...

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ

— Заказное письмо — штука опасная, а с простым я всегда справлюсь.

— Как же ты справишься?

— А это смотря по тому: если мне его посылают или если я?

— Ну, если ты?

— Ага... Видишь ли: я его совсем не посылаю. Ты ведь знаешь — нет ничего труднее, как написать письмо. Ты можешь несколько часов потерять на чтение глупейшей книжонки, можешь ночь проиграть в шахматы; наконец, можешь просто, сидя в кресле и уставившись бессмысленным взором в ковер, размышлять целый час — есть ли рифма к слову «барышня»? Но у тебя никогда не найдется двадцати минут, чтобы ответить на письмо. В манере отвечать на письма есть какая-то особая психология: получив письмо, ты думаешь: «Эге, уж на это-то письмо я отвечу. Обязательно нужно немедля написать!» И вот, если ты не присел сейчас же, сию минуту, сию секунду к письменному столу — ты на это письмо *никогда* не ответишь. Ни-ког-да! Конечно, тебе и в голову не придет — отвечать в ту же минуту... Ты думаешь: «Успеется завтра!» И кладешь письмо в боковой карман, где уже лежат несколько сиротливых «безответных» писем, края которых истерлись и бумага на сгибах разваливается. «Положу, — думаешь ты, — поближе, чтобы завтра вспомнить». Но у «завтра» есть свой рок. У всякого «завтра» есть свое «завтра» — такое уютное, спокойное, отодвигающее на один день проклятую каторжную работу писания ответа на письмо. Проходит три-четыре «завтра», и тебя начинают грызть упреки совести. Они могут тебя грызть, как тигры, но письма ты все-таки не напишешь. Почему? Какое проклятие сидит в этом правиле? Постепенно ты начинаешь ненавидеть письмо, которое причиняет такие муки твоей совести... Перебирая завалявшуюся в кармане пачку, перемешанную со сбившимися в комок шерстинками твоего суконного пиджака, ты думаешь: «Отвечать на это проклятое письмо уже поздно... Выброшу-ка я его, чтобы оно не смущало моей душеньки». Письмо вместе с другими, уже отслужившими свою странную службу — мучить адресата укорами совести, — выбрасывается, и пустой карман пиджака жадно раскрывает свою пасть для новой серии безответных писем.

— Как же ты оправдываешься перед человеком, приславшим письмо?

— Заказное или простое?

— Все равно...

— Э, нет! Тут целая пропасть. Заказное письмо — вещь предательская, пославший его всегда спокоен, если у него

в кармане имеется расписка. Правда, расписки эти иногда теряются, но на это рассчитывать рискованно. А тут еще завели моду посылать важные письма с обратными расписками. От такого письма никак не отопрешься.

— А от простого?

— Сколько угодно. Встречаешься ты спустя три-четыре месяца со своим корреспондентом. Развязно радуешься: «А, здравствуйте! Как поживаете? Что это о вас ни слуху ни духу?» Он смотрит на тебя с негодованием и сурово говорит: «Свинья вы, свинья! Я вам три письма послал и хоть бы на одно был ответ! Простая вежливость должна бы...» Ты моментально делаешь лицо человека, не могущего в себя прийти от изумления и ужаса: «Вы?! Мне?! Три письма?!» — «Да-с. Я. Вам. Три письма». Тут требуется, чтобы в голосе твоем дрожала обида: «Слушайте... Вы, конечно, знаете, как я люблю своего покойного отца. Так вот —клянусь вам его жизнью, что ни одного вашего письма не получал!» — «Но этого не может быть! — говорит пораженный простак. — Я ведь три письма послал!..» Горькая улыбка старого либерала искажает твои черты: «Ах, русский почтамт... Вы же знаете... Разве на него можно положиться. Вообще, наш режим»... Яд сомнения уже влит в его душу. Он думает: «Черт его знает — может быть, в самом деле на почте крадут. Человек отцом клянется, что не получал, да и физиономия у него честная». Лед сломан... Вы дружески садитесь на диван и принимаетесь взапуски ругать русские почтовые порядки.

— Ну, да. Это понятно. Ну а как же ты поступаешь, если тебе не ответ нужно было кому-нибудь написать, а просто этакое какое-нибудь важное извещение или справки, которые ты клятвенно обещал выслать уезжающему человеку через три дня.

— Как я поступаю? Я собираюсь их ему выслать, потому что я честный человек и люблю держать слово... Но в первый день я не высылаю, потому что есть второй и третий день, на второй день у меня есть в запасе третий, третий распадается на утро, день и вечер, а вечер распадается, в свою очередь, на две части: когда еще можно послать письмо, но я не успеваю, и когда уже нельзя послать письмо, — и я его поэтому не посылаю. Вот почему мой адресат не получает письма.

— Понимаю; когда он возвращается из поездки, ты начинаешь прятаться, избегать встречи...

— Наоборот! Я еду прямо к нему и, смело глядя ему в глаза, первым долгом бросаю саркастическое: «Нечего сказать! Хорошо... Очень хорошо!» Конечно, он уже приготовился обрушиться на меня целой тучей упреков и брани, но мой тон сбивает его с толку. «В чем дело, — беспокойно говорит он, — что такое "хорошо"?» — «Да вы-то... Хоть бы открыточку забросили мне с благодарностью за исполненное поручение...» Негодованию его нет пределов. «Вам? Благодарность? За то, что вы проманежили меня зря несколько дней, справок не выслали, данных не сообщили и вообще подвели меня самым жестоким образом?» Тут уж вскипаю и я: «Как? Вы осмелитесь утверждать, что не получили моего письма с подробными справками? Голубенького конверта в четверть листа с письмом, написанным на бумаге, окаймленной сиреневым бордюром? Еще у меня не было десятикопеечной марки и я наклеил несколько копеечных...» Эти подробности ошеломляют его. «Вы говорите, голубенький конверт и копеечные марки?..» — «Ну да. Желтенькие такие. Зубчики по краям». Бьет себя в грудь: «Ну ей-Богу же не получал! Честное слово». Я немного успокаиваюсь: «Вы даете честное слово, что не получали?» — «Даю!» — «В таком случае, ничего не понимаю. Сам написал, отнес, не доверяя прислуге, и опустил в почтовый ящик. Еще желтые такие ящики... Правда?» — «Ну да, желтые», — устало говорит он. «Ну, вот видите! Ох, эта наша российская почта! Вот оно, всеобщее разгильдяйство и неуважение к чужой собственности. Вы подумайте: из-за того, что какой-нибудь там почтальон, зайдя в трактир, забыл под столом сумку с письмами, — я должен волноваться, подозревать вас в том, что вы скрыли из каких-то целей получение письма... Прямо холодный ужас!..» После этого ему уже не до укоров и нападок на меня — впору хоть самому оправдаться и извиниться передо мной.

— Гм... да! Я вижу, это целая наука. И ты со всеми письмами так делаешь?

— Увы!

— Вот оно что! Теперь я понимаю, куда пропало письмо, которое ты, по твоим словам, писал мне в прошлом году.

— Ей-Богу, писал! Уж тебе-то я, брат, написал. Я честный человек и даром честного слова не дам. Других — это верно, надувал, но тебе как раз написал. И если уж оно пропало, то в этом не в шутку, а самым серьезным образом виновата почта. Правда, это было не год тому назад, а четырнадцать месяцев. Еще, помню, бумага не подходила к конверту и пришлось край бумаги срезать. Да вот тебе смешная подробность, которая до сих пор у меня в памяти: срезывая край бумаги, я отрезал и несколько слов письма, так что получилась курьезная фраза: «Прижимаю тебя»... а «к груди» — отрезано. Хи-хи. И еще помню, чтобы подшутить над тобой, я в адресе на конверте написал: «Его превосходительству». Нет уж, это письмо, брат, верное. Обещал написать и написал.

Человек, упрекавший своего друга в том, что он обманул его, как и других, с помощью своей системы, — посмотрел на этого друга, улыбнулся и сказал:

— Ну, успокойся. Ты мне никакого письма не обещал написать год тому назад и о пропаже его мне не говорил. Я это сейчас только придумал...

ЛОЖНОЕ САМОЛЮБИЕ

— Вы г. А?

— Да. Чем могу быть полезен?

— Я представитель фирмы «Дирк и Голлинс». Конечно, слышали?

Конечно, я не слышал. Но терпеть не могу признаваться в подобных вещах. Наоборот, в таких случаях моя система — полная осведомленность.

— А-а... Как же! Как же!! Ну, как поживает старина Дирк? Попрыгивает?

— О, его уже нет и на свете. Двадцать лет тому назад умер.

— Ну, что вы! Воображаю, как круто приходится теперь несчастному Голлинсу... Наверное, от былой жизнерадостности не осталось и следа?

— Никакого следа, совершенно верно. Двадцать четыре года тому назад он скончался, г. Голлинс.

Я был раздосадован.

— Э, черт возьми! Что же тогда осталось от этой знаменитой фирмы?! От «Дирка и Голлинса»? Вероятно, один только союз «и»...

— Осталась фирма, — внушительно сказал посетитель.

Это был худощавый детина с синими вялыми щеками и такими редкими волосами на голове, что голова эта напоминала подушку для булавок. Глаза его были сухи, руки сухи и обращение сухо-деловое. Нельзя было представить себе этого человека пляшущим, обнимающим женщину или играющим в лапту.

Сюртук висел на его плечах угрюмо-деловыми складками.

— Какое же вы ко мне имеете дело?

Он склонил набок свою розовую подушку для булавок и сказал, пережевывая губами какое-то таинственное съестное:

— Я хочу предложить вам приобрести у нас ротационную машину[1].

— Вот как! — удивился я. — Что же вас натолкнуло на эту мысль?

— Как что? Вы печатаете несколько журналов, у вас издательство — вам стыдно не иметь ротационной машины!

Вчера один лошадиный барышник при помощи этих же самых доводов убеждал меня купить пару лошадей:

— У вас несколько журналов, вы имеете издательство — вам стыдно не иметь лошадей.

Но вчерашнее предложение было ясно — мне предлагали лошадей, я от лошадей отказался. Отказался от известных мне домашних животных, четвероногих, однокопытных, служащих человеку для перевозки тяжестей и для катанья. Я знал, что делал.

«Ротационная машина» — я был в совершенном недоумении, — что это за машина и для каких целей служит она человечеству?

— Да... — сказал я. — Я уже давно подумывал об этой машине, но меня берет сомнение: удастся ли мне получить машину хорошего качества?

---

[1] Ротационной машиной называется большая скоропечатная типографская машина, дающая около 5000–6000 оттисков в час. Употребляется для газет и больших журналов, имеющих высокий тираж. Бумага наматывается на громадные катушки и идет в машину непрерывной лентой. — *Примеч. метранпажа.*

— Лучше наших машин не найдете!

— Ах, Господи! — печально возразил я. — Это все так говорят... А доведись до дела — с этой машиной наплачешься.

— Помилуйте! У нас модель 1902 года!

Я умилился.

— Совсем молоденькая. А как размер... большая она?

— Помилуйте — обыкновенная.

— Так, так...

Я встал, подошел к шкафу, в котором лежал энциклопедический словарь, и стал шарить «рот». «Рот» не было. Сам же я на днях и стащил домой «рот» для выяснения спора с женой о происхождении Ротшильдов.

Вернувшись к столу, я сказал:

— Не изложите ли вы мне преимущества вашего... вашей этой машины. Какова, например, ее работа?

— То есть в час?

— Ну да, в час. Не в год же, в самом деле.

— Она делает в час около 5000.

Меня тянуло спросить: «чего?», но я не спросил из присущего всем нам ложного самолюбия.

«Не служит ли эта проклятая машина для катанья? — пришло мне в голову. — Вероятно так, если она делает в час столько-то».

Я солидно сказал:

— Вы говорите, что ваша машина делает в час около 5000. Цифра порядочная. Но это — во всякую погоду?

— Помилуйте, — пожал плечами представитель «Дирка и Голлинса». — Вы преувеличенного мнения о нежности наших машин. Погода для нее абсолютно безразлична.

— Вы говорите, она делает 5000 в час в любую погоду. И это при любой дороге?

Ужас и изумление отпечатлелись на его деловом лице. Мне даже показалось, что редкие волосы на его голове, похожие на булавки, воткнутые в подушку, — зашевелились.

— Любая дорога? О какой дороге вы толкуете?

— Может быть, я не совсем по-русски выразился, — развязно возразил я. — Мне бы следовало вместо «дороги» сказать «пути». Она дает эти 5000 при любом пути эксплуатации, избранном ее владельцем.

Посетитель, казалось мне, стал терять равновесие.

— При чем тут «любой путь». Я думаю, для ротационной машины путь один! Не будете же вы на ней шить себе платье или рубить котлеты.

(Слава Богу! По крайней мере, теперь я знаю, что таинственная машина не предназначена ни для рубки котлет, ни для портняжных работ.)

— Ну-с... Что же вы еще желаете узнать о нашей машине?

Я барахтался в океане растерянности и недоумения. Я тонул и, как всякий утопающий, схватился за первое, что мне пришло в голову.

— Сколько человек она может выдержать? — в отчаянии крикнул я.

— Вы странный покупатель. Никто из наших прежних покупателей не интересовался ротационной машиной с этой стороны.

— Конечно, — язвительно рассмеялся я. — Ваши предыдущие покупатели принадлежали, вероятно, к тому сорту людей, который покупает кота в мешке. Я не таков, милостивый государь. Я спрашиваю: скольких людей ваша машина выдерживает?

— Но, Бог мой! — отчаянно вращая глазами, вскричал представитель машин. — Не будете же вы с вашими друзьями ездить на ротационной машине?

— И не думал, — обидчиво сказал я. — Если я в своем выражении допустил некоторую неточность, красивую аллегорию...

— Виноват, может быть, вы хотите спросить — скольких людей требует наша машина?

— Ну да, конечно! Хотя это не совсем точно, — срезал я его. — Машина не может «требовать».

— Ну, другими словами, за ней требуется уход трех-четырех человек.

— Тремя обойдусь! — нахально заявил я. — Только меня одно смущает: нет ли в вашей машине таких дефектов, которые лишали бы возможности быть ею довольным.

— Вы говорите о ленте? Будьте покойны, главное достоинство наших машин — они почти не рвут ленты.

Я мог перечислить в тот момент десятки предметов, которые во всю мою жизнь не перервали ни одной ленты — и никто не ставил им этого в особую заслугу. Стоило только креслу, или этажерке, или телефонному аппарату не перервать

ни одной ленты — и мой собеседник отзывался бы о поведении этих бездушных предметов восторженно. Не было ничего легче, как заслужить расположение этого человека!..

— «Почти», — критически сощурил я глаз. — Почти!.. Мне нужно, чтобы лента совсем не рвалась.

Он развел руками.

— Этого вы не достигнете! Это недостижимый идеал!

— К идеалам, молодой человек, нужно стремиться, — нравоучительно сказал я.

— Наша фирма и стремится. Например, что вы на это скажете: наша машина дает сразу двухцветную форму!

— Кому дает? — бестолково спросил я.

— Вам же! А то кому еще.

Этот ответ окончательно сокрушил меня. Как! Мне предлагают машину, которая должна дать мне какую-то особую форму, да еще двухцветную. Пусть это будет гимнастический аппарат!.. Но почему он дает двухцветную форму? И притом — сразу! Впрочем, аппарат, делающий 5000 в час... От него можно всего ожидать.

— Вы полагаете, — спросил я, колеблясь, — что я особенно гонюсь за двухцветной формой?

— Конечно, полагаю. К этому все стремятся.

— Да? Представьте себе, что я к этому равнодушен. Милосердный Господь создал нас по образу и по подобию своему, и мы должны такими же и оставаться. Я предпочитаю развивать и совершенствовать свои умственные богатства, а не грубую животную силу!

— Пожалуйста! — раздражительно сказал он, пожевывая губами невидимую пищу. — Но предупреждаю вас — на плоских машинах[1] далеко не уедете.

— Я вас не пойму, — развел я руками, пораженный. — То вы сомневаетесь, чтобы я мог с друзьями ездить на ротационной машине, а то утверждаете, что на плоских машинах далеко не уедешь. На чем же мне тогда ездить?

— Это дело вашего личного вкуса!.. Но я вижу, что ротационная машина вам не нужна. Прощайте!

— А разве я утверждал противное, — возразил я с тонкой улыбкой. — Всего хорошего. Так старик Дирк отправился к праотцам? Досадно, досадно!

---

[1] Плоская машина — обычный тип типографской иллюстрационной машины.

В дверях представитель машин остановился... Обернулся ко мне и сказал:

— Не предложить ли вам хорошенькую «американку»?[1]

Я вспыхнул до корней волос и принужденно засмеялся.

— Кого?

— «Американку»! Очень хорошая «американка». Вы ее работой будете довольны. Попробуйте, не понравится — заберу обратно.

— Вы и этим делом занимаетесь? — проворчал я, с омерзением глядя на этого разнузданного человека. — Нечего сказать — нравы!

— Что? Может быть, у вас уже есть «американка»? Может быть, и не одна?

— Прощайте, — грубо сказал я. — У меня есть жена, милостивый государь! Нам с вами не о чем больше разговаривать!

Я проклинаю свое ложное самолюбие, которое отравляет мне жизнь. Что стоило бы сразу спросить у моего гостя — какой тип гимнастической машины он называет ротационной машиной?.. Тогда не пропал бы у меня час прекрасного рабочего времени, в течение которого можно было бы написать какую-нибудь действительно хорошую вещь...

ДУША ОБЩЕСТВА

Когда вошел в столовую маленький Жорж, супруги очень обрадовались.

— Жоржик! — воскликнул Балтахин. — Душа общества! Очень рад вас видеть...

— Миленький Жоржик! — захлопала в ладоши Елена Ивановна. — Вот-то прелесть, что вы пришли...

Неизвестно почему Балтахин назвал Жоржа душой общества... Наоборот, Жоржик был маленький скромный

[1] «Американка» — маленькая типографская машина для мелких работ — визитных карточек, обложек и пр. — *Примеч. метранпажа.*

человек, с вечно потупленным взором и застенчивостью в движениях. Весь он был эластичный, мягкий, деликатный, и, если на румяных устах его появлялась изредка улыбка, он сейчас же и гасил ее, пряча в нависших ярко-рыжих усах.

Его все любили за эту мягкость и деликатность.

Он уселся за стол, придвинул к себе стакан чаю, благожелательно взглянул из-под опущенных век на супругов Балтахиных.

— Вот, Жоржик, — сказал Балтахин. — Мы сейчас беседовали с Леной. Она говорит, что я ревнив, а я утверждаю, что не ревнив. Представьте, ее не переспоришь.

— Ай-я-яй, — покачал головой Жоржик. — Как же это так, Елена Ивановна? Неужели вас не переспорить?

— Да ведь мне же скорей со стороны видно — ревнив он или не ревнив, — засмеялась Елена Ивановна.

— Положим, это верно, — мягко сказал Жоржик. — Действительно, со стороны виднее...

— Со стороны? Да позвольте... Если я в себе чувствую отсутствие ревности, если ее нет — вот, понимаете, — нет! Хоть ты что хочешь делай — нет ее, да и только... Как же меня хотят убедить в таком случае, что она есть?

— Да, — сказал Жоржик, обращаясь к Елене Ивановне. — Как же так можно убеждать человека?

— Он просто не отдает себе отчета!

— Да что вы! Это нехорошо. Разве можно не отдавать себе отчета?

— Кто, я? Я не отдаю себе отчета?

— Можно, — сказала Елена Ивановна.

Жоржик подтвердил:

— Можно.

Балтахин пожал плечами.

— Какая чепуха! Это все равно, если бы у меня не болел зуб, а ты бы стала уверять, что у меня зуб болит... Это ведь одно и то же...

— Конечно, одно и то же, — кивнул головой Жоржик.

— Ну, так вот... Значит, вы, Жоржик, согласны со мной, что ревность, как чувство субъективное, скорее всего может чувствоваться мною — ревнующим или неревнующим, — чем другими...

— Понятно, — задумчиво сказал Жоржик. — Это ясно как день.

— Да ведь он, — обратилась Балтахина к Жоржику, — может думать, что ничего не чувствует, а на самом деле в глубине души будет раздираем муками ревности.

— Да что вы? — покачал головой Жоржик. — Неужели он такой?

— Уверяю вас — такой.

— Это нехорошо, — огорчился Жоржик.

— Ну вот поговорите с этой женщиной, — воскликнул Балтахин. — Она больше меня знает: раздирает меня внутри что-нибудь или нет?..

— В самом деле, — сказал Жоржик. — Откуда вы можете это знать?

— Ах! — нетерпеливо махнул рукой Балтахин. — Женщина всегда останется женщиной!

— Да уж... это так. Эти женщины — действительно... женская логика.

— Ну вот! Ты видишь — почему же Жоржик меня понимает, а ты не можешь понять?..

— Почему? — воскликнула обиженная немного жена. — Да потому, что я тебя уже давно раскусила.

— Ага! — сказал Жоржик. — Значит, вас раскусили? Ишь ты... Его раскусили, а он сидит как ни в чем не бывало.

— Ты? Ты?! Меня раскусила? — воскликнул разгоряченный Балтахин. — Ну, знаешь ли...

— Да уж, знаете ли, — возмущенно вздернул плечами Жоржик. — Это действительно...

— Ты?! Меня?!

— Пожалуйста, без патетических восклицаний... Да! Я тебя раскусила. Ха-ха... Подумаешь, какая загадочная натура... Почему же в таком случае ты не отпустил меня на лето в имение к Кандауровым?

— А-а, батенька, — воскликнул Жоржик. — Так вот оно что? Значит, вы ее не отпустили к Кандауровым?

— Да... представьте себе, Жоржик... Я уверена — он не отпустил меня потому, что туда съезжается на лето много молодежи, студентов. Как вам это нравится?

— Возмутительно, — вздернул плечами Жоржик.

— Ну, скажите вы, человек беспристрастный! Если бы вы были женаты, как он, неужели вы бы не отпустили меня на лето куда-нибудь?

— Что вы! — сказал Жоржик. — За кого вы меня считаете. Конечно бы отпустил.

— Вот вы и поговорите с ней! — стукнул кулаком по столу Балтахин. — Она уверена, что я не отпустил ее, потому что *ревную* к каким-то молокососам?! Как вам это понравится?

— Кому же это может понравиться? — сочувственно сказал Жоржик. — Нравиться тут нечему.

— Ага! Вот видишь... Это в твоей голове, может быть, студенты занимают какое-нибудь место, а я, матушка моя, человек серьезный!

— Глупо! — раздраженно сказала жена. — Не забывай, что ты говоришь при постороннем человеке.

— Да, действительно... — сказал Жоржик. — Такие вещи при постороннем немножко не того.

— Ну, Жоржик, знаете, если я вижу человека, который говорит идиотские абсурды, — я и при постороннем замечу ему это...

— Спасибо за комплимент, — злобно вскричала Елена Ивановна. — Заслужила... Стоило выходить за такого человека замуж, отдавать ему жизнь...

— А в самом деле? — спросил Жоржик, оживляясь. — Зачем вы это сделали? Охота была...

— Да уж спросите... Клялся меня на руках носить, под золотым колпаком держать...

— Вот тебе... — меланхолически прошептал Жоржик. — То клялся и то и другое сделать, а потом обманул... Ох эти мужья...

— Выслушайте меня, Жоржик, — крикнул муж, цепляясь за его руки. — Ради Бога... Вы должны меня понять. Она, эта вот женщина, говорит, что я клялся на руках ее носить... Да! Может быть, это и было... Но если человек мечтал носить на руках всю жизнь любимое существо, а у него потом на руках оказался мешок с отрубями, как он должен поступить?

— Ясное дело — как, — мужественно, не колеблясь, сказал Жоржик.

— Если я мешок с отрубями, — захлебываясь от слез вскричала жена, — то что же ты такое?! Что он такое, Жоржик?

— Он? — презрительно взглянув на мужа, переспросил Жоржик.

— Да, он... Мужчина... Рыцарь! Способны были бы вы, Жоржик, даже не любя женщину, назвать ее мешком с отрубями?..

— Что вы, что вы!

— А способны были бы вы, Жоржик, — воскликнул Балтахин, — жить бок о бок с нелепой женщиной и выслушивать ежедневно ее благоглупости?..

— Трудновато... — ответил Жоржик. — Это уж, знаете, нужно ангельское терпение...

— Ты вот как говоришь? — сверкая глазами и дрожа от возмущения, воскликнула жена. — Почему же ты в таком случае не разведешься со мной?

— А в самом деле, Владимир Васильич?.. Почему бы...

— Ты спрашиваешь, почему я с тобой не разведусь? Ты меня спрашиваешь почему? Как вам, Жоржик, понравится этот вопрос?

— Да уж... вопросец...

Жена ударила кулаком по сухарнице.

— А я тебе скажу, почему ты со мной не разведешься... Потому что через полчаса по уходе Жоржика будешь валяться у меня в ногах и просить прощения!..

— Неужели вы это сделаете? — изумился Жоржик.

— Конечно, сделает! Будет уверять в своей любви, плакать, говорить, что жить без меня не может...

— Однако... поступочки, — пожал плечами Жоржик.

— Што-сс? И вы серьезно думаете, Жоржик, что я это сделаю? Так я тебе скажу, кто ты такая: ты психопатка, больная манией величия!! Неужели вы этого не замечаете?

— Подлец! — крикнула жена и, закрыв лицо носовым платком, выбежала в другую комнату.

— Да... — сказал Жоржик. — Действительно, ваше положение тяжелое. Ну, я пойду домой. До свиданья.

— Всего хорошего, Жоржик. Заходите... Я так рад видеть вас.

— Жо-о-оржик! — донесся из другой комнаты голос Елены Ивановны. — Идите-ка сюда.

— Что прикажете? — спросил Жоржик, входя к ней.

— Ну, Жоржик? Как вы назовете эту жизнь?

— Да как же: ад!

— Можно ужиться с этим слабоумным ипохондриком?

— Ну, уж знаете — это трудно. Не очень-то уживешься тут.

— Могли бы вы поступить так с женой?
— Что вы, что вы, — возразил Жоржик. — Разве можно? Ну, я пойду. Посидел, попил чайку — и баста.
— Заходите, Жоржик! Ради Бога. Я так рада вас видеть!!! Вы такой... хороший! Такой сердечный... Вы так откликаетесь.

СЛЕПЦЫ

Посвящается А.Я. Садовской

I

Королевский сад в эту пору дня был открыт, и молодой писатель Ave беспрепятственно вошел туда. Побродив немного по песчаным дорожкам, он лениво опустился на скамью, на которой уже сидел пожилой господин с приветливым лицом.

Пожилой приветливый господин обернулся к Ave и после некоторого колебания спросил:
— Кто вы такой?
— Я? Ave. Писатель.
— Хорошая профессия, — одобрительно улыбнулся незнакомец. — Интересная и почетная.
— А вы кто? — спросил простодушный Ave.
— Я-то? Да король.
— Этой страны?
— Конечно. А то какой же...
В свою очередь, Ave сказал не менее благожелательно:
— Тоже хорошая профессия. Интересная и почетная.
— Ох, и не говорите, — вздохнул король. — Почетная-то она почетная, но интересного в ней ничего нет. Нужно вам сказать, молодой человек, королевствование не такой мед, как многие думают.
Ave всплеснул руками и изумленно вскричал:
— Это даже удивительно! Я не встречал ни одного человека, который был бы доволен своей судьбой.
— А вы довольны? — иронически прищурился король.
— Не совсем. Иногда какой-нибудь критик так выругает, что плакать хочется.
— Вот видите! Для вас существует не более десятка-другого критиков, а у меня критиков миллионы.

— Я бы на вашем месте не боялся никакой критики, — возразил задумчиво Аве и, качнув головой, добавил с осанкой видавшего виды опытного короля: — Вся штука в том, чтобы сочинять хорошие законы.

Король махнул рукой.

— Ничего не выйдет! Все равно никакого толку.

— Пробовали?

— Пробовал.

— Я бы на вашем месте...

— Э, на моем месте! — нервно вскричал старый король. — Я знал многих королей, которые были сносными писателями, но я не знаю ни одного писателя, который был хотя бы третьесортным, последнего разряда, королем. На моем месте... Посадил бы я вас на недельку, посмотрел бы, что из вас выйдет...

— Куда... посадили бы? — осторожно спросил обстоятельный Аве.

— На свое место!

— А! На свое место... Разве это возможно?

— Отчего же! Хотя бы для того это нужно сделать, чтобы нам, королям, поменьше завидовали... чтобы поменьше и потолковее критиковали нас, королей!

Аве скромно сказал:

— Ну что ж... Я, пожалуй, попробую. Только должен предупредить: мне это случается делать впервые, и если я с непривычки покажусь вам немного... гм... смешным — не осуждайте меня.

— Ничего, — добродушно улыбнулся король. — Не думаю, чтобы за неделю вы наделали особенно много глупостей... Итак — хотите?

— Попробую. Кстати, у меня есть в голове один небольшой, но очень симпатичный закон. Сегодня бы его можно и обнародовать.

— С Богом! — кивнул головой король. — Пойдемте во дворец. А для меня, кстати, это будет неделькой отдыха. Какой же это закон? Не секрет?

— Сегодня, проходя по улице, я видел слепого старика... Он шел, ощупывая руками и палкой дома, и ежеминутно рисковал попасть под колеса экипажей. И никому не было до него дела... Я хотел бы издать закон, по которому в слепых прохожих должна принимать участие городская полиция.

Полисмен, заметив идущего слепца, обязан взять его за руки и заботливо проводить до дому, охраняя от экипажей, ям и рытвин. Нравится вам мой закон?

— Вы добрый парень, — устало улыбнулся король. — Да поможет вам Бог. А я пойду спать. — И, уходя, загадочно добавил: — Бедные слепцы...

II

Уже три дня королевствовал скромный писатель Ave. Нужно отдать ему справедливость — он не пользовался своей властью и преимуществом своего положения. Всякий другой человек на его месте засадил бы критиков и других писателей в тюрьму, а народонаселение обязал бы покупать только свои книги — и не менее одной книги в день, на каждую душу, вместо утренних булок.

Ave поборол соблазн издать такой закон. Дебютировал он, как и обещал королю, «законом о провожании полисменами слепцов и об охранении сих последних от разрушительного действия внешних сил, как то: экипажи, лошади, ямы и проч.».

Однажды (это было на четвертый день утром) Ave стоял в своем королевском кабинете у окна и рассеянно смотрел на улицу.

Неожиданно внимание его было привлечено страшным зрелищем: два полисмена тащили за шиворот прохожего, а третий пинками ноги подгонял его сзади.

С юношеским проворством выбежал Ave из кабинета, слетел с лестницы и через минуту очутился на улице.

— Куда вы его тащите? За что бьете? Что сделал этот человек? Скольких человек он убил?

— Ничего он не сделал, — отвечал полисмен.

— За что же вы его и куда гоните?

— Да ведь он, ваша милость, слепой. Мы его по закону в участок и волокем.

— По за-ко-ну? Неужели есть такой закон?

— А как же! Три дня тому назад обнародован и вступил в силу.

Ave, потрясенный, схватился за голову и взвизгнул:

— Мой закон?!

Сзади какой-то солидный прохожий пробормотал проклятие и сказал:

— Ну и законы нынче издаются! О чем они только думают? Чего хотят?

— Да уж, — поддержал другой голос, — умный закончик: «Всякого замеченного на улице слепца хватать за шиворот и тащить в участок, награждая по дороге пинками и колотушками». Очень умно! Чрезвычайно добросердечно!! Изумительная заботливость!!

Как вихрь влетел Аve в свой королевский кабинет и крикнул:

— Министра сюда! Разыщите его и сейчас же пригласите в кабинет!! Я должен сам расследовать дело!

III

По расследовании, загадочный случай с законом «Об охране слепцов от внешних сил» разъяснился.

Дело обстояло так.

В первый день своего королевствования Аve призвал министра и сказал ему:

— Нужно издать закон «о заботливом отношении полисменов к прохожим слепцам, о провожании их домой и об охране сих последних от разрушительного действия внешних сил, как то: экипажи, лошади, ямы и проч.».

Министр поклонился и вышел. Сейчас же вызвал к себе начальника города и сказал ему:

— Объявите закон: не допускать слепцов ходить по улицам без провожатых, а если таковых нет, то заменять их полисменами, на обязанности которых должна лежать доставка по месту назначения.

Выйдя от министра, начальник города пригласил к себе начальника полиции и распорядился:

— Там слепцы по городу, говорят, ходят без провожатых. Этого не допускать! Пусть ваши полисмены берут одиноких слепцов за руку и ведут куда надо.

— Слушаю-с.

Начальник полиции созвал в тот же день начальников частей и сказал им:

— Вот что, господа. Нам сообщили о новом законе, по которому всякий слепец, замеченный в шатании по улице без провожатого, забирается полицией и доставляется куда следует. Поняли?

— Так точно, господин начальник!

Начальники частей разъехались по своим местам и, созвав полицейских сержантов, сказали:

— Господа! Разъясните полисменам новый закон: «Всякого слепца, который шатается без толку по улице, мешая экипажному и пешему движению, хватать и тащить куда следует».

— Что значит «куда следует»? — спрашивали потом сержанты друг у друга.

— Вероятно, в участок. На высидку... Куда ж еще...

— Наверно, так.

— Ребята! — говорили сержанты, обходя полисменов. — Если вами будут замечены слепцы, бродящие по улицам, хватайте этих каналий за шиворот и волоките в участок!

— А если они не захотят идти в участок?

— Как не захотят? Пара хороших подзатыльников, затрещина, крепкий пинок сзади — небось побегут!..

Выяснив дело «Об охране слепцов от внешних влияний», Аve сел за свой роскошный королевский стол и заплакал.

Чья-то рука ласково легла ему на голову.

— Ну, что? Не сказал ли я, узнав впервые о законе «охранения слепцов»: «Бедные слепцы!» Видите! Во всей этой истории бедные слепцы проиграли, а я выиграл.

— Что вы выиграли? — спросил Аve, отыскивая свою шапку.

— Да как же? Одним моим критиком меньше. Прощайте, милый. Если еще вздумаете провести какую-нибудь реформу — заходите.

«Дожидайся!» — подумал Аve и, перепрыгивая через десять ступенек роскошной королевской лестницы, убежал.

Я В СВЕТЕ

I

Я спросил:

— Куда ты собрался?

— К одним знакомым. У них званая вечеринка.

— Гм... Досадно. Я пришел провести вечер с тобой.

— Да, жаль. Но ничего не поделаешь. Я уже обещал.

— Что же я теперь буду делать эти несколько часов? — печально спросил я. — Хотел поболтать с тобой... Кто эти твои знакомые?

— Полосухины.

— Полосухины? — обрадовался я. — Скажи, пожалуйста, это не тот ли Полосухин, у которого в прошлом году дача сгорела?

— Да, тот.

— Ну, так как же! Я его знаю! Еще я тогда пожар смотрел и видел этого Полосухина — вот, как сейчас тебя вижу... А знаешь что? Не пойти ли нам к Полосухиным вместе?

— Да ведь ты не получал приглашения?

— Ну так что ж такое? Не выгонят же они меня?

— Неудобно.

— Да почему?

— Ну, знаешь... В обществе ведь не принято являться в первый раз в незнакомый дом без приглашения.

— Но ведь я же не один, а с тобой.

— Да и со мной неловко.

— Ну почему?

— В обществе так не принято. Светские люди так не делают.

— Не беспокойся, голубчик, — угрюмо возразил я. — Я не хуже твоего знаю эти все светские штучки, что вот, мол, рыбу нельзя есть ножом и прочее. Но в данном случае все это пустяки — если я не вор, не пьяница, то почему же меня не принять? Что, я не такой же человек, как и ты, что ли?

Плешаков неохотно сказал:

— Как хочешь... Если ты настаиваешь — едем. Только ведь ты в пиджаке. Нужно тебе заехать переодеться.

— Да зачем же? Пиджак почти новенький... А что толку в смокинге?.. У другого, может быть, и смокинг есть, да зато портной его день и ночь плачет. Пусть меня судят не по платью, а по моему уму и воспитанию.

— Во всяком случае, — усмехнулся Плешаков, — ты получил довольно оригинальное воспитание...

— Смейся, смейся! Мне хотя не приходилось до сих пор вращаться в обществе, но во всяком случае я рыбу ножом есть не стану!

Мы сели на извозчика и поехали к Полосухиным. Я предвкушал хороший, веселый вечер и поэтому радовался как ребенок.

Насчет моего первого появления и первых приветствий у меня уже сложилось несколько планов.

Можно, во-первых, сыграть роль чудаковатого парня-рубахи и души нараспашку, игнорирующего светские условности, что придает всем его поступкам странную прелесть. Здесь допустима небольшая фамильярность, подшучивание над девицами и любезничание с дамами, что должно вызывать общий смех и восклицания: «Ох уж этот Николай Николаич... Для него нет ничего святого! Только попадись ему на язычок!»

Можно также быть печальным, томным, чтобы было видно, что мысли мои витают где-то далеко, и весь светский шум не долетает до моих ушей... Или еще можно держать себя очень сдержанно, холодно, но в высшей степени вежливо, как и подобает человеку, явившемуся впервые в дом.

Конечно, в том, другом и третьем случае необходимо соблюдение светских приличий, и одинаковым образом как светскость, так и чудаковатость и меланхоличность должны удерживать меня от употребления ножа при операциях с рыбой и от прочих поступков.

— Ну вот, мы и приехали к Полосухиным, — сказал Плешаков, соскакивая с извозчика. — Может, ты раздумал?

— Чего там мне раздумывать, — весело возразил я. — Не звери же они, в самом деле. Не съедят меня. Ты меня только не забудь представить.

Плешаков промолчал, и мы, поднявшись по лестнице, позвонили...

II

После полутемной передней гостиная показалась ослепительной. Я на секунду приостановился, но сейчас же, ободрившись, двинулся вперед.

— Вот это хозяйка, — шепнул мне Плешаков.

— Позвольте представиться! — сказал я, улыбаясь. — Прошу любить да жаловать. Я страшно извиняюсь за немного бестактное, так сказать... Это вторжение очень напоминает человека, который рыбу ест ножом. Впрочем, к чему эти светские условности, не так ли? Ах, сударыня... Все на све-

те проходит, и через сто лет, вероятно, никого уже из нас не будет на свете...

Тут же я пожалел, что не остановился на какой-нибудь определенной манере держать себя. Начал я «рубахой-парнем», продолжил «светским сдержанным аристократом», а кончил «меланхоликом».

— Ничего, милости просим, — сказала хозяйка. — Неужели вы, однако, такой пессимист, что думаете о смерти?

— Да, — вздохнул я. — Что такое, в сущности, жизнь? Какой-то постоялый двор. Все приходят, уходят. Стоит ли после этого мучиться, страдать...

Лицо хозяйки омрачилось. «Однако, — подумал я. — Пригодна ли меланхоличность для светского вечера, где все должны веселиться?..»

Я надел на себя личину чудака, всеобщего любимца, «рубахи-парня». Прищелкнул пальцами и спросил:

— А где же хозяин сего богоспасаемого домишки?

— Он в карточной комнате.

— А-а, — подмигнул я. — Променял красивую женушку на картишки. Хе-хе. Ох, приударю я за вами — будет он тогда с выигрышем!

— С каким? — бледно улыбнулась хозяйка.

— Кому не везет в любви — везет в картах! А вы будто бы не понимаете? Ох, эти женщины!

Я лукаво засмеялся. Лицо хозяйки дома казалось равнодушным. Она отвернулась и посмотрела на какого-то старика, топтавшегося в углу.

«Рубаха-парень» брал свое.

Я кивнул головой на старика и сказал:

— Мы как будто во фруктовом саду.

— Почему?

— Да на одном из деревьев уже выросла синяя слива.

Я думал, что она расхохочется, так как нос старика действительно напоминал синюю сливу, но оказалось, что старик приходился ей отцом, и она обиделась.

Пришлось пустить в ход всю свою светскость, чтобы выпутаться из неловкого положения. Я пригласил на помощь «сдержанного аристократа» и сказал:

— Я извиняюсь за эту шутку. Старик мне, откровенно говоря, очень нравится. Кроме того, ведь не написано же у него на лбу, кто он такой.

— Ничего, — сказала хозяйка. — Бывает. Это легко случается, если человек приходит в дом, где он никого не знает.

— Разве он никого не знает? — удивился я.

— Кто?

— Ваш папаша.

— Я говорю не о папаше. Извините, я пойду распорядиться по хозяйству.

«Сдержанный аристократ» поклонился и... сейчас же уступил место «душе нараспашку».

— Господи! Такие прелестные ручки, созданные для ласк, должны хлопотать по хозяйству... Знаете что? Скажу вам откровенно: я познакомился с вами всего несколько минут, но чувствую себя, как будто знаком десять лет. Ей-Богу! Так что вы со мной не стесняйтесь. Хотите, я пойду помогу вам по хозяйству.

— Что вы! Мне ведь придется заглянуть на кухню...

— Заглянем вместе! Эх-ма! Ей-Богу, нужно быть проще. Вы мною располагайте... Я могу все: ветчину нарезать, бутылки откупорить...

— Да нет, зачем же. Тем более что на кухню нужно проходить мимо детской, а дети спят...

— Как! У вас есть дети, и вы, плутовка этакая, молчите? Да ведь я обожаю детей. Они сразу подружатся с большим дядей. Я им сделаю разные кораблики, бумажные треуголки... Хе-хе! Я сейчас пойду к ним повозиться.

— Извините, но это неудобно. Они уже заснули. Вообще, я думаю, что управлюсь сама...

Она быстро повернулась и ушла. «Рубаха-парень» сжался и, превратившись в «меланхолика», обратился к группе дам, сидевших в углу около пальмы.

Я подошел к ним, опустился на стул и, свеся голову, вздохнул.

— Я вам не помешаю?

Дамы умолкли и взглянули на меня.

Я подпер подбородок рукой и задумался.

Все молчали.

Я провел рукой по волосам, будто отгоняя мучительные мысли, и прошептал:

— Как тяжело!

— Что... тяжело? — спросила участливо одна из дам.

— Это, все... Этот блеск и шум... К чему он? В жизни человека на каждом шагу самообман!

Две дамы встали и сказали третьей:

— Пойдем, mesdames. Вы не видели новую картину в кабинете? Пойдем посмотрим.

Я остался с четвертой дамой. Чутье мое подсказывало, что я наделал ряд ложных шагов и поэтому являлась настоятельная необходимость загладить все это...

Выручить должен был «рубаха-парень», но с примесью старческих покровительственных ноток, свойственных пожилому бонвивану, общему любимцу.

— Прыгаете все? — спросил я равнодушно.

— Как... прыгаю?

— Еще не замужем?

— Нет, я девушка.

— А-а... Сердечко-то, наверно, ток-ток делает...

Я засмеялся добрым старческим смешком.

— Женишка вам найти надо. Хе-хе. Буду приходить детишек нянчить. Да вы не краснейте — мне ведь можно извинить...

— Я замуж не хочу.

— Ах вы, моя козочка! Она не хочет замуж!.. Видели вы такое? Небось, когда этакий, какой-нибудь черноусый паренек прижмет к себе покрепче да поцелует...

— Послушайте! Я не привыкла, чтобы мне так говорили...

— Хе-хе! Глазеночки, как мышонки, бегают. Ну да молчу, молчу. Я ведь, мой ангелок, приличия знаю и ничего такого не скажу и не сделаю. Пошутить могу, но уж, например, рыбу с ножа есть не буду!

Читатель, вероятно, заметил, что я уже несколько раз упоминал об этом неумолимом условии, предъявляемом хорошим тоном человеку из общества. Дело в том, что из всего сложного кодекса светских условностей я знал только одну эту условность и, признаться, берег ее до ужина про запас, — чтобы за ужином одним этим приемом исправить все предыдущие ложные и неправильные шаги.

Увидев меня, распоряжающимся рыбой *только при помощи вилки*, всякий сразу бы понял, что все предыдущие слова и действия были только чудачеством пресыщенного аристократа.

Поэтому я очень обрадовался, когда хозяин вышел из карточной комнаты и пригласил всех к столу.

III

Я сел очень удачно: напротив хозяйки и наискосок от девицы, которая знала меня за добродушного чудаковатого старика.

Я ловил на себе их презрительные, сердитые взгляды и думал: «Ничего, миленькие. Светское воспитание не в том, что я заговорил насчет женихов или там хотел помочь хозяйке по хозяйству! А вот нож для рыбы, хе-хе... Посмотрим, многие ли из вас будут обходиться без помощи ножа...»

Скажу прямо и откровенно: это был мой единственный ресурс, единственная надежда исправить первое неудачное впечатление, которое я иногда произвожу на людей.

От закуски я отказался и, напустив на себя манеру № 3 (сдержанный аристократизм), стал ожидать рыбы.

После закуски подали какую-то зелень и жареных птиц.

Мой сосед, отставной полковник, спросил меня:

— А вы почему же не кушаете?

— Спасибо, не хочется. Вообще, знаете, эта бурная светская жизнь утомляет...

— Да-а, — сказал полковник.

— И потом, мы, светские люди, прямо-таки окружены условностями. Того нельзя, этого нельзя. Вы знаете, до чего дошла светская изощренность?..

— До чего?

— Немногие это знают, но это верно: вы можете представить, что рыбу теперь едят только одной вилкой...

— Да это уже всем известно! — возразил полковник.

Я тонко улыбнулся.

— Не всем-с. Вот посмотрим-с, когда подадут рыбу.

— Да ее сегодня, вероятно, не будет, — возразил полковник. — Смотрите, уже подают пломбир.

Я побледнел.

— Как? Значит, рыбы не будет?

— Не знаю, — пожал плечами полковник. — Разве что вам ее подадут после пломбира.

Сердце мое упало.

«Господи, — подумал я, — стоит ли знать все тонкости и ухищрения светской жизни, если их нельзя применить. К чему моя воспитанность, мой лоск? Все пошло прахом!»

Расстроенный, я отказался от пломбира, извинился перед хозяевами («аристократ» и отчасти «меланхолик») и, не досидев до конца ужина, ушел.

* * *

Теперь шумиха светской жизни не привлекает меня.

ОДУРАЧЕННЫЙ ХИРОМАНТ

— Тебе нужно непременно пойти к хироманту, — сказал мне дядя. — Он удивительно верно предсказывает настоящее, прошедшее и будущее... Мне, например, он предсказал, что я умру через 15 лет.

— Не могу сказать, чтобы это было «удивительно верно», — возразил я. — Подождем!

— Чего подождать?

— Да 15 лет. Если он окажется прав — так и быть, пойду к нему.

— А если он сам умрет до этого? — сказал дядя.

Я призадумался. Действительно, смерть этого удивительного человека поставила бы меня в безвыходное положение... Стоило ему только протянуть ноги, как я оказался бы совершенно слепым человеком, не могущим заглянуть в свое будущее и вспомнить далекое и близкое прошлое.

«Кроме того, — пришла мне в голову мысль, — мне есть полный расчет узнать время своей смерти. Вдруг да я умру недели через три? А у меня как раз в банке лежит тысчонка рублей, с помощью которой я мог бы должным образом скрасить свои последние предсмертные дни».

— Ладно, пойду, — согласился я.

Хиромант оказался чудесным человеком: без всякой гордости и заносчивости — как, в сущности, и подобает человеку, отмеченному Богом.

Он скромно поклонился и сказал:

— Хотя будущее и скрыто от пытливого взора людей, но есть на человеческом теле такой документ, по которому опытный, знающий глаз прочтет все, как по книге...

— Неужели?

— Такой документ — ладонь руки! Нет на земном шаре двух одинаковых ладоней у разных людей, и линии руки

отражают все: характер, привычки, поступки и наклонности человека!

Сердце мое задрожало.

«Черт возьми! — подумал я. — А я только вчера потихоньку утащил у приятеля сигару, которую тот собирался закурить. Правда, этот поступок заключал в себе элементы чистейшей шутки, но если проклятая рука покажет самый факт, не осветив его с настоящей точки зрения, — в каком позорном положении окажусь я, похититель сигар... Сумею ли прямо посмотреть в глаза хироманту?»

Я визгливо засмеялся.

— Презабавную я вчера шутку выкинул... Мы чуть не померли со смеху! Вынул мой приятель сигару, полез за спичками, а я — фью! Взял да и утащил ее. Вы, надеюсь, не сомневаетесь, что это была шутка?

Хиромант с некоторым изумлением взглянул на меня и сказал:

— Итак, позвольте вашу руку.

— Вот вам моя рука, — взволнованно протянул я руку. — Говорите все, как есть! Если мне угрожает что-нибудь ужасное — пожалуйста, не стесняйтесь! Я приготовился к самому худшему!

Он взял остро отточенный карандаш и стал водить им по целому хаосу линий и черточек на моей ладони.

— Не волнуйтесь! Я скажу все с самого начала. Скажу, например, сколько вам лет... Гм... Вам уже исполнилось двадцать четыре года!

— Совершенно верно! — подтвердил я.

Проницательность этого человека стояла вне сомнений: мне действительно исполнилось двадцать четыре года пять лет тому назад; он был бесспорно прав.

Я сгорал желанием слышать дальнейшее.

— Вы родились на севере, в богатой аристократической семье.

— Пожалуй, это и верно, — задумчиво сказал я. — Ежели Севастополь считать в отношении Центральной Африки севером, то оно так и выйдет. Что же касается отца, то вы, называя его аристократом, ни капельки не польстили покойнику: он щедро раздавал всем окружающим деньги, полученные от торговли в бакалейной лавке, презирал ме-

лочность и был, по-моему, настоящим аристократом духа. Спасибо вам за добрую память!

— Теперь перейдем к характеру... Характер вы имеете угрюмый, мрачный, мизантропический и склонны видеть все в темном свете. Очень интересуетесь медицинскими науками.

Второе было изумительно верно: еще вчера расспрашивал я у знакомых — не знает ли кто средства от насморка, мучившего меня вторую неделю... Что же касается характера — я был немного огорчен... «Никто из читателей, — подумал я, — не мог получить определенного удовольствия от юмористических рассказов, написанных угрюмым, мрачным мизантропом». А я-то думал о себе как о беззаботном гуляке, юмористе и мастере на всякие штуки.

— Какая линия говорит о характере? — отрывисто спросил я.

— Вот эта.

— Жаль, что не эта, — вздохнул я. — Не та, которая левее. Эта как будто имеет более веселое, извилистое направление.

— Это линия жизни. Вы имеете две счастливые планеты...

— Две? Маловато. Прямо, знаете, не обойдешься с ними. А как насчет семейной жизни?

— У вас есть двое детей, которых вы очень любите, и жена, которая доставляет вам очень много хлопот и неприятностей.

Я был поражен до глубины души.

— Ну? Где та линия, которая говорит об этом?

Он указал.

Я промолчал, но мне сделалось крайне неловко за свою руку. Она в настоящем случае лгала бессовестно, определенно и бесспорно: ни детей, ни жены у меня не было! Линия ясно красовалась на моей ладони и как будто нагло лезла в глаза. Никогда я не видел более лукавого создания.

Я чувствовал себя обманщиком в отношении того честного человека, который в настоящий момент простодушно доверял моей фальшивой руке, и я сказал:

— Ничего... Пойдем дальше.

— Пойдем дальше, — согласился хиромант. — У вас в жизни было большое тяжелое горе, которое вы еле перенесли... Было оно, позвольте... на котором году? Да! На двенадцатом. Я ясно вижу, на двенадцатом.

Действительно, я после некоторого напряжения памяти вспомнил, что на двенадцатом году со мной кое-что случилось: однажды, валяясь в сене, я потерял прекрасный костяной перочинный ножик и тридцать копеек наличных денег, выпавших из кармана. Но плохо же знал мою натуру хиромант, если думал, что я еле-еле перенес это горе! Ого! Признаться, я перенес потерю, не моргнув глазом. И в тот же день утащил у старшего брата такой громадный ножик, что он совершенно утешил меня.

В этом месте моя ладонь бессовестно преувеличивала и раздула факт; и чем дальше, тем она больше кривлялась, выдумывала небылицы и возводила на меня разные поклепы.

Кто, например, просил ее утверждать, что я сидел два года в тюрьме? Когда это было?

И мне долго пришлось разглагольствовать перед доверчивым хиромантом об освободительном движении, о жертвах революции, чтобы хотя чем-нибудь скрасить свою неприглядную моральную физиономию.

А рука осмелела и разошлась вовсю.

— Вы жили три года в Америке и потеряли там все свое состояние!

«Да, — усмехнулся я про себя. — Ты бы еще что-нибудь выдумала, голубушка... Ты бы еще отметила на себе, что я покушался на самоубийство».

Рука явно издевалась надо мной.

— Двадцати одного года вы покушались на самоубийство, но неудачно.

«Я думаю, что неудачно, — подумал я, — иначе бы я не сидел здесь. Да и не покушался я вовсе. И в мыслях не было!»

— Какая это линия свидетельствует о самоубийстве? — угрюмо спросил я.

— Вот видите — эта. Отсюда — досюда.

Мне было смертельно стыдно за свою собственную руку. Если бы мне подвернулся тот самый ножик, который был мною в свое время утерян в сене и потерю которого моя ладонь раздула до размеров чего-то тяжелого, смертельно холодящего сердце, — я, не колеблясь, начертил бы этим ножиком на ладони новые линии, которые имели бы бóльшую совесть и скромность и не подводили бы своего хозяина.

А рука в это время выдумывала все новое и новое, а хиромант добросовестно передавал все это мне, а я злился и нервничал...

Смотря с ненавистью на свою ладонь, я думал:

«Где я тонул? Когда я тонул? Зачем тебе нужно было сообщать об этом? Лжешь ты, что у меня жестокий, придирчивый характер!»

Потом рука ударилась в другую крайность: она стала бессовестно передо мной заискивать и грубо, примитивно льстить мне.

— Ум ваш склонен к великим изобретениям... Все окружающие любят вас и считают человеком с зачатками гения! На тридцатом году вы сотворите произведение искусства, которое прогремит! Женщины бегают за вами толпой!

«Нет, — горько усмехнулся я про себя. — Теперь уж, голубушка, не поправишь дела... Навыдумывала, наплела всяких гадостей, да и на попятный».

Гадко! Позорно! Стыдно!

У нее не было никакой логики. Одна линия указывала, что я человек слабый, склонный к заболеваниям и простудам. А рядом тянулась такая же другая линия, которая с пеной у рта опровергала первую и вопила, что никогда она не видела человека здоровее меня.

— Ты корыстолюбив, скуп и имеешь большие деньги, — сообщила ехидно ладонь и в подтверждение этого выпячивала отвратительную изогнутую черту.

— Нет, — говорила другая, прямая, как стрела, черта, сжалившись надо мной. — Он щедр, бросает деньги, не считая их, и умрет в крайней бедности.

Я сидел, не смея взглянуть на хироманта. Я был красен как рак.

«Что он обо мне подумает?»

Когда я уходил, хиромант взял плату, еще раз взглянул на мою руку и дружелюбно посоветовал, отметив карандашом какое-то место:

— Остерегайтесь в своей жизни огня, пожаров и лошадей.

Я их и так остерегался, но после этого предупреждения решил держать ухо востро и при первой же возможности удирать от огня во все лопатки. Лошади тоже не внушали мне доверия. Я решил в будущем, прибегая к услугам этих животных, помещаться так, чтобы между мной и лошадью всегда сидел извозчик. Пусть уж лучше лошадь его растерзает, чем меня.

Уходя, я чувствовал перед хиромантом такую неловкость за все выходки моей ладони, что, желая загладить все это, сказал:

— Со своей стороны советую и вам остерегаться некоторых вещей... Я хотя и не хиромант, но кое-что в этих делах маракую... Остерегайтесь взбесившихся слонов, кораблекрушений, наводнений и брошенных в вас бомб. Тогда проживете настолько долго, насколько вас хватит! Прощайте.

Теперь я с совершенно новым чувством смотрю на свою ладонь. Я ее и ненавижу, и презираю, и... боюсь.

Я ведь бываю везде, посещаю все места, которые считаю необходимыми, и она будет тоже неотвязно таскаться за мной, шпионить, выслеживать, записывать на своей лживой поверхности все, что со мной случится, и при этом приврет, раздует, исказит так, что мне стыдно будет потом человеку в глаза глядеть...

Ужасно неприятно!

ВОЛЧЬЯ ШУБА

Конспект.

Пианист Зоофилов взял на время у чиновника Трупакина волчью шубу... Пообещав вернуть шубу через неделю, Зоофилов не только не вернул ее, но вместо этого продал ее татарину, а деньги с приятелями пропил в трактире. Трупакин был чрезвычайно огорчен поступком Зоофилова.

I

В жестокий декабрьский мороз пианист Зоофилов сидел в комнате своего знакомого чиновника Трупакина и говорил ему так:

— Не можете ли вы, миленький, одолжить мне на неделю вашу волчью шубу... Мне нужно ехать на концерт в Чебурахинск, а пальтишко мое жидкое. До Чебурахинска на лошадях еще верст тридцать. Сделайте доброе дело — одолжите шубу на недельку.

— А вдруг она пропадет? Вдруг вы ее потеряете?

— Ну, что вы... Как можно!

— А вдруг мне самому понадобится?

— Да ведь у вас другая есть, новая.

Чиновник Трупакин прикусил сухими губами сизый ус, посмотрел в окно и сказал:

— Так-то оно так. Это верно. Добрые знакомые всегда должны помогать друг другу. Слава Богу — не звери же мы, в самом деле. Хорошо, Стефан Семёныч. Я вам дам шубу. Человек не собака, и замерзать ему невозможно...

Глаза пианиста заблистали радостью.

— Даете? Ну вот — спасибо!

— Уж раз сказал, что дам — то дам. Отчего же... Ведь шубы от этого не убудет. Не правда ли?

— Конечно, конечно.

— Я и сам так думаю. Марья Семеновна!

Чиновник Трупакин обратился к вошедшей жене:

— Вот, Мари, пианист наш замерзнуть в своей турне боится. Дай ему шубу волчью.

— И прекрасно, — сказала жена. — Все равно так лежит.

— Я и сам так думаю. А то что ж человека морозить — звери мы, что ли?

— Я вам очень, очень благодарен, Исай Петрович!

— Ну, какие там благодарности... Все мы должны помогать друг другу! Не дикари ж, в самом деле, не звери. Хе-хе! Слава Богу, крест на шее есть.

В кабинете зазвонил телефон.

— Алло! — сказал Трупакин, беря трубку. — Вы, Анна Спиридоновна? Как поживаете... Что? Спасибо. Что? Зоофилов у меня сейчас сидит... Да... Какой случай: морозы адские, а ему в концерт ехать нужно. Так уж он у меня волчью шубу берет. Да и пусть. Лучше уж пусть она живую душу греет, чем даром лежит. Не дикари, слава Богу... Что? Прощайте.

Трупакин повесил трубку и доброжелательно взглянул на Зоофилова:

— Сегодня хотите забрать? Сейчас я вам это и устрою. Палашка! Послушай, Палашка, достань из сундука шубу и, завернув в простыню, отдай барину. Он, видишь ли ты, Палашка, попросил ее одолжить на время, потому что ехать барину нужно, а дедушка-мороз, хе-хе, кусается. Да почему, думаю себе, не дать? Сем-ка я выручу хорошего человечка.

Трупакин добродушно засмеялся, и морщинки веселой толпой сбежались около его глаз. Разогнав эту самовольную сходку, Трупакин покачал головой, вздохнул и промолвил:

— Ах, как было бы хорошо, если бы все люди помогали друг другу. Жилось бы слаще и теплее. Уходите? Ну, всех вам благ. Шубочку-то не забудьте захватить. Когда едете? Послезавтра? Ну-ну...

Зоофилов еще раз поблагодарил Трупакина в самых теплых выражениях и, захватив волчью шубу, ушел.

А Трупакин решил съездить в клуб.

Оделся, вышел и сел на извозчика.

— Ну что, ездишь? — спросил он извозчика, когда лошадь тронулась.

— Езжу.

— Это, брат, хорошо. Летом-то небось вашему брату легче...

— Да оно как будто послободнее.

— Зимой холодно ведь, чай?

— Да, холодно.

— То-то и оно. Бедному человеку, братец ты мой, зимой зарез.

— Верно. В самую точку будет сказать.

— Да-а, братяга. Тут ко мне вот один музыкант ходит. Такой, братец ты мой, что сплошная жалость возьмет на него глядеть. Морозы-то большие, а ему, слышь, ехать нужно музыкарить. Что ж ты думаешь — дал я ему шубу свою волчью. На, мил человек. Мне не жалко. Верно?

— Да-с.

— То-то и оно. Тут, брат, уж сквалыжничать нечего. Не людоеды, слава Богу. В груди-то тоже сердце есть. Не правда ли?

— Верно. Бедному человеку зачем не спомочь.

— То-то и оно. Дал я ему волчью шубу. На, носи. Сам, брат, Христос заповедал помогать страждущим. Не так ли?

Извозчик в ответ на это помолчал и потом шмыгнул носом так сильно, что лошадь побежала вскачь.

II

Провожать Зоофилова на вокзал собрались несколько приятелей.

— А ловко ты устроился, — сказал одобрительно актер Карабахский, похлопывая Зоофилова по спине.

— С чем устроился?

— Да с шубой. Ведь ты ее у Трупакина взял. Добрый старичок и очень обязательный.

— А ты откуда знаешь о шубе?

— Он же вчера в клубе вскользь сказал. Душа-парень, видно. Истый христианин. «Надо, говорит, ближним помогать. Мы, говорит, слава Богу, не тигры какие-нибудь». Добрейшей души старикан.

К беседовавшим друзьям подлетела, потирая руки, раскрасневшаяся от холода Манечка Белобородая.

— Едете? — сказала она, смотря на Зоофилова влюбленными глазами. И шепнула так, чтобы никто не слышал: — Не забудете? Не охладеете?

— Манечка! Что ты...

— Положим, охладеть вам трудно. В крайнем случае трупакинская шуба вас согреет.

— Тру... пак...?

— Ну да. Я совершенно, совершенно случайно узнала, что вы были такой умница и выпросили у него шубу.

— Откуда же вы узнали? — угрюмо спросил Зоофилов. — От Трупакина?

— Да нет же! Это мне сказала сегодня подруга по курсу. Не знаю, кто ей это сообщил. Милый Трупакин! Если бы он был здесь, я бы его за это расцеловала!

Пришел проводить Зоофилова и Трупакин. Он был в отчаянии, что опоздал и успел только к третьему звонку.

Поезд тронулся. Стоя на площадке, Зоофилов посылал друзьям воздушные поцелуи и слышал, как Трупакин говорил окружающим:

— Как, думаю, молодого человека отпустить в подбитом ветром пальтишке?.. Хе-хе. Дал шубу. Волчью. Хорошая еще шубенка. Пусть, думаю, погреется, бедовая голова. Слава Богу, не леопарды какие-нибудь. Человек не собака, и замерзать ему неподходящее дело.

Через час Зоофилов стал устраиваться на ночлег. Сквозь закрытую дверь купе он услышал разговор кондукторов:

— Куда ж его посадить, ежели все занято? На голову, что ли?!

— Куда, куда... Идиетская голова! Ну, посади его в то купе, в котором господин в трупакинской шубе едет. Невелика птица — подвинется.

III

Чебурахинск был городишко маленький, но собственную газету имел.

Устроитель концерта через пять минут после приезда Зоофилова доброжелательно подмигнул ему и, вынув из кармана «Чебурахинский голос», показал отчеркнутое место:

«Мы счастливы приветствовать известного пианиста Зоофилова, посетившего наш богоспасаемый город с целью дать концерт на пианино. Публика, конечно, подарит своей благосклонностью виртуоза, который приехал, даже невзирая на суровую температуру. Кстати, несколько черточек из жизни концертанта: рассказывают, что беззаботный артист собрался ехать в турне налегке, не имея теплого платья, и в самый последний момент положение было спасено другом талантливого артиста, Трупакиным, одолжившим ему волчью шубу. Только таким образом талантливый артист мог, как говорили древние, перейти через Рубикон»...

....

После концерта Зоофилов ужинал со своим импресарио и с поклонниками.

Было много выпито... пили за всех: за Зоофилова, за искусство, за поклонников, за Бетховена...

— Спасибо за теплый прием, — сказал, утирая слезу, Зоофилов.

— Нет, — сказал подвыпивший импресарио... — Давайте выпьем лучше за то, что согрело Зоофилова лучше нашего приема: за знаменитую трупакинскую шубу!

Зоофилов вскочил с места так порывисто, что опрокинул стул.

— Стойте! — закричал он. — Не могу больше!! Дайте мне татарина! Ради Бога! Где тут у вас татарин!

IV

— Алло! — сказал Трупакин, беря телефонную трубку. — Кто у телефона? Анна Спиридоновна? Мое почте-

ние! Что? Как? Да, плохо. Никак я не могу, старый дурак, разочароваться в людях. А они и пользуются этим... Сижу я теперь и думаю: стоит ли делать людям добро. Что? А случилось то, что я по своей доброте одолжил на недельку этому несчастному Зоофилову хорошую волчью шубу, а он... что бы вы думали, что он сделал? Ни более ни менее, что продал ее татарину, а деньги пропил со своими распутными друзьями... Стоит ли после этого... Что? Прощайте.

Трупакин повесил трубку и, печально опустив голову, вышел в прихожую.

— Я ухожу, Палашка... Вот, брат Палашка, отплатили мне, старому дураку, за мое доверие. Волчья-то шуба — ау! Не-ет! Видно, добро-то нынче не в цене... Не люди пошли, а тигры пошли, господа!..

Выйдя на улицу и усевшись на извозчика, Трупакин втянул в себя воздух и сказал:

— А морозец-то здоровый!

— Да... Подковыривает.

— Бедному-то человеку, который без шубы, круто.

— Это уж и разговору нет.

— Да только, брат, нынче не человек пошел, а леопард. Ходил тут ко мне музыкант один — и дай да дай ему волчью шубу! Холодно, вишь, ему было... Ну-с, дал я ему шубу, и что ж бы ты, брат извозчик, думал...

....

ПОСЛЕДНИЙ

I

Когда начинают восторгаться культурой, прогрессом и завоеванием техники, сердце мое сжимается от жалости к мирной несложной старине, ко всему поэтичному и уютному прошлому, которое безвозвратно кануло в вечность, и — главным образом — к тем большим, простодушным наивным детям, которые, под общим названием призраков, населяли старые заброшенные дома и замки, считали своим священным долгом пугать время от времени трусливых обитателей этих домов и делали это с такой примитивно-

стью и скупостью приемов, которая в наши дни вызвала бы только легкое пожатие плеч.

И эта бесхитростная жизнь вполне удовлетворяла старых консервативных призраков, которые считали, что ими выкинуто очень удачное коленце, если они, спрятавшись за портьерой или каким-нибудь шкафом, неожиданно выскакивали перед оторопевшим человеком и, сделав несколько размашистых жестов, таяли в воздухе.

Об этих подвигах долго потом рассказывалось как об остроумной, из ряда вон выходящей по замысловатости шутке, и тихий хриплый хохот часто нарушал тишину дальней заколоченной комнаты, в которой старый призрачный чудак докладывал товарищам о своих выдумках, изрядно при этом привирая.

Я хочу рассказать печальную историю одного из этих обломков старины, пережившего самого себя.

Однажды в старый дом, стоявший несколько десятков лет заколоченным, приехало семейство наследников владельца заколоченного дома.

Старый призрак, обитатель этого дома, совершенно опустившийся за время своего безделья и занимавшийся последнее время ловлей пауков и подмигиваньем из окна пробегавшим мимо дома трусливым мальчикам, теперь приободрился. Он обчистился от пыли и паутины, прорепетировал в старый осколок зеркала — может ли он еще сделать страшное лицо — и сказал сам себе:

— Надо не ударить лицом в грязь и придумать что-нибудь ужасное, от чего все бы содрогнулись... Явиться неожиданно, когда хозяин дома будет ложиться спать, — и взмахнуть руками... потом заскрипеть зубами, опрокинуть стул и убежать. Или нет... Лучше появляюсь неожиданно в гостиной, где они будут сидеть, засмеюсь, скажу: «А вы тут что делаете?» — и убегу!

И, строя эти планы, он, довольный, напевал себе под нос.

Бедный бесхитростный призрак не знал, что эти коленца уже сотни раз до него проделывались другими призраками, не отличаясь одно от другого никакой новизной и оригинальностью.

II

Утром, когда новоприбывшие члены семьи еще спали, старый призрак решил побродить по комнатам, предполагая осмотреться и изучить обстановку его будущих вечерних подвигов.

Стараясь не задеть дряхлыми ногами за мебель, старик прокрался в гостиную, остановился у незапертой двери и с любопытством огляделся. При жизни своей он никогда не видел роялей, и теперь, заметив в углу большой блестевший лаком предмет, старик задумчиво положил палец в глазную впадину, помолчал и потом кивнул головой:

— Гм... Кровать! Странно же устраиваются нынешние люди. Изволь-ка спать на такой вещи! Нет-с, Павел видывал кровати поуютнее. Ха-ха!

Он робко подошел ближе, увидел клавиши и изумленно уставился на них. Дрожащая от ветхости рука протянулась к одной из белых пластинок, но предмет сейчас же сердито загудел, и старый Павел в ужасе отскочил в сторону. Потом замаскировал свой испуг наглым смехом, сделав вид, что не боится, и сказал, желая приободрить себя:

— Подумаешь... Дотронуться нельзя! Пружина какая-нибудь.

На высокой подставке в другом углу стоял граммофон.

Павел тихонько отошел от рояля, подкрался к граммофону и заглянул в трубу. Бедный малокультурный мозг отказывался объяснить себе значение этой машины, и старый Павел долго осматривал ящик, пластинки в конвертах и трубу, пока не решил, что перед ним замысловатая кухонная принадлежность.

Холодные неуютные сумерки рассвета таяли в углах комнаты.

Скоро должно было взойти солнце, и старый Павел, относившийся к свету с брезгливым отвращением, болезненно щурил слабые глаза на обстановку гостиной, поражавшую его своей оригинальностью.

В стене торчал какой-то винтик... Размышляя о граммофоне, старик рассеянно дотронулся до винтика и повернул его. Во всех углах вспыхнул сильный свет, десятки огней загорелись на люстре, на стенах и у рояля. С криком ужаса старый Павел закрыл руками голову и, спотыкаясь о кресла, бросился вон из комнаты, вскарабкался кое-как по лест-

нице, которая вела на чердак, и, хрипло дыша, бросился на свою кровать из дюжины старинных книг, покрытых рваной портьерой.

Старое сердце бешено металось, ударяя о ребра, будто хотело выскочить из этой расшатанной непрочной клетки, а руки дрожали и впивались в изодранную портьеру, как в последнее прибежище, могущее хоть на минуту заслонить собой новое, чудодейственное, ужасное, чего никак не могла постичь скудная мысль старика.

Отдышавшись, он присел на связку книг и стал раздумывать.

Идея ночного появления перед жильцами дома потускнела в его мозгу, утратила так забавлявший его раньше характер экстравагантности, и он стал размышлять о ночном визите без всякого удовольствия, как о тяжелой, неприятной обязанности.

К вечеру старый Павел немного успокоился.

Часам к десяти разыскал в углу совиное крыло, служившее ему платяной щеткой, и принялся за приведение в порядок своего туалета.

— Так вот я и сделаю: засмеюсь, скрипну зубами и скажу им: «А вы что тут делаете?» Воображаю!..

И старый призрак залился беззвучным довольным смехом.

— «А, вы здесь? — скажу я им. — Что вы такое тут поделываете?!» Могу вообразить, что будет с ними! Только винтиков не надо трогать... Удивительные у них винтики.

Из гостиной слышалось пение какого-то романса.

Старик приостановился и притаил дыхание.

— Приют... Пойте, пойте, голубчики! — язвительно кивнул он головой. — Как-то вы сейчас запоете... хе-хе...

Подождав, когда певец взял самую высокую ноту, старик схватился за дверную ручку, распахнул обе половинки дверей и медленно, торжественно вошел в гостиную.

— Умру ли я, стрелой пронзенный... — заливался голос певца.

Сбитый с толку старик, опустив вздернутые торжественным и строгим жестом руки, осунулся и робко пошел на голос певца.

Перед ним стояла виденная им на рассвете труба, и из ее пасти тот же голос меланхолично мурлыкал: «Иль мимо пролетит она...»

Дико и страшно вскрикнул старый призрак.

Опять схватился он руками за голову и бросился вон из комнаты, стараясь не слышать ужасного певца.

Но старик не имел мужества бежать опять на свой чердак... После всего виденного чердак казался ему ненадежным убежищем.

В передней он заметил дверь, ведущую в сад.

Дрожащей рукой приоткрыл ее оторопевший старик и тихо выскользнул на холодный воздух.

Луна с усилием выкарабкивалась из-за туч...

С тихим шуршанием падали беспомощные листья и устилали дорожки...

Старик съежился, кашлянул и, прижимая руки к бьющемуся сердцу, тихо побрел по песчаной дорожке.

Будущее рисовалось ему полным безотрадности и разных ужасов... Мир сделался загадочным, непонятным; на каждом шагу чудились неожиданности и страхи... Теплое насиженное гнездо потеряло свою безопасность, и он вовсе не мог поручиться, что когда-нибудь, во время его сна на портьере, странная машина не вскарабкается по лестнице на чердак и не заорет ему над ухом какую-нибудь страшную песню.

В мире старик был совершенно одинок.

Раньше в этом доме обитали и другие призраки, но все они, благодаря ворчливости и неуживчивому характеру старого Павла, давно разбрелись по свету — кто куда.

Из каждой голой ветки дерева, из каждого куста смотрело на никому не нужного призрака — полное одиночество.

Бесцельно бродя по дорожкам, старик вспомнил, что во дни своей молодости он жил домовым при конюшне. Местечко было не ахти какое почетное, но жилось тепло, спокойно и чувствовалось так уютно около больших, спокойных, добрых лошадей...

— В конюшню... на старости лет... — скорбно усмехнулся призрак и заковылял к большому зданию, прилегавшему к другой стороне дома.

III

На пороге конюшни старик остановился, пораженный, недоумевающий: ни одной лошади не стояло в стойлах, да и сами стойла куда-то исчезли.

Пробираясь вдоль стены, старик наткнулся на что-то и едва не упал... Перед ним стоял большой блестящий автомобиль, распространяя незнакомый запах бензина и резиновых шин.

— Повозка... — прошептал призрак. — Что это они тут такое напутали... Крючки какие-то, трубки. Оригиналы!

Стремясь отдохнуть от всех передряг и прикорнуть поудобнее, старый Павел неуклюже влез на колесо и перешагнул на сиденье шофера. Одна нога запуталась в какой-то щели, старик потерял равновесие и испуганно схватился за сигнальную грушу.

Дикий рев раздался в сарае. Обезумев от страха, призрак бросил резиновую грушу, схватился за какой-то рычаг, и автомобиль, сердито запыхтев, двинулся по уклону вдоль стены.

Старик рванулся вбок, упал на деревянный пол и, растеряв несколько суставов пальцев на ноге, ринулся к выходу.

Он бежал по молчаливым дорожкам сада, и мысль будто оставила его старый мозг.

Бешеными скачками пожирал он пространство, несясь без цели, сам не зная куда — только бы быть подальше от этих труб, ревущих повозок, всего невероятного, что сводило с ума старого, отставшего от жизни беднягу.

Наконец, измученный, с сердцем, умирающим от усталости, он приостановился и задумался.

Старый Павел считал лучшим своим удовольствием напугать какого-нибудь человека, но теперь его потянуло к людям... Среди них он мог чувствовать себя не так одиноко, с людьми было бы не так страшно.

Робко повернул он к дому, вошел в дверь и остановился в нерешительности...

Из кабинета доносился детский смех, веселые крики и хлопанье в ладоши.

— Это, пожалуй, не труба... — колеблясь, сказал старик. — Зайти разве...

Он уже не думал о том, чтобы напугать кого-нибудь. В нем зрела и укреплялась другая мысль, которая только и могла родиться в старом глупом мозгу выбитого из колеи призрака.

— Войду к ним, стану на колени и заплачу. «Милостивые государи, — скажу я им, — извините меня, что я хотел вас напугать! Пожалейте меня старого, которому негде головы преклонить. Приютите меня и не пугайте меня...»

Эта тирада казалась ему удивительно трогательной и убедительной. Он тихонько приоткрыл дверь и вошел в обширный кабинет.

Вся семья сидела к нему спиной, вперив взоры в противоположную стену.

На небольшом полотне незатейливого домашнего синематографа, демонстрируемого отцом семейства, ходили какие-то люди, размахивая руками и шевеля губами. Внезапно они исчезли и на полотне появилось худое неуклюжее привидение, нелепые прыжки которого вызвали взрыв веселого хохота...

Кто-то позади скрипнул зубами, хлопнул в ладоши и тоже захохотал.

Ветхая перегородка в мозгу призрака, отделявшая разум от безумия, не выдержала напряжения и лопнула.

Старый мозг окатило волной безумия, и сразу все страхи куда-то исчезли.

IV

Мурлыча под нос мотив из граммофона и пощелкивая сухими пальцами, старик взобрался на чердак, закутался в портьеру, сел в углу и принялся хохотать, раскачиваясь и поскрипывая остатками зубов.

Утром в том углу, где он сидел, осталась только скомканная портьера да одна торчащая из нее рука, которая время от времени сухо пощелкивала двумя желтыми пальцами.

А потом и она исчезла.

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ

I

Сидя в углу общей залы маленького ресторана, я впервые обратил внимание на этих двух дам.

Обе они были средних лет, но еще довольно моложавы. В отношениях их друг к другу сквозила та специфическая женская дружба, которую ничто не может нарушить, за исключением новой выкройки на капот или красивого любовника.

Дамы мирно болтали, доедая какую-то зелень, потом потребовали кофе, а когда потребовали кофе — одна из них, брюнетка, сказала:

— Я бы выпила ликеру — маленькую-премаленькую рюмочку.

— Ах! И я бы. Человек! Дайте нам ликеру.

— Какого прикажете?

— Да все равно. Какого-нибудь!

Слуга побежал в буфет, принес бутылку бенедиктина, две рюмки, поставил...

— Да не этого! — поморщилась дама. — Это такая дрянь — сургучом пахнет.

— Какого прикажете?

— Он такой, красный...

— Абрикотин-с? Сейчас.

Когда появился абрикотин, блондинка спросила:

— Почем у вас рюмка этого?

— Сорок копеек.

— Боже! Вот дерут! А вся бутылочка сколько стоит?

— Три рубля.

— А сколько здесь рюмок, в ней?

— Рюмок пятнадцать.

— Но ведь это же, милый мой, бессмыслица! Пятнадцать рюмок, деленное на три рубля, — это пятачок рюмка?!

— Двадцать! — подсказал я со своего места.

Брюнетка обернулась ко мне, сердито сверкнула глазами и сказала слуге вполголоса:

— Почему этот молодой человек заговаривает с порядочными женщинами?

— Я не заговариваю, — возразил я. — Математика — точная наука, и есть такие высшие истины, которые можно защищать везде, даже в ресторане, даже с незнакомыми. Я утверждаю: три рубля, деленные на пятнадцать рюмок, дают стоимость рюмки в двадцать копеек. А не пятачок!

Брюнетка подумала немного, потом кивнула головой, сказала «спасибо!» и опять обернулась к слуге:

— Значит, за пятнадцать рюмок мы платим три рубля, а за две — восемь гривен?

— Так точно.

Дамы переглянулись, и в глазах их сверкнула одна и та же мысль:

— Если мы выпьем всю бутылочку — мы выгадаем на этом.

— Хорошо, — кивнули головой обе. — Оставьте нам бутылку.

Они прилежно принялись пить и, конечно, выпили только семь рюмок — брюнетка четыре, блондинка три.

— Ох! У меня уже голова закружилась... я не могу больше.

— Да и мне, я чувствую, довольно.

— Знаете что? Мне кажется, что было бы гораздо выгоднее брать рюмками: смотрите, осталась еще половина, а мы должны заплатить три рубля полностью.

— А знаете что? Давайте посчитаем по рюмкам, а остальное пусть он возьмет.

— Ах, и верно. Мы выпили семь рюмок... по сорок копеек... Боже! Выходит три рубля восемьдесят!!.

Я нервно подсказал из своего угла:

— Два рубля восемьдесят!!.

— Ах, опять он заговаривает! Мерси. Значит, два рубля восемьдесят. Что же мы выгадываем? Всего двугривенный?!.

— Да... — сердито сказала блондинка. — Мы оставим им половину бутылки прекрасного ликера за двугривенный!

— Ах! — с сожалением прошептала брюнетка. — Если бы мы могли по рюмочке, по две выпить... Но я не в силах больше!..

— И я.

— Оставьте на текущий счет, — посоветовал я.

— Ах, опять он!.. Что это такое: текущий счет?

— Слуга может на ярлыке бутылки записать ваше имя и отдать остаток ликера в буфет. Там спрячут, а когда вы придете еще раз, можете бесплатно допить.

— Но мы больше не придем в этот скверный кабак! Мы совершенно случайно...

— Таня! Вы как будто перед ним оправдываетесь, — пробормотала брюнетка. — Ведь он же нам незнаком!..

Я откинулся на спинку стула и стал равнодушно рассматривать потолок.

— А знаешь что? Давай эту половину дадим лакею вместо на чай!

— Гм... Тут на полтора рубля... Не много ли?

Порешив на этом, расплатились и ушли.

Вслед за ними вышел и я.

В передней мы снова встретились.

— Мои галоши! — сказала брюнетка, протягивая швейцару ногу. Потеряла равновесие, замахала руками и чуть не упала — я вовремя поддержал ее.

— Вы еще чего тут?!.. — сердито проворчала она. — Прямо-таки нельзя никуда показаться. Хватаются...

В углу стоял аппарат для взвешивания. Внизу маленькая площадка, вверху циферблат с цифрами и отверстие: «Прошу опустить пять копеек».

Аппарат приковал внимание блондинки.

— Ах, смотрите... Весы! Я хочу вешаться.

— И я. Что нужно сделать?

— Стать на площадку и опустить пятачок, — сказал швейцар.

— Так просто? Танечка, давайте вместе свесимся. Это интересно.

— Почему же вместе? Можно отдельно, — нерешительно сказала блондинка.

— Ах, но вдвоем дешевле... То гривенник, а то пятачок!

Подруги встали на площадку, дружески обнялись для большей устойчивости и опустили в отверстие пятак. Стрелка заколебалась и остановилась на:

— 9 пудов 20 фунтов.

— Ой! Смотри-ка... Наверное, оно испортилось.

— Весы правильны, — опять ввязался я. — Но они показали ваш общий вес.

Брюнетка призадумалась и спросила:

— А как же мы теперь разделимся?

— Да ничего, — успокоила ее блондинка (она была немного выше ростом и гораздо полнее брюнетки). — Будем знать, что в нас двух 9 пудов 20 фунтов. И больше ничего не надо.

— Да зачем нам это?

— Ну, разделим пополам. Сколько будет 9 пудов 20 фунтов на два? — обратилась она ко мне как к специалисту, уже зарекомендовавшему себя в математике.

— Нет, зачем же пополам?! — перебила брюнетка. — Ведь во мне меньший вес. Вы гораздо полнее и солиднее. Будем считать приблизительно так: во мне четыре пуда, а в вас остальное.

Блондинка погрузилась в расчеты.

— Сколько? — спросила она меня.

— Вам остается 5 пудов 20 фунтов.

— Вот новости!!. С какой стати? Вы бы еще на меня все 9 пудов навалили.

Я сказал:

— Вам не нужно было экономить пятачок... Вам нужно было взвешиваться отдельно.

— Ну, взвесимся отдельно.

— Вам двум теперь не нужно. Пусть взвесится одна. То, что получится, вычтем из общего веса — и остаток придется на долю другой.

— Опять он разговаривает!!. Ну, хорошо...

Брюнетка со вздохом вынула еще пятачок и встала на площадку.

— 4 пуда 15 фунтов! — воскликнул я, взглянув на циферблат.

— Ага! — сказала блондинка торжествующе. — Значит, у меня 4 пуда 5 фунтов.

— Не четыре-пять, а пять и пять, — поправил я.

— А-а-а? Вы с ума сошли. Никогда у меня такого веса не было!!. Откуда вы его взяли?

— Очень просто. Обе вы весите 9 пудов 20. Ваша подруга 4–15. Значит, на вас приходится остаток 5 пудов 5 фунтов.

— Этого не может быть! Я сама свесюсь.

— Вот видите, — с упреком возразил я. — Раньше вы обе хотели обойтись одним пятачком, а теперь это будет стоить пятнадцать копеек.

— Все равно! Вот еще! С какой стати — пять пудов?

Она вынула пятак и робко вступила на площадку.

— Одной ногой нельзя, — предупредил я. — Нужно совсем стать.

— Отстаньте.

Пятак провалился, стрелка заколебалась и показала:

— 5 пудов и 5 фунтов.

Блондинка сердито соскочила с площадки и крикнула:

— На мне тяжелое платье!! И потом — после сытного обеда!!!

Она была такая жалкая, что я решил помочь ей.

— Давайте, сударыня, вычтем это лишнее. Ну, сколько весит платье, корсет, ботинки?

— Сколько?.. Фунтов... пятнадцать.

— Мало! Кладите двадцать. Обед — десять фунтов... Довольно? Ликер — ну, этого пустяки: три фунта. Выходит? Тридцать восемь фунтов. Вычтем. Получается всего нетто: три пуда сорок восемь фунтов!

— Ага! — торжествующе сказала блондинка. — Я говорила!!

Она подхватила под руку взволнованную, сбитую с толку брюнетку и поспешно вышла, бросив на меня ласковый, полный теплоты и симпатии взгляд...

МЕДИЦИНА

За утренним чаем Ната Корзухина посмотрела внимательно и беспокойно на мужа, провела рукой по его голове и спросила:

— Почему ты такой желтый?

Корзухин удивился:

— Желтый? Почему бы мне быть желтым?

— Я не знаю. Только очень желтый. Мне не нравится твой цвет.

— Хорошо, — пообещал Корзухин. — Постараюсь, чтобы этого больше не было!

Корзухин поднялся и ушел на службу.

Через два дня утром жена опять сказала с беспокойством:

— Знаешь — ты опять желтый... Даже какой-то синеватый. А виски коричневые.

Корзухин испугался:

— Что ты говоришь?! О, черт возьми... Вот история...

— Тебе, вероятно, нельзя пить. Обратись к доктору.

— Все доктора мошенники.

— Уж и все! Иногда попадаются и не мошенники. Хочешь, я приглашу своего доктора, у которого я зимой лечилась? Очень хороший. Я напишу ему записку, и он сегодня после обеда заедет.

— Неужели я такой... желтый и синий?

— Ужас! Ужас! Прямо какой-то зеленый.

— Я смотрел нынче в зеркало. Как будто ничего.

— Так... — печально сказала жена. — Значит, жена врет, а зеркало не врет? Зеркало, значит, лучше? Почему же ты,

в таком случае, не устроишься так, чтобы оно варило тебе по утрам кофе, заказывало обед, целовало тебя и ездило с тобой в театры...

— Зови доктора!

После обеда приехал доктор.

— Здравствуйте, Наталья Павловна. Я получил вашу записку и сейчас осмотрю вашего мужа.

Осмотр продолжался недолго. Доктор выстукал Корзухина, осмотрел его язык и убежденно сказал:

— Вам нельзя пить! Это для вас смерть.

— Что вы говорите? — побледнел мнительный Корзухин. — Что же я тогда буду делать?

— Что вы обыкновенно пьете?

— Немного водки, шампанское, ликеры...

— Вот водки вам и нельзя. И шампанского вам нельзя и ликеров.

— Стоит ли жить после этого?

— Стоит. Нужно только заниматься больше духовными запросами.

— Займусь, — с искаженным страхом лицом пообещал Корзухин.

* * *

— Ты кашлял во сне. Знаешь ли ты это?

— Нет, я спал.

— Ты кашлял. Я тебя уверяю — ты кашлял, а не спал.

— Почему же я сам этого не заметил?

— Очень просто: потому что ты спал. Тебе, вероятно, вредно куренье... Я уже давно косо посматривала на твои ужасные сигары. Сегодня позовем моего доктора — пусть он осмотрит тебя.

— Странно... Вчера только в департаменте мне говорили: как вы поздоровели!

— Да? Так если тебе говорят в департаменте такие приятные вещи — ты взял бы и поселился там, вместо того чтобы приходить сюда. Конечно, человек ищет где глубже, а рыба... тоже ищет этого самого... как это говорится: как рыба об лед. Я бьюсь как рыба об лед, измучилась, беспокоясь о тебе...

— Зови доктора. Зови доктора!

Приехал доктор и опять осмотрел Корзухина... Ната оказалась права. Доктор, даже не досмотрев голого Корзухина, всплеснул руками и сказал:

— Ой-ой! Вам нужно бросить курить... А то выйдет очень неприятная штука.

— Что же вы называете неприятной штукой?

Доктор поднял палец вверх.

— Туда пойдете.

— Вы, вероятно, хотите сказать, — со слабой надеждой в голосе прошептал Корзухин, — что куренье сигар расшатает мой бюджет, и мне придется перебраться этажом выше?

— Я говорю о смерти, — веско сказал доктор.

Корзухин сжал губы в мучительную гримасу, подошел к столу, схватил ящик с сигарами и решительно бросил его в огонь камина.

— Молодцом! — сказал доктор. — Зуб нужно вырывать сразу.

— И зуб? — пролепетал Корзухин. — И зуб... нужно?

— Нет, зуб пока не нужно. Это я так.

* * *

Через неделю доктор опять был у Корзухиных.

— Наталья Павловна телефонировала мне, что вы ночью бредили...

— Ей-Богу не бредил. Чего мне бредить?

— А вот мы посмотрим. Разденьтесь... Те-те-те... Батенька! Да у вас скверная вещь: я бы за ваши нервы ни копейки не дал.

Корзухин и не думал вступать с доктором в какую-нибудь коммерческую сделку, но все же встревожился.

— Что же мне делать? Ради Бога...

— Поздно ложитесь?

— Часа в три, в четыре. Бываю в клубе.

— Он, доктор, в карты играет, — пожаловалась Ната.

— Что вы говорите?! Это самоубийство! Вы хотите сохранить остатки вашего здоровья?

— Хочу!

— Клуб к черту. Карты к дьяволу. Сон — в двенадцать часов ночи. Перед сном обтиранье холодной водой.

— Хорошо... — скорбно сказал Корзухин. — Оботрусь.

* * *

...Доктор долго мял, тискал и выстукивал Корзухина.

Он бил Корзухина кулаком по спине и спрашивал:

— Больно?

— Конечно, больно.

— А тут?

— Ой!

— Нервы, нервы и нервы. Нужно их успокоить. Вы музыку любите?

— Не выше оперетки.

— Нет, это не подходит. Вам нужно ходить на что-нибудь серьезное, действительно художественное. Гм... Вот что! На днях начинается серия вагнеровских опер. Достаньте абонемент.

— Как кстати! — воскликнула, всплеснув руками, Ната. — Мои знакомые как раз хотят уступить кому-нибудь абонемент. И мы вдвоем будем ходить... Вагнер — такая прелесть!

— Осмотрите меня внимательно, — заискивающе попросил Корзухин. — Может быть, найдете что-нибудь полегче, чем можно было бы заменить Вагнера. Обыкновенную оперу, что ли... Или цирк...

Доктор ударил Корзухина кулаком под ложечку и спросил:

— Больно?

— Еще как!

— Ну вот видите — лучше Вагнера не придумаешь... Чудак человек... Говорит — цирк. Это все равно что больному ревматизмом давать пилюли от кашля. Медицина, батенька, такая вещь, что гм... гм!

Доктор сделался домашним врачом Корзухина.

Однажды он осмотрел его, ощупал и сказал со вздохом:

— На этот раз — дело серьезное.

— Говорите — не мучайте меня — что такое? — скривился Корзухин.

— Мотор!

— Неужели есть такая болезнь? Вероятно, психо-мотор?

— Нет, просто мотор. Вам нельзя пользоваться извозчиком — никаких сотрясений! Слышите? Грудо-брюшная преграда не в порядке. Нужен мотор!

— Послушайте! — сказал Корзухин. — Вы доктор? Так. Вы осматриваете пациента?.. Так, прекрасно. Он, предположим, болен. Хорошо. Вы садитесь и пишете ему рецепт. Существует правило, по которому с рецептом ходят в аптеку. Но я никогда не слышал, чтобы с рецептом бежали в автомобильный гараж!!

— Вы забываете о физическом методе лечения, — сухо сказал доктор.

— Это что за музыка?

— Механотерапия.

— Странно... — обиженно улыбнулся Корзухин. — У меня, может быть, и всей-то грудо-брюшной преграды на дешевенький велосипед наберется, а вы — целый автомобиль прописываете.

Доктор нахмурился.

— Я не гомеопат. Не нравится — можете обратиться к гомеопату. Он вам может даже швейную машину прописать. Пожалуйста!

И ушел, гулко хлопнув дверью в передней.

— Можно подержанный, — робко сказала жена.

* * *

Это было однажды осенью.

Корзухин лег после обеда спать, но ему не спалось: грезились разные болезни, эпидемии и несчастья. Он встал, оделся и, печальный, расстроенный, побрел к жене.

В дверях ее комнаты, перед портьерой, приостановился, услышав голоса. Прищурился... Потом опустился на стул у окна и стал слушать. Разговаривали двое:

— Вы должны, доктор, это сделать!

— Ни за что! Вы сами не знаете, чего просите... Нужно же знать меру.

— Я и знаю меру. Но мне необходимо иметь зеленую гостиную! Слышите? Вы должны это устроить. Наша старая красная опротивела мне до тошноты.

— Вы говорите вздор. Как я это сделаю?!

— Ваше дело. На то вы доктор.

— Это скорей дело обойщика.

— Придумайте что-нибудь! Скажите, что красный цвет ему вреден, а что зеленый там что-нибудь такое... увеличивает кровообращение, что ли. Или расширяет сосуды.

— Вздор! Зачем ему расширение сосудов?

— Скажите просто, что ему вредна красная гостиная.

— Да он ведь там никогда и не бывает.

— А вы найдите такую болезнь, чтобы ему нужно было сидеть в гостиной, намекните на кубический объем воздуха, а потом скажите, что такой красный цвет в гостиной ему вреден.

— Наталья Павловна... Это черт знает что!.. Он уже на автомобиле чуть не поймал меня. Если он догадается — подумайте, что будет... Я понимаю мои первые опыты — они хоть что-нибудь имели под собою... Хоть какую-нибудь почву... Конечно, куренье вредно, напитки вредны, картежная игра вредна... Но Вагнер — это безобразие, автомобиль — это наглость. У вас нет ни такта, ни логики.

— Ну, хорошо. Устройте мне последнее — красную гостиную — и ладно. Больше ни о чем не попрошу.

— Даете слово?

— Да-ю! Честное слово!!

— Ну, в последний раз. Господи благослови... . . . .

. . . .

Доктор и Ната отправились в спальню на поиски Корзухина, но Корзухина там не нашли.

Отыскали его в красной гостиной. Он сидел на красном диване, тянул из горлышка бутылки коньяк и курил чудовищную сигару.

— А, доктор! — сказал он, подмигнув. — Здравствуйте! Не находите ли вы, что красный цвет гостиной мебели дурно влияет на меня? Кубический объем, как говорится, не тот. Хе-хе... Продается хороший автомобиль, дети мои! Срочно нужны деньги за выездом в клуб, и если я, черт побери, не заложу сегодня хорошего банчишки — потащите меня опять на Вагнера. Ха-ха! Дорогой врач! Ломаются нынче все преграды, в том числе и ваша грудо-брюшная, если вы не покинете немедленно одр тяжело больного Корзухина. Неужели мы никогда с вами, доктор, не увидимся? Ну что ж делать... Я с этим совершенно примирился. Пошел вон!

МОТЫЛЬКИ НА СВЕЧКЕ

Опыт руководства для начинающих миллионеров

... Когда разговор перешел на театральные дела, Новакович, который всюду и везде хотел быть первым, хотел быть самым неожиданным, самым ошеломляющим, — этот Новакович заявил:

— Что там ваши театральные дела!.. Что там ваши крахи!.. Вот я был свидетелем одного театрального дела и одного театрального краха... Дело продолжалось всего месяц и стоило три миллиона рублей!!! Вы все знаете, что я не люблю лгать, не люблю преувеличивать...

— Я не знаю... — заявил какой-то добросовестный слушатель.

— Пора бы знать, — сухо осадил его Новакович. — Знание облагораживает, а незнание приближает к животному...

— Где это было? — спросил другой слушатель.

— Это? Это было в городе Тиктакполе — если хотите, можете найти его на карте. Он там, наверное, есть.

— Ну не тяните, рассказывайте.

— То-то вот... «Рассказывайте»! Вам бы только все рассказывать да рассказывать.

Очень развязный человек был Новакович.

РАССКАЗ НОВАКОВИЧА ОБ АКТРИСЕ ЗЕЛЕНОЙ

В уже известном вам городе Тиктакполе была молодая барышня по имени Зеленая.

Ничем она особенным не отличалась, и Тиктакполь не обращал на нее никакого внимания.

Однажды она получила из Сан-Франциско телеграмму: «Ваш родственник скончался, оставил вам по завещанию свыше трех миллионов рублей».

С этого началось.

Когда я ее впервые поздравил с богатством и спросил, что же она теперь будет делать, эта Зеленая мне ответила:

— Буду актрисой!

— Как актрисой? Почему актрисой? Откуда актрисой?!.

— Так. Хочу быть актрисой. Всю жизнь мечтала об этом.

— Почему же вы раньше этого не сделали? Ведь для актерства деньги не нужны.

— Вы думаете? Я пробовала несколько раз поступить на сцену, но меня не брали.

— Почему?

— Интриги.

— Какие интриги? С чьей стороны? Ведь вас же еще никто не знал, чтобы интриговать против вас!!. Кто интриговал?!

— Не знаю кто, но интриговали. Иначе почему бы меня не приняли на сцену? Не правда ли?

У нее было такое простодушное выражение лица, что я ничего не возразил. Промолчал...

— Слушайте, — сказала она мне. — Вы — один из самых порядочных и опытных людей... Устройте мне театр. Денег, сколько понадобится, я дам.

Я никогда ни в чем не могу отказать женщине. Такова моя жизнь.

— Хорошо, — согласился я.

— Театр мы построим новый, потому что существующие меня не удовлетворяют. Для моего таланта нужна оправа.

По-моему, для ее таланта нужна была единственная оправа — вымазать ее дегтем, обвалять в перьях и выгнать из города.

У нас в России не все свободы отняты у народа. Осталась еще одна свобода — произношения.

Поэтому Зеленая, не отвечая ни перед Богом, ни перед людьми, свободно произносила:

— Корокора.

— Какая корокора? — спрашивали мы у нее.

— Корокора. Которые звонят на корокорне.

Человеку, который, пронюхав о ее богатстве, хотел предложить ей руку и сердце, она ответила:

— Я не могу вас порюбить.

— И не надо, — обрадовался он. — За что меня рубить? Со мной ласково нужно...

— Не то. Я хочу быть актрисой!

Так как в последней фразе не было ни одного «л», жених сразу понял ее и отплыл в другую гавань.

Когда мы выстроили театр, я пригласил режиссера и стал набирать труппу.

Режиссер сказал, что он хочет получить такое жалованье:

— 4000 в месяц.

— Опомнитесь! — завопил я. — Почему?

— За позор, милый. Ведь я эту Зеленую знаю — она несколько раз приходила к нам в театр. Если уж мне теперь позориться, так знать за что!..

То же самое заявили и первые персонажи.

— Ну что ж, — говорили они, — по семи тысяч в месяц дадите — пойдем. Годик помучаемся, пострадаем, зато потом вздохнем свободно: уедем отсюда, купим на эти проклятые деньги где-нибудь в глуши домик и будем себе доживать век под чужой фамилией. Чтобы не так стыдно было...

А простак десять тысяч взял.

— Не забывайте, — говорит, — что я с самим Росси играл, с Поссартом! Каково мне теперь?!

Дали.

За пьесой обратились к известному, модному автору, произведения которого вызывали всеобщий заслуженный восторг.

— Не дам, — сказал он, узнав, в чем дело.

— Мы хорошо заплатим... Десять тысяч за право постановки...

— Не могу... мое имя, мое авторское самолюбие...

— Пятнадцать тысяч!!.

— Право, не могу, мое имя, мое авторское самолю...

— Двадцать!!.

— Но мое имя, мое само...

— Сорок тысяч!..

— Но... само...

— Пятьдесят!..

— Само... собой разумеется, что я пьесу дам. Я уверен, что оригинальная трактовка госпожой Зеленой моей пьесы придаст ей своеобразный колорит.

— Верно, — сказал я. — Колорит. Придаст. Зеленый колорит. Получайте чек.

Знаменитый художник-декоратор принял меня на площадке лестницы.

— А меня дома нет, — с сожалением сообщил он.

— Десять тысяч, — сказал я.

— Десять? Зайдите в переднюю.

— Собственно даже не десять, а двадцать, — поправился я.

— Что ж мы тут стоим... Пожалуйте в гостиную. Вы, кажется, сказали — тридцать тысяч? Простите, но я лишен возможности.

— Я сказал — сорок тысяч!

— Тогда я не лишен возможности. Пойдемте в мою святая святых — в мастерскую. Посмотрите кое-что новенькое...

Задолго до спектакля во всех тиктакпольских газетах были заняты первые страницы объявлениями о нашем театре. На первый спектакль билеты были проданы все, на второй спектакль двадцать два билета, а на третий — один.

Спектакль состоялся.

Только теперь я понял, как умно поступила Зеленая, выстроив новый театр. Потому что в старом театре стены и потолок не выдержали бы той бури, того свирепого урагана негодования, свиста и рева разъяренной публики.

Три дня после премьеры газеты трепали нас, как компания меделянских щенков треплет дохлую крысу...

На второй день было 22 человека, на третий — один.

Отчасти это было хорошо, потому что и шуму было меньше.

А на третий день единственный зритель, который сидел во втором ряду, вышел среди действия в проход между стульями, стал на колени и заплакал:

— Позвольте мне уйти домой, — сказал он, простирая к капельдинерам руки. — Ей-Богу, я приду завтра, досмотрю.

Его отпустили на честное слово. Очевидно, это был отъявленный негодяй, потому что слова своего он не сдержал.

Спектакль приостановили.

Зеленая пригласила меня в свою блистающую роскошью уборную и, сверкая глазами, спросила:

— Ну, что? Теперь вы убедились?

— Что такое?

— Интриги.

— Гм!.. Да.

— Во-первых, интриги, а во-вторых, вы не умеете привлечь публику. Реклама плохая.

— Реклама хорошая, — угрюмо возразил я.

— Реклама плохая. Почему же тогда публика не ходит? Почему? Если бы была реклама хорошая, публика бы ходила... Послушайте! Ведь я же денег не жалею. Делайте что хотите, но чтобы публика была...

— Слушаю-с.

На другой день я сдал во все тиктакпольские газеты объявление:

«Ищут приличных молодых людей и дам для вечерних занятий. Работа требует известного напряжения, терпения, но условия оплаты блестящие. За время от 8 часов вечера до 12 часов ночи каждое поступившее к нам на службу лицо получит пять рублей».

На другой день сбор был почти полный.

Но публика была неопытная. По своей добросовестности все хлопали без разбора и в смешных местах пьесы утирали глаза платками.

Я пригласил тогда режиссера для всей этой неорганизованной банды и нанял студию для обучения «зрительскому» искусству.

Некоторые сделали блестящие успехи и выдвинулись на первые места. Им жалованья прибавили.

Но костюмерная часть страдала — пришлось устроить мастерскую дамского и мужского платья. Теперь театр выглядел нарядно, красиво, всегда был переполнен и жизнь наша потекла спокойно и приятно, если не считать двух больших забастовок зрителей с предъявлением ими требований: вежливого обращения со стороны капельдинеров, отмены биноклей и перемены пьесы на другую, новую. Тяжелые условия труда были до известной степени смягчены, и зрители успокоились.

Но однажды Зеленая пригласила меня к себе в уборную и спросила с неудовольствием:

— Кажется, и сборы теперь хорошие, и успех налицо, почему же газеты о нас молчат?

— Я не знаю, почему, — осторожно заметил я.

— Вы не знаете?! Да! Недаром говорят, что театральный и газетный мир — это зловонное гнездо интриг. Послушайте, Новакович... Нам нужна газета!

— Но...

— Нам нужна газета и, кроме того, еще журнал. Будем выпускать в красках, помещать все постановки, костюмы. Ступайте, устраивайте.

Пошел я. Устроил.

Первые номера, когда «вышли в свет», то тут же и легли камнем, как полусырой блин в желудке катарального.

Зеленая позвала меня в свою роскошную уборную и спросила:

— Что же это я нигде и ни у кого не вижу нашей газеты? Почему ее не читают? Ведь ко мне в театральном отделе

отнеслись очень мило. Единственная добросовестная газета, и она никому не известна.

— Слушаю-с, — сказал я и, поцеловав у нее ручку, ушел.

Но когда я пришел домой и высчитал, что организация газетных читателей будет стоить около двухсот тысяч рублей (наши зрители категорически отказались взять на себя еще одну тяжелую работу), тогда я понял, что кампания проиграна... На текущем счету у нас оставалось около 50 тысяч рублей, а зрителям за последние полмесяца еще не было заплачено. Да давильщики, обязанность которых была устраивать давку около кассы, только вчера потребовали улучшения своего положения, устройства эмеритурной кассы и пенсионного фонда.

А сзади стояла еще целая голодная, жаждущая армия: гастролеры-истерички для истеричных мест в пьесе, встречальщики у актерского подъезда, «рикши», выпрягавшие лошадей и доставлявшие Зеленую домой после спектакля...

Я пришел к Зеленой, сложил на груди руки и сказал:

— Кончено.

— Что?!

— Денег больше нет.

Через минуту я уже бежал по городу, изрыгая проклятия и хватая сам себя за голову...

....

— Почему? — спросил Новаковича один из слушателей.

— Почему? — прищурился он. — Потому что она мне ответила: «Пусть нет денег, но зато есть успех! Мои полные сборы меня поддержат!!»

— Бедная Зеленая! — вздохнул кто-то.

— Да, — подтвердил другой задумчиво. — Бедная... А ведь была богатая...

ДЬЯВОЛЬСКИЕ КОЗНИ

I

Саксаулова удивило: с молодым человеком Чипулиным он был очень мало знаком, и тем не менее Чипулин, встретив мужа и жену Саксауловых на вокзале, закричал от радости,

завертелся и, поцеловав дважды ручку госпожи Саксауловой, признался, что никогда ему не выпадала на долю более приятная встреча.

— Здравствуйте, здравствуйте, — сказал Саксаулов.

— Вот-то смешно! Приехал на вокзал и вдруг встречаю — кого же? Вас. Прямо кому-нибудь расскажи — не поверит... Изволите куда-нибудь ехать?

— Да, я еду... а она провожает.

— Едете, вероятно, для приятного удовольствия?

— Какое! Тетка сильно заболела... в Рязани. Так вот, надо проведать.

Чипулин побледнел и хватился рукой за сердце.

— Что вы го-во-ри-те! Заболела?! Да чем же, Господи! Вот-то несчастье!

— Да она старуха. Чего ж ей и не поболеть?..

— Ах, уж эти болезни... Ну, ничего. Мужайтесь! Может быть, все обойдется.

Тем не менее сам Чипулин долго не мог успокоиться. Он качал головой, соболезнующе почмокивал губами и весь вид его являл собою тревогу и скорбь о рязанской тетке Саксаулова.

— Вы взяли билет? Позвольте, я возьму. Чего вам самим-то хлопотать.

— Да билет есть. Пойдем на перрон. Семь минут до отхода.

Хорошенькая, черноглазая Саксаулова, опустив голову, в задумчивости пошла за мужем. Чипулин, идя рядом с ней, спросил:

— Вот-то, я думаю, вам тоже тяжело расставаться с Петром Сергеичем... Такая, право, неприятность.

— Ну он ведь через два-три дня вернется.

— Оно-то, конечно, три дня, а все-таки признайтесь: ведь даже на три дня тяжело расставаться, а?

— Да, тяжело...

— Я понимаю вас. Ей-Богу. Но как смешно: приехал и вдруг встречаю вас. Вы разрешите мне потом проводить вас домой?

— Нет, помилуйте. Зачем же вас затруднять. Я сама...

— О, что вы! Теперь время вечернее... Я никогда не допущу! Не правда ли, Петр Сергеич?

— Отчего же... Я вам буду очень благодарен, если вы ее довезете.

— Милый! Но мне прямо-таки неудобно пользоваться временем мосье Чипулина...

Чипулин страдальчески прижал руки к груди и простонал:

— О, ради Бога! Ну, ради Бога, не думайте обо мне. Это — обязанность каждого порядочного знакомого проводить домой знакомую.

Прозвонил второй звонок.

Саксаулов поцеловал жену, пожал руку Чипулину, но Чипулин обнял и его поцеловал.

— От всего сердца, — торжественно сказал он, — от всего сердца желаю, чтобы ваша добрая тетушка очутилась в приличном здоровье и благополучии. Ура!

— Спасибо, спасибо! Прощайте.

Чипулин побежал за тронувшимся поездом. Он махал платком, советовал не открывать окон в вагоне, настаивал на благополучном возвращении, а когда поезд удрал от него — вернулся к Саксауловой.

Лицо его носило признаки тихой меланхолической грусти, которая, как заходящее солнце на верхушках деревьев, гаснет не сразу, а постепенно, передвигаясь от горькой складки у рта к затуманенным глазам, и умирает наконец на поморщенном челе.

— Как всегда ужасно расставанье и как радостна встреча. Не правда ли? Мой совет таков: думайте о том, что три дня не вечность, — и вам будет легче.

— Да, да, — сказала, кивая головой, Саксаулова. — Ну, прощайте.

— Ни-ни! Ни-ни-ни! Я должен проводить вас.

— Да зачем же? Я возьму извозчика и поеду одна.

— Ольга Захаровна! Но ведь нам по дороге... И подумайте, что скажут, когда узнают, что я, как какая-нибудь свинья, бросил даму на вокзале, а сам удрал. Ведь это простой долг вежливости. Я знаю, вы из деликатности отказываетесь.

— Вовсе нет! Я поеду одна. Мне еще нужно дать телеграмму.

— О, Боже! Да ведь здесь же есть телеграф! Пойдемте! Я провожу вас. Вы напишете телеграмму, а я подам ее. Честное слово, я не буду в нее заглядывать.

Сжав губы, Саксаулова последовала за Чипулиным, подошла к конторке и, потоптавшись немного, написала:

«Москва. Пречистенка. Гарданову для Лидочки. Ну, как поживаешь? У нас все время дожди. Оля».

Чипулин взял телеграмму и понес ее на отлете, подчеркивая этим, что он не позволит себе даже случайно заглянуть в нее.

— Сдал! Теперь — вы баиньки? Я довезу вас до самого дома.

Саксаулова посмотрела на него с невыразимым страданием и мукой.

— Чипулин! Я должна одна поехать домой.

— Ольга Захаровна! К чему эти деликатности? Ради Бога, не стесняйтесь.

Саксаулова беспомощно посмотрела на потолок, постучала концом зонтика об пол и вдруг сказала:

— Знайте же, надоедливый человек, что меня здесь ожидает Волк-Демьянский и мы поедем не домой, а в ресторан. Довольно с вас?

— Иван Эрастыч? — обрадовался Чипулин. — О, Боже ж мой! Да чего вы раньше не сказали? Я вам сейчас найду его. Где он?

— Он ожидает около багажного отделения.

— Вот-то смешно! Да почему же он не провожал вместе с нами уважаемого Петра Сергеича?

— Потому что было неудобно.

— О, Боже! Иван Эрастыч такой прекрасный человек.

— Еще бы, — злобно сказала Саксаулова. — Он мой любовник, знаете ли вы это, — и муж кое-что подозревает. Вот почему Эраст не провожал его! Понимаете вы, москит вы надоедливый?!

— Вот что-о, — протянул Чипулин, и лицо его озарилось предоброй лукавой улыбкой. — Вот это здорово!

— Только если вы скажете хоть одно слово мужу или кому-нибудь — Эраст выстрелит в вас.

— Я?!! Скажу?!! Лучше же мне сейчас откусить свой язык. Нет-с! Чипулины не говорят. Не беспокойтесь! Я все это вам устрою.

— Что все? — обеспокоилась Саксаулова.

— Все, все.

Кое-что Чипулин действительно устроил: он побежал в багажное отделение, отыскал там изумленного его появлением Эраста, привел его к Саксауловой, а потом про-

водил их до извозчика, усадил и, придерживаясь за крыло экипажа, сказал, элегически любуясь на небо:

— Не правда ли, как хорошо любить? Приятнейшее занятие в сердечном смысле. А? Мужайтесь!

— Пошел! — закричал Эраст извозчику.

Извозчик дернул, и умиленный Чипулин чуть не упал, так как крыло экипажа выскользнуло из-под его руки.

Забыв согнать с лица испуганное выражение, долго следил за экипажем Чипулин, и уста его шептали: «О ты, могущественнейшее чувство!»

Потом спохватился Чипулин и, поспешно заменив испуганное выражение лица другим, задумчивым, пошел домой.

II

На другое утро Саксаулова получила городскую телеграмму:

«Будьте покойны. Все устрою. Телеграфируйте мне час и день приезда мужа. Феодосий Чипулин».

На это Саксаулова ответила:

«Что там такое вы устраиваете? Ничего не надо. Молчите и больше ничего».

Вечером пришла вторая телеграмма от Чипулина:

«Нужно устранить подозрения. Надеюсь успеть к приезду. Мужайтесь!»

Саксаулова написала телеграмму:

«Вы просто дурак».

Но телеграф отказался передать эту телеграмму, на том-де основании, что ругательные слова запрещено передавать по телеграфу.

На третий день явился Саксаулов.

Жена приехала встречать его за пять минут до прихода поезда, а запыхавшийся Чипулин показался тогда, когда поезд уже подошел.

Поздоровавшись с Саксауловым, Чипулин зашел за его спину и сделал ряд знаков, которые должны были вполне успокоить Саксаулову, что все, дескать, обстоит как следует.

— Ну, что у вас тут новенького? — спросил Саксаулов.

— Ради Бога! — вскричал, прижимая руки к сердцу, Чипулин. — Прежде всего — как тетушка?

— Здорова. Спасибо. Выздоровела.

— О, Боже! Воображаю, в каком вы восторге!

Саксаулов посмотрел внимательно на Чипулина и пожал плечами.

— Что ты поделывала без меня? — спросил он жену.

Чипулин сделал озабоченное лицо, полез в жилетный карман и вынул оттуда какие-то билеты.

— Вот-с. Это мы с Ольгой Захаровной были в театре. Видите? Даже контрольные купоны оторваны. Пресмешная пьеса. Хи-хи-хи. Это мы были позавчера. А в день вашего отъезда я, значит, отвез Ольгу Захаровну домой и, посидев немного, уехал, так как у нее заболела голова, и она легла спать.

— Ну, едем домой, — нетерпеливо сказала Саксаулова. — Прощайте, Чипулин.

Муж стал расплачиваться с носильщиком, а Чипулин наклонился к Саксауловой и таинственно подмигнул.

— И дома у вас все устроено. Дворнику дал десять, двум горничным и швейцару по пяти. Все дали слово молчать.

— Чтоб вы пропали! — сказала Саксаулова.

— Что? — переспросил вернувшийся муж.

— Я говорю — куда ты запропал? Поедем. У меня голова болит.

— Да? И вчера болела?

— Да, да! — сказал Чипулин. — Вчера Ольга Захаровна совсем из дому не выходила. Была больна... Как же-с! Вот докторское свидетельство.

Действительно, он порылся в боковом кармане и вынул какое-то свидетельство.

Саксаулов широко открыл глаза.

— Да к чему же свидетельство? Ничего не понимаю.

— Больна Ольга Захаровна — очень просто. Значит, никуда и не выходила, сидела дома. Вот и свидетельство — видите ее имя и число месяца. Я вам сейчас позову извозчика. Кстати, знаете, удивительно пресмешная вещь... Вы знаете Эраста Волк-Демьянского?

— Я думаю, — сказал муж, усмехнувшись углом рта.

— Так такое совпадение, можете представить: захожу вчера к нему — три дня, как болен. Лежит — жар у него, из дому не выходит. Такая странность.

Саксаулов опустил голову. Потом спросил:

— Может, вы и на его болезнь имеете докторское свидетельство? Ха-ха-ха!

Смех его был странный.

— Умоляю тебя, едем! — вскричала Саксаулова. — Мне очень нехорошо!!

— Верю, — покачал головой Саксаулов. — Тебе очень нехорошо... Прощайте, Чипулин.

— До свиданья. Но не смешно ли: три дня лежит Волк-Демьянский в жару, в бреду и все время твердит имя какой-то Альфонсины.

Чипулин уперся руками в бока и раскатился самодовольным смехом ловкого хитреца.

ПО ВЛЕЧЕНИЮ СЕРДЦА
(Образцы иностранной литературы)

I. Французский рассказ

Войдя в вагон, Поль Дюпон увидел прехорошенькую блондинку, сидевшую в одиночестве у окна и смотревшую на него странным взглядом.

— Ого! — подумал Дюпон, а вслух спросил:

— Вам из окна не дует?

— Окно ведь закрыто! — засмеялась блондинка и лукаво взглянула на него.

— Разрешите закурить?

— Пожалуйста. Я люблю сигарный дым.

— Увы! К сожалению, я не курю, — вздохнул Поль. — Разрешите узнать, как ваше имя?

— Луиза.

— Луиза?! Ты должна быть моей! С первой встречи, когда я тебя увидел...

— Ах, плутишка! — сказала Луиза, открывая свои объятия...

....

Оправляя прическу, Луиза спросила любовника:

— Ты куда?

— В Авиньон.

— И я тоже.

Поезд подходил к вокзалу.

Из вагонов хлынула публика, и они расстались.

Поль взял извозчика и поехал в замок своего друга д'Арбиньяка.

Д'Арбиньяк очень ему обрадовался.

— Сейчас познакомлю тебя с женой. Лу-иза!

Поль Дюпон вздрогнул.

— Ка-ак! Это вы?!

— Вы... знакомы?!

Молодая женщина улыбнулась и, глядя на мужа ясным взглядом, сказала:

— Да! Мы ехали в одном и том же вагоне и премило убили время... Надеюсь, что и тут вам будет так же хорошо...

— Браво! — вскричал виконт д'Арбиньяк.

II. Английский рассказ

Томми О'Пеммикан добывал себе скромные средства к жизни тем, что по вечерам показывал в уайт-чапельском кабачке Сиднея Гроша свое поразительное искусство: он всовывал голову в мышеловку, в которой сидела громадная голодная крыса, и после недолгой борьбы ловил ее на свои крепкие, белые зубы... Несмотря на то что животное яростно защищалось, через минуту слышался треск, писк — и крыса, перегрызанная пополам, безжизненно падала на покрытый кровью пол гигантской мышеловки.

Мисс Сьюки Джибсон упросила своего отца однажды сделать честь Сиднею Грошу и навестить этого старого мошенника в его берлоге.

Отец сначала ужаснулся («Ты — девушка из общества — в этом вертепе?»), но потом согласился, и таким образом однажды в туманный лондонский вечер среди пропитанных джином и пороком джентльменов — обычных посетителей дяди Сиднея — очутилась молодая, изящная девушка с пожилым господином.

Представление началось. Томми вышел, пряча свои жилистые кулаки в карманы и равнодушно поглядывая на метавшегося по клетке обреченного врага.

Все придвинулись ближе... И вдруг раздался звонкий девичий голос:

— Держу пари на тысячу долларов, что этому джентльмену не удастся ее раскусить!

— Годдэм! — крикнул хрипло подвыпивший американский капитан с китобоя «Гай Стокс». — Принимаю! Для Томми это все равно что раскусить орешек. Ставлю свою тысячу!

— Томми, не выдай! — заревела толпа.

Томми О'Пеммикан, не обращая внимания на рев, смотрел на красивую девушку во все глаза. Потом вздохнул, всунул голову в клетку и... крыса бешено впилась ему в щеку.

— Что же ты? — взревели поклонники. — Что с ним? Это первый раз. Болен ты, Томми, что ли?

— Годдэм! — вскричал хриплый китобой. — Он ее не раскусил, но я его раскусил! Он в стачке с девушкой!

Загремели выстрелы... Томми прыгнул как тигр и, отбросив ударом кулака китобоя, ринулся к выходу!.. ......

....

Когда Джибсоны выбрались из адской свалки и побежали по туманной улице, Сьюки наткнулась на что-то и вскрикнула:

— Это он! Это мистер Пеммикан... Он ранен! Нужно взять его к нам домой.

— Удобно ли, — нахмурился отец, — постороннего человека.

— All right! — вскричала Сьюки решительно. — Постороннего неудобно, но будущего моего мужа — против этого никто ничего не скажет!.. ....

....

III. Немецкий рассказ

— Лотта! — вскричал Генрих, хватая свою женушку за руку. — Это что такое? Что ты от меня спрятала?

Лотта закрыла лицо руками и прошептала:

— О, не спрашивай меня, не спрашивай.

— Покажи! Это, вероятно, записка! У тебя есть любовник?!

Лотта молча заплакала:

— Бог тебя простит!

— Покажи!!

— Нет! — сказала Лотта, смело смотря ему в глаза. — Ни за что!

— В таком случае — вон из моего дома!

— Я уйду, — прошептала Лотта, глядя на него глазами, полными слез, — но позволь мне вернуться 28 июля.

— Вздор! К чему эти комедии. Вон!.. ....

....

Был день 28 июля.

У Генриха собрались гости и родственники, так как был день его рождения, — одной только Лотты, любимой Лотты, не было.

Где она бродила, изгнанная мужем?

— С днем рождения тебя! — вскричал отец, поднимая бокал.

Вдруг дверь распахнулась и вошла исхудавшая Лотта... С гордо поднятой головой она подошла к столу, в котором месяц тому назад спрятала что-то тайком от мужа.

Она открыла ящик стола, сунула туда руку и... вынула пару теплых туфель, вышитых гарусом.

— Вот, Генрих, почему я не могла показать... это сюрприз.

— Прости меня, Лотта, — вскричал Генрих, обливаясь слезами. — Я не имел права тебя подозревать...

Лотта вся вспыхнула и бросилась мужу в объятия.

— Вот видите, — сказал отец, — как вы были легкомысленны. Пословица говорит, что нужно сначала хорошенько расспросить, что за вещь заключалась в столе, и если эта вещь была невинного характера, то не нужно обращаться так сурово со своей маленькой женкой. Теперь вы достаточно наказаны, и в будущий раз это не повторится!

IV. Австралийский рассказ

На краю золотоносной ямы сидело двое: беглый каторжник Джим Троттер и негр Бирбом — неразлучные приятели.

— Проклятая страна! — проворчал Джим, отбрасывая в сторону кусок попавшегося под руку золота. — Ни одной женщины... А мне бы так хотелось жениться.

— Ты любил когда-нибудь? — спросил черный Бирбом, лениво пожевывая кусок каменного дерева.

— Давно. Это была индианка, которую я однажды застал в обществе долговязого Нея Мастерса. Это меня так смутило, что я тут же убил их обоих, украл лошадь и бежал.

Он посмотрел вдаль и вдруг, вскочив, крикнул:

— О, что это? Боже мой! Ведь это женщина! Ну, конечно... Старина Бирбом! Беги к ней со всех ног, чтобы она не ушла. Скажи, что я люблю ее, ну и прочее... и предлагаю сделаться моей женой. Если обломаешь дело, подарю тебе мои щегольские красные штаны!

Прыткий Бирбом не заставил себя ждать. Он понесся во всю прыть, а Джим собрал около себя кучу самородков, вытер грязной рукой с лица пот и вытащил из волос

запутавшуюся ветку — все это для того, чтобы ослепить невесту своим видом и богатством...

Бирбом вернулся, еле дыша, с глубоким разочарованием в лице.

— Что она сказала?

— Она сказала, что я не получу твоих красных штанов. Тем более что это была не она, а он.

— Кто он?

— Старый мул диггера Паулинса, отбившийся от прииска. А ты, слепая курица, принял его за женщину!

И мечты бедного Джима о семейной жизни в один миг оказались разбитыми.

Он разбросал рукой опостылевшие самородки, упал на раскаленную землю и завыл.

А австралийское солнце — злой, желтый, пылающий таз — заливало равнодушные камни и пыльные листья молочаев своим мутным, как потухающие уголья, светом...

КОНЕЦ ГРАФА ЗВЕНИГОРОДЦЕВА
(Рассказ из жизни большого света)

Граф Звенигородцев проснулся в своем роскошном особняке, отделанном инкрустацией, и сладко потянулся. Позвонил...

— Вот что... — сказал он вошедшему камердинеру. — Приготовь мне самое дорогое шелковое белье и платье от английского портного... Я через час поеду в баню. Никогда не был в бане — посмотрю, что это такое.

Прислуга в доме графа была вышколена удивительно: камердинер действительно пошел и сделал все так, как приказал граф.

Через час граф Звенигородцев вышел из своего роскошного особняка и, вскочив в дорогой, отделанный инкрустацией автомобиль, крикнул шоферу:

— В самые лучшие бани! В дворянские!!

...Облака пара застилали глаза... Мелькали голые тела, слышался плеск горячей воды, гоготанье... Брезгливо посма-

тривая на эту неприглядную картину, граф лежал на скамье и морщился, когда высокий долговязый парень слишком сильно тер ему шею.

Этот долговязый парень давно уже не нравился графу своей непринужденностью и фамильярным обращением. Он хватал графа за руки, за ноги, мылил ему голову и часто выкрикивал какое-то непонятное слово «эх-ма!».

«Боже ты мой! — думал граф. — Где этот человек получил воспитание?.. Прямо-таки ужасно».

Мытье подходило уже к концу. Граф предполагал сейчас же встать и, даже не поклонившись долговязому человеку, уйти, чтобы этим подчеркнуть в деликатной форме свое неудовольствие.

Уже граф, поддерживаемый парнем, поднялся со скамьи... Уже он, окаченный горячей водой, взмахнул руками и отряхнул миллион светлых брызг... Уже... Как вдруг произошло что-то до того тяжелое, до того кошмарное — чего не могло бы предположить самое разнузданное воображение: парень неожиданно изловчился и, хлопнув графа по белой изящной спине, с хладнокровием истого бретера сказал:

— Будьте здоровы!

Граф вздрогнул, как благородный конь, которому вонзили в бока шпоры, повернул свое исковерканное гневом лицо и грозно вскричал:

— Эт...то что такое?!

— Будьте здоровы, говорю, ваше сиятельство! — повторил негодяй, делая иронический поклон.

— А-а, негодный... Зная, кто я такой, ты позволяешь себе то, что смывается только кровью?!! Я не убиваю тебя, как собаку, только потому...

И сделав над собой страшное усилие, граф отчеканил более спокойным голосом:

— Милостивый государь! Завтра мои свидетели будут у вас. Ваше имя?

— Алеша, ваше сиятельство. Так пусть меня и спросят, если помыться али что. В это время я завсегда тут. На чаек бы с вас.

Эта убийственная ирония, это последнее оскорбление уже не произвело на графа никакого впечатления... Он молча повернулся и вышел в предбанник. Вызов был сде-

лан, и все неприличие и бестактность противника не могли задеть теперь графа.

Сжав губы и нахмурившись, граф быстро оделся, вышел, вскочил в свой элегантный автомобиль и помчался к своему другу барону Сержу фон Шмиту.

Барон фон Шмит тоже жил в богатом особняке, отделанном мореным дубом и бронзой.

— Серж, — с наружным спокойствием сказал граф, хотя подергиванье губ выдавало его внутреннее волнение. — Серж! Я сегодня был оскорблен самым тяжелым образом и вызвал оскорбителя на дуэль. Ты будешь моим секундантом?

— Буду.

Граф рассказал все происшедшее барону, который молча выслушал его и потом спросил:

— Слушай... А вдруг он не дворянин?

Граф похолодел.

— Неужели... Ты думаешь...

— Весьма возможно... Тогда ясно — тебе с ним драться нельзя.

— Боже! Но что же мне делать?!

— Видишь ли... если он не дворянин — тебе нужно было сейчас же после нанесения оскорбления выхватить шпагу и убить подлого хама на месте, как бешеную собаку...

— Что ты такое говоришь: выхватить шпагу! Откуда же ее выхватить, если я был совершенно голый? Да если бы я был одет — не могу же я носить шпагу при сюртуке от лучшего английского портного?

— Тебе нужно было задушить его голыми руками, как собаку.

— О, Господи! — застонал граф, хватаясь за голову холеными руками. — Но, может быть, он дворянин? Ведь бани-то дворянские?

— Будем надеяться, мой бедный друг, — качая головой, прошептал барон.

На другой день барон поехал по данному графом адресу, нашел оскорбителя и, сухо поздоровавшись, имел с ним долгий горячий разговор.

Когда он возвращался в свой особняк к ожидавшему его графу, лицо его было сурово, губы сжаты, а брови нахмурены.

Он легко взбежал по лестнице, остановился на секунду у дверей своего роскошного кабинета мореного дуба, пригладил волосы и с холодным лицом вошел...

— Ну, что?! — бросился к нему граф, протягивая трепещущие руки.

Барон отстранил его руки, свои засунул в карманы и медленно отчеканил:

— Вы получили оскорбление действием от наглого мещанина и не сделали того, что должен был сделать человек вашего происхождения: не убили его, как собаку.

— Он мещанин?! — болезненно вскричал граф, закрывая лицо руками.

— Да-с! Мещанин... И трус, вдобавок. По крайней мере, он сейчас же испугался, струсил и стал просить извинения. Говорил, что у них такой обычай — хлопнуть по спине на прощанье... Вы не убили его, как собаку, на вашей спине еще горит оскорбительный удар... Граф! Прошу оставить мой дом... Не считайте больше меня своим другом. Я не могу протянуть руки опозоренному человеку.

Граф застонал, схватился изящными руками за голову и, не оправдываясь, выбежал из кабинета...

Он долго бродил по городу, потрясенный, уничтоженный, с искаженным горем и страданием лицом. Запекшиеся губы шептали:

— За что? За что на меня это обрушилось?

Потом его потянуло к людям.

Он кликнул извозчика и велел ехать в роскошный особняк княгини Р.

...Лакей, одетый в дорогую ливрею, расшитую золотом и инкрустацией, преградил ему путь.

— Не принимают!

Граф удивился.

— Как не принимают? Сегодня же приемный день?

— Да-с, — нагло сказал сытый лакей, перебирая инкрустации на своей ливрее. — Приемный день, но вас не приказано принимать.

Граф застонал.

— Вот что, голубчик. На тебе сто рублей — только скажи правду: барон фон Шмит был сейчас у вас?

— И сейчас сидят, — осклабился лакей. — Эх, ваше сиятельство... Нешто можно так? Нужно было убить его, как собаку!.. А еще дворяне...

— И этот знает, — болезненно улыбнулся граф, вскочил на извозчика и, взглянув на свои золотые часы с инкрустацией, крикнул извозчику:

— К невесте!

Невеста графа, княжна Нелли Глинская, жила с родителями в изящном особняке и очень любила графа.

— Нелли, — шептал граф, подгоняя извозчика. — Милая Нелли... Только ты меня поймешь, не осудишь...

Он подъехал к воротам изящного особняка князей Глинских и радостно вскрикнул: из ворот как раз выходила Нелли.

— Нелли! Нелли! — крикнул граф гармоничным голосом. — Нелли!..

Невеста радостно вскрикнула, но сейчас же отступила и, подняв руки на уровень лица, пролепетала:

— Нет, нет... не подходите ко мне... я не могу быть вашей...

— Нелли?!! Почему?!!

Она сказала дрожащими губами:

— Я могла принадлежать чистому, незапятнанному человеку, но вам... на теле которого горит несмываемое оскорбление... Не оправдывайтесь! Барон мне все рассказал...

— Нелли! Нелли!! Пойми меня... Что же я мог сделать?!

— Что? Вы должны были выхватить шпагу и заколоть оскорбителя, как бешеную собаку!!

— Нелли!! Какую шпагу? Я ведь был совсем... без всего...

С криком ужаса и возмущения закрыла ручками пылающее лицо Нелли и — скрылась в воротах.

— Один... — с горькой улыбкой прошептал граф. — Всеми брошенный, оставленный, презираемый... Кровно оскорбленный...

На лице его засияла решимость.

Пробило полночь... Роскошный особняк графа Звенигородцева был погружен в сон, кроме самого графа.

Он сидел за старинным письменным столом, украшенным инкрустацией, и что-то писал... На губах его блуждала усталая улыбка...

— Нелли, — шептал он. — Нелли... Может быть, сейчас ты поймешь меня и... простишь!

Он заклеил письмо, запечатал его изящной золотой печатью и поднес руку с револьвером к виску... Грянул выстрел... Граф, как сноп, рухнул на ковер, сжимая в руках дорогой револьвер с инкрустацией...

ОПОРА ПОРЯДКА

I

Вольнонаемный шпик Терентий Макаронов с раннего утра начал готовиться к выходу из дому. Он напялил на голову рыжий, плохо, по-домашнему сработанный парик, нарумянил щеки и потом долго возился с наклеиванием окладистой бороды.

— Вот, — сказал он, тонко улыбнувшись сам себе в кривое зеркало. — Так будет восхитительно. Родная мать не узнает. Любопытная штука — наша работа... Приходится тратить столько хитрости, сообразительности и увертливости, что на десять Холмсов хватит. Теперь будем рассуждать так: я иду к адвокату Маныкину, которого уже достаточно изучил и выследил. Иду предложить себя на место его письмоводителя. (Ему такой, я слышал, нужен. А если я вотрусь к нему — остальное сделано.) Итак, письмоводитель. Спрашивается: как одеваются письмоводители? Мы, конечно, не Шерлоки Холмсы, а кое-что соображаем: мягкая цветная сорочка, потертый пиджак и брюки, хотя и крепкие, но с бахромой. Вот так! Теперь всякий за версту скажет: письмоводитель!

Макаронов натянул пальто с барашковым воротником и, выйдя из дому, крадучись зашагал по направлению к квартире адвоката Маныкина.

— Так-то, — бормотал он сам себе под нос. — Без индейской хитрости с этими людьми ничего не сделаешь. Умные, шельмы... Да Терентий Макаронов поумнее вас будет. Хе-хе!

У подъезда Маныкина он смело нажал кнопку звонка; горничная впустила его в переднюю и спросила:

— Как о вас сказать?
— Скажите: Петр Сидоров. Ищет место письмоводителя.
— Подождите тут, в передней.
Горничная ушла, и через несколько секунд из кабинета донесся ее голос:
— Там к вам шпик пришел, что под воротами допреж все торчал. «Я, говорит, Петр Сидоров, и хочу наниматься в письмоводители». Бородищу наклеил, подмазался — прямо умора!
— Сейчас я к нему выйду, — сказал Маныкин. — Ты его где оставила, в передней?
— В передней.
— После посмотришь под диваном или за вешалкой — не сунул ли чего? Если найдешь, выброси.
— Как давеча?
— Ну да! Учить тебя, что ли? Как обыкновенно.
Адвокат вышел из кабинета и, осмотрев понурившегося Макаронова, спросил:
— Ко мне?
— Так точно.
— А знаешь, братец, тебе борода не идет. Такое чучело получилось...
— Да разве вы меня знаете? — с наружным удивлением воскликнул Макаронов.
— Тебя-то? Да мои дети по тебе, брат, в гимназию ходят. Как утро, они глядят в окно: «Вон, говорят, папин шпик пришел... Девять часов, значит. Пора в гимназию собираться».
— Что вы, господин, — всплеснул руками Макаронов. — Какой же я шпик?! Это даже очень обидно. Я вовсе письмоводитель — Петр Сидоров.
— Лизавета! — крикнул адвокат. — Дай мне пальто. Ну, что у вас в охранке... Все по-старому?
— Мне бы местечко письмоводителя... — сказал Макаронов, хитрыми глазами поглядывая на адвоката. — По письменной части.
Адвокат засмеялся:
— А простой вы, хороший народ, в сущности... Славные детишки. Ты что же сейчас: за мной, конечно?
— Местечка бы, — упрямо сказал Макаронов.
— Лизавета! Выпусти нас.
Вышли вместе.
— Ну, я в эту сторону, — сказал адвокат. — А ты куда?

— Мне сюда. В обратную сторону.

Макаронов подождал немного и потом, опустив голову, опечаленный, поплелся за Маныкиным. Он потихоньку, как тень, крался за адвокатом, и единственное, что тешило его, — это что адвокат его не замечает.

Адвокат остановился и спросил, обернувшись вполоборота к Макаронову:

— Как ты думаешь, этим переулком пройти на Московскую ближе?

— Ах, как это странно, что мы встретились! — с искусно разыгранным удивлением вскричал Макаронов. — Я было решил идти в ту сторону, а потом вспомнил, что мне сюда нужно. К тетке зайти.

«Ловко это я про тетку ввернул», — подумал, усмехаясь внутренне, Макаронов.

— Ладно уж. Пойдем рядом. А то, смотри, еще потеряешь меня...

— Нет ли у вас места письмоводителя? — спросил Макаронов.

— Ну и надоел же ты мне, ваше благородие! — нервно вскричал адвокат. — Впрочем, знаешь что? Я как будто устал. Поеду-ка я на извозчике.

— Поезжайте, — пожал плечами Макаронов («Ага! Следы хочет замести... Понимаем-с»). — А я тут к одному приятелю заверну.

Маныкин нанял извозчика, сел в пролетку и, оглянувшись, увидел, что Макаронов нанимает другого извозчика.

— Эй, — закричал он, высовываясь. — Как вас... письмоводитель! Пойди-ка сюда. Хочешь, братец, мы экономию сделаем?

— Я вас не понимаю, — солидно возразил Макаронов.

— Чем нам на двух извозчиках трепаться — поедем на одном. Все равно ты ведь от меня не отвяжешься. А расходы пополам. Идет?

Макаронов некоторое время колебался, потом пожал плечами и уселся рядом, решив про себя: «Так даже, пожалуй, лучше. Можно что-нибудь от него выведать».

— Ужасно тяжело, знаете, быть без места, — сказал он с напускным равнодушием. — Чуть не голодал я, вдруг — вижу ваше объявление в газетах насчет письмоводителя. Дай, думаю, зайду.

Адвокат вынул папиросу.

— Есть спичка?

— Пожалуйста. Вы что же, адвокатурой только занимаетесь или еще чем?

— Бомбы делаю еще, — подмигнул ему адвокат.

Сердце Макаронова радостно забилось.

— Для чего? — спросил он, притворно зевая.

— Мало ли. Знакомым раздаю. Послушайте... У вас борода слева отклеилась. Поправьте. Да не так!.. Ну вот, еще хуже сделали. Давайте я вам ее поправлю. Ну, теперь хорошо. Давно в охранном служите?

— Не понимаю, о чем вы говорите, — обиженно сказал Макаронов. — Жил я все время у дяди — дядя у меня мельник, а теперь места приехал искать... Может, дадите бумаги какие-нибудь переписывать или еще что?

— Отвяжись, братец. Надоел.

Макаронов помолчал.

— А из чего бомбы делаете?

— Из манной крупы.

«Хитрит, — подумал Макаронов. — Скрывает. Проговорился, а теперь сам и жалеет».

— Нет, серьезно, из чего?

— Заходи, рецептик дам.

II

Подъехали к большому дому.

— Мне сюда. Зайдешь со мной?

Понурившись, мрачно зашагал за адвокатом Макаронов.

Зашли к портному.

Маныкин стал примерять новый жакет, а Макаронов сел около брошенного на прилавок адвокатом старого пиджака и сделал незаметную попытку вынуть из адвокатова кармана лежавшие там письма и бумаги.

— Брось, — сказал ему адвокат, глядя в зеркало. — Ничего интересного. Как находишь — хорошо сидит жакет?

— Ничего, — сказал шпик, пряча руки в карманы брюк. — Тут только как будто морщит.

— Да, в самом деле морщит. А жакет как?

— В груди широковат, — внимательно оглядывая адвоката, сказал шпик.

— Спасибо, братец! Ну, значит, вы тут кое-что переделаете, а мы поедем.

После портного адвокат и Макаронов поехали на Михайловскую улицу.

— Налево, к подъезду, — крикнул адвокат. — Ну, милый мой, сюда тебе за мной не совсем удобно идти. Семейный дом. Ты уж подожди на извозчике.

— А вы скоро?

— Да тебе-то что? Ведь ты все равно около меня до вечера.

Адвокат скрылся в подъезде. Через пять минут в окне третьего этажа открылась форточка и показалась адвокатская голова.

— Эй, ты... письмоводитель, как тебя? Поднимись сюда, в номер десятый на минутку!

«Клюет», — подумал радостно Макаронов и, соскочив с извозчика, вбежал наверх.

В переднюю высыпала встречать его целая компания: двое мужчин, три дамы и гимназист.

Адвокат тоже вышел и сказал:

— Ты, братец, извини, что я тебя побеспокоил. Дамы, видишь ли, никогда не встречали живых шпиков. Просили показать. Вот он, mesdames. Хорош?

— А борода у него, что это... Привязная?

— Да, наклеенная. И парик тоже. Поправь, братец, парик. Он на тебя широковат.

— Что, страшно быть шпиком? — спросила одна дама участливо.

— Нет ли места какого? — спросил, делая простодушное лицо, Макаронов. — Который месяц я без места.

— Насмотрелись, господа? — спросил адвокат. — Ну, можешь идти, братец. Спасибо. Подожди меня на извозчике. Постой, постой... Ты тут какие-то бумажки обронил. Забери их, забери... А теперь иди.

Когда адвокат вышел на улицу — Макаронова не было.

— А где этот фрукт, что со мной ездил? — спросил он извозчика.

— Да тут за каким-то бородастым побёг.

— Этого еще недоставало! Не ждать же мне его тут на морозе.

Из-за угла показалась растрепанная фигура Макаронова.

— Ты где же это шатаешься, братец? — строго прикрикнул Маныкин. — Раз тебе поручили за мной следить — ты не должен за другими бегать. Жди тебя тут! Поправь бороду. Другая сторона отклеилась. Эх, ты... На что ты годишься, если даже бороды наклеить не умеешь. Отдери ее лучше да спрячь, чтоб не потерялась. Вот так... Пригодится. Засунь ее дальше — из кармана торчит. Черт знает что! Извозчик! В ресторан «Слон».

Подъехали к ресторану.

— Ну ты, сокровище, — спросил адвокат. — Ты, вероятно, тоже проголодался? Пойдем, что ли.

— У меня денег маловато, — робко сказал сконфуженный шпик.

— Ничего, пустое. Я угощу. После сочтемся. Ведь не последний же день мы вместе. А?

«Пойду-ка я с ним, — подумал Макаронов. — Подпою его, да и выведаю, что мне нужно. Пьяный всегда проболтается».

* * *

Было девять часов вечера. К дому, в котором помещалось охранное отделение, подъехали на извозчике двое: один мирно спал, свесив набок голову, другой заботливо поддерживал его за талию.

Тот, который поддерживал дремавшего, соскочил с пролетки и, позвонив у дверей, вызвал служителя.

— Вот, — сказал он ворчливо. — Привез вам сокровище. Получайте... Ваш?

— Будто наш.

— Ну, то-то. Тащите его, мне нужно дальше ехать... И как это он успел так быстро и основательно нарезаться... Постойте, осторожнее, осторожнее! Вы ему так голову расквасите. Берите под мышки! Постойте... У него из кармана что-то выпало. Записки какие-то литографированные... Гм!.. Возьмите... Ах, чуть не забыл... У меня его борода в кармане. Забирайте и бороду. Ну, прощайте. Когда проспится, скажите, что я завтра пораньше из дому выйду, — чтоб не опоздал. Извозчик, трогай!

КУПАЛЬЩИК

— Эй... как вас... Мм... молодой чч...век! Нет ли тут поблизости морей каких-нибудь?

— Каких морей?

— Ну, там... Черного какого-нибудь... Средиземного. А то так — Мраморного, что ли.

— Нет, тут поблизости не будет. Переплюниха река есть, так и то верст за пятнадцать...

— М...молодой чч...век! Море бы мне. А?

— Говорят вам — нет. Да вам зачем?

— Купаться ж надо ж...

— Да если нет, так как же?

Человек, желавший выкупаться, покачнулся, схватил сам себя за грудь, удержал от падения и прохрипел страдальчески:

— Надо ж купаться же ж! Освежаться надо же ж!

— Да-с. Нет морей.

— А... Каспийское море... Далеко?

— Каспийское? Далеко.

— Вы думаете — я пьян?

— Почему же-с?

— Да, пил. Надо же ж пить же ж!! Напиваться необходимо же ж!!

— Извините... Я домой.

— Домой? Лошадь! Кто ж нынче домой ходит? Впрочем, — прав! Надо ходить же ж домой же ж!! Посл...лушай! А дома морей никаких нет? Хоть бы Красное... Аральское... А? Ушел? Ну и черт с тобой. Ты же лошадь же ж! Я тут сейчас и искупаюсь! Вот еще! Куда бы мне пиджак повесить? Вот гвоздик! Надо ж пиджаки вешать же ж!

— Эй, господин! Разве тут можно раздеваться?

— Можно. Здравссс... прохожий... Не знаете — тут глубоко?

— Где-е? Это ведь улица! Тут и воды нет.

— Толкуй! Подержи жилетку.

— Отстаньте!

— О, Господи ж. Надо ж жилетки держать же ж! Купаться надо же ж!!

— Это... что еще?! Вы чего тут?! Как так — на улице раздеваться? Пшел!

— Мама-аша! Сколько лет!..

— От-то ж дурень! Какая я мамаша? Я городовой.

— Вот ччерт!.. А я смотрю — обращение самое... материнское. Городовой! Где моя мама?

— Стыдно, господин. Тут и купальни нет, а вы раздеваетесь!

— Нет купальни... А ты построй! Я тут сяду — пока брюки подожду снимать, а ты надо мной и воз...веди ппостроечку! О, Господи! Строиться надо же ж!!

— Да зачем купальню, когда воды нет? Хи-хи.

— Милл...лай. Мне ж много не надо же ж! Построй купаленку, плесни ведерце — мне и ладно. Надо ж купаться же ж!!

— Же ж, же ж! Вот тебе покажут в участке «же ж»! Одягайся!

— Позвольте, городовой! Они выпимши и не в себе, а вы сейчас — участок. Знаем мы ваши участки. Позвольте, я сам его урезоню.

— Здравствуйте, господин!

— А-а... Мамаша! Глубочайшее...

— Купаться хотите?

— Купаться же ж надо ж! Работать надо ж!

— Дело хорошее. Водички вам немного потребуется.

— Пустяки же ж! Как пожива...аете?

— Слава Богу, хорошо. Вам ведь купаться не обязательно? Только освежиться?

— Освежиться ж надо же ж!

— Ну вот. У меня в пузыречке вода и есть. Ведь вам не обязательно обливаться? Ежели ее немного — можно и понюхать. А?

— Господи! Надо нюхать же ж!

— Ну вот и хорошо. Умница. Нюхайте.

— Фф... ррр... пфффф... Од...днако!

— Это вы что ему за водичку дали?

— Ничего-с. Нашатырный спирт.

— Здорово! Слеза-то как бьет. Хи-хи!

— Еще, может, нырнете, а? Вот бутылочка. Держи ему голову.

— Фф... рр... пфф... Однако!..

— Ну как?

— Где мой... пиджак? Дом купца Отмахалова направо?

— Направо.

— Городовой! Дай мой пиджак. Ффу!

ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ (1913)

чёрным по белому

ВОЛГА

I

В буфетной комнате волжского парохода за стойкой стоял здоровеннейший мужчина и бил ладонью руки по лицу качавшегося перед ним молодого парня.

У парня было преравнодушное лицо, которое, казалось, говорило: «Да скоро ты, наконец, кончишь, Господи!»

Здоровеннейший мужчина приговаривал:

— Вот тебе разбитый бокал, вот соусник, вот провансаль!

И бокал, и соусник, и провансаль — как две капли воды походили друг на друга: это были обыкновенные пощечины, и различные названия их служили просто какими-то символами.

После провансаля буфетчик наделил парня «невытертыми рюмками», «закапанной скатертью» и какой-то «коробкой бычков».

Когда парню приедалось однообразие ощущения, парень поворачивал лицо в другую сторону, и вторая, отдохнувшая, щека бодро выносила и «фальшивый целковый от монаха» и «теплое пиво» и «непослушание маменьке».

Толстый купец, пивший в углу теплое пиво, восторженно глядел на эту сцену, делая машинально те же движения, что и буфетчик, и качая лысой головой в такт каждому удару.

— Что это такое? — спросил я радостного купца.

— Это, государь мой, наше русское волжское воспитание. Чтобы, значит, помнил себя. Сынок это евонный.

— Да ведь он его как скотину бьет?!

— Зачем как скотину?.. Скотину без пояснения лупят, а он ему все так и выкладывает: «Это, говорит, за соусник, это за теплое пиво». Парень, стало быть, и знает — за что.

— И вы думаете, это помогает? — брезгливо спросил я.

— Батюшка! А то как же? Да парень, после этого ноги его будет мыть, да воду пить!

Я пожал плечами.

— Если первая часть этой операции и имеет гигиеническое значение, то вторая...

— Чего-с?

— Я хочу сказать, что такое обращение делает человека глупым, забитым и тупым.

— Ничего-с. Нас так тоже учивали, а посмотрите — и на слово ответим, и дело исделаем.

Старая женщина подошла к стойке, поглядела на буфетчика и заботливо сказала:

— Ну и будет. Ишь ты, упарился...

— Мать ихняя, — кивнул на нее купец. — Строгая семья, правильная.

Младший член этой семьи наконец избавился от «соусников» и «монашеских монет». Отец ударил его в последний раз, оттолкнул и, придвинув к себе стаканы, стал их перетирать. Сын взял тарелку и, в свою очередь, принялся тереть мраморную доску буфета.

— Правильно, — сказал мне купец. — Удовольствие исделай, а работы не забывай.

II

Пароход подходил к большому городу. На палубе стоял здоровенный буфетчик, одетый по-дорожному, жена его и сын.

— Ну вот, Капитоша, вот тебе такое мое слово: штобы от матери никакой жалобы, штобы пассажир был без ропоту и штобы — без бою стекла. Парень ты уже большой, многократно ученый — знаешь, как и что. Ключи тебе даны, доверие отцовское оказано — засим прощайте. Должен ты понимать свою самостоятельность.

— Поблагодари папеньку, — крикнула мать. — Эх, народ теперь. Да я бы за это отцу... ноги бы мыть, да воду пить!

Эта странная формула исчерпывала, очевидно, все взаимоотношения младших к старшим. Выпитая вода являлась тем цементом, который неразрывно связывал членов семьи.

Парень Капитоша опустил мутные серые глаза, конфузливо вздохнул и повалился отцу в ноги.

— Благодарствуйте, тятя.

— Ничего, что там. Лишь бы все, как следовает.

Вокруг них столпились пассажиры, с интересом следившие за этой сценой. Буфетчик расцеловался с женой и поклонился пассажирам.

— Уезжаю я по делишкам, милостивые господа. Если что — не взыщите с парнишки — молод он, робок. Не забудьте, поучите его.

Лысый купец отозвался за всех:

— Поучим.

Зевнул и отправился спать... Ставились сходни...

....

Когда пароход отчаливал от пристани того города, где буфетчик собирался устраивать дела, мать и сын стояли у перил и махали платками отцу, пришедшему последний раз проститься с ними.

Ветер трепал белыми платками, и полоса воды между пароходом и пристанью все ширилась и ширилась. Когда пароход отошел шагов на сто, Капитоша перестал салютовать, всмотрелся в платок и показал отцу кулак. Отец что-то закричал с берега, но не было слышно.

Капитоша облокотился спиной о перила, сложил на груди руки и строго сказал, глядя на мать серыми, мутными глазами:

— Ну, мамаша... Идите спать!

— Чего ж я пойду, дурашка. Солнышко-то еще не спряталось.

— Идите спать! — бешено взвизгнул сын. — Говорят вам — идите! Кто тут хозяин? Вы или я?

— Ох, ты ж, Господи, — пролепетала струсившая мать. — Поди ты, какой крикливый. Ну-ну... Иду-иду. Ты уж тут смотри, чтобы все...

— Пошла, пошла!

Оставшись один, Капитоша плюнул на ладони и попытался пригладить взъерошенные волосы. Потом сделал попытку выгнуть впалую грудь колесом. Ни то ни другое

не удалось ему. Он вздохнул и поплелся в буфет. Я с улыбкой последовал за ним — его поведение заинтересовало меня.

Зайдя за стойку, Капитоша вынул бутылку французского шампанского, откупорил ее, открыл широко громадный желтый рот, в котором жадно извивался тонкий, сухой язык, и в две минуты перелил в себя всю бутылку.

— Однако! — сказал я, удивившись.

— Видал? — захихикал он.

— Видал.

— Здорово?

— Да уж... Ваш отец будет вами доволен.

Грудь его вогнулась еще больше и волосы сделались мягкими.

— Товарищ! — сказал он. — Господин! Долбанем еще одну, а?

— Спасибо, я днем не пью. И вам не советую. Зайдут сейчас сюда пассажиры, а вы выпивши.

Действительно, какой-то маленький чиновник зашел и, потирая руки, сказал:

— Пива.

— Нельзя! — взревел Капитоша.

— Почему?

— Буфет закрыт.

— Кто его закрыл?

— Кто? Я, Капитон Ильич, — очень приятно познакомиться. Со мной, если желаете, выпьем. Шампанского, бордосского... Милый! Если бы ты видел, сколько здесь бутылок — сам черт не пересчитает. Пузатенькие, долгие — всякие. Чесстн... слово.

Маленький чиновник потоптался на месте, облизал губы и неожиданно сказал:

— Ну что ж, выпьем.

Капитоша суетливо вытер руку о полу пиджака и протянул ее ребром, неумело:

— Капитон Ильич, главный буфетчик этого парохода. — Садитесь! Ах ты ж Господи! Вот приятное знакомство. Скажите, саратовские хористки еще не слезли?

— Нет, едут. А что? Вы их... сюда? Это ловко!

Капитоша захохотал и молодцевато побежал наверх.

— Зачем вы хотите пить с ним? — спросил я. — Нехорошо.

— Да что он, ребенок, что ли, — возразил чиновник. — Пусть себе молодой человек повеселится.

Через минуту вошел Капитоша, во главе четырех жизнерадостных, смеющихся девиц.

— Садитесь, барышни. Винцо сейчас будет, апельсины. Очень приятно. Я Капитон Ильич, здешний главный заведующий буфетным отделением пароходной компании судоходства. Алле!

Следом за девицами вошел продавец кораллов и старый актер, потертый и давно небритый.

— Ты кто? Коралловый торговец? Очень украшает и наводит кавалеров на приятные мысли.

Капитоша суетился, бегал к стойке, выбирал кораллы, платил деньги, потом увидел на продавце кораллов оранжевый галстук и пристал, чтобы тот уступил ему этот галстук.

— Расчудесный галстук! Продай, чего там.

Повязался купленным галстуком, надел на руки кольца с кораллами и стал открывать бутылки с вином.

Старый актер стоял в углу, молча за ним наблюдая. Потом приблизился и сказал:

— Давай мне пятьдесят рублей.

Капитоша обернул к нему желтое, потное лицо и прищурился.

— За что?

— Да так. Давай. Ты теперь хозяин. Чего там! Надо быть самостоятельным.

— Пятьдесят рублей, — задумчиво переспросил Капитоша. — Ну, на!

— Вот так. А теперь налей мне шампанского.

Одна из девиц обняла просиявшего Капитошу за шею и сказала:

— Ты дай нам на счастье, а мы тебя прославим.

— Как... прославите?

— Будем петь про тебя. Завсегда так. Гостей в кабинетах славим.

— Здорово! — сказал Капитоша и ревниво добавил: — Только меня что б одного.

— Да, конечно. Ты ж хозяин. Как тебя звать?

— Капитон Ильич, главный управляющий пароходною частью...

— Ладно! Девицы: Капитоша!

И хор девиц нестройно запел:

Капитоша, Капитоша, Капитоша,
Капитоша, Капитоша, Капито-о-ша-а...
Капитоша-тоша-тоша,
Ша-ша-ша-ша-ша!

Капитоша сидел на стуле, истомленный славой, почетом и всеобщим уважением.

— Еще раз! — попросил он, закрыв глаза.

— Капитоша, Капитоша, Капито-оша-а!..

Он подпер щеку рукой и заплакал. Это были слезы гордости, радости и сознания потерянных прежних лет, так глупо прожитых.

«Вот оно, настоящее то», — вероятно, думал бедный Капитоша, и сердце его радостно билось.

— Господа, — крикнул актер. — За-ме-ча-тель-но-му и раз-про-един-ствен-ному Капи-тону Ильичу — мно-га-я ле-е-е-та!!

Девицы пели... Оборотистый продавец кораллов плясал, без пиджака, погромыхивая своим ящиком.

Сумерки заглядывали в окно...

— Дай мне полтораста рублей, — попросил актер, — для устройства театрального здания в Петербурге. — Дашь?

— Дам, — сказал Капитоша, встал, выпрямился и в невыразимом экстазе крикнул: — Господа! Похож я на офицера?

Все нашли, что — похож...

. . . .

Дверь скрипнула и лысый купец, шаркая мягкими сапогами, вошел в буфетную.

— А-а... Честная компания... Это что же такое?!

Он стоял с полминуты, оглядывая всех. Потом его взгляд остановился на Капитоше, украшенном оранжевым галстуком, бархатным пиджаком, купленным у того же торговца кораллами, и массой разноцветных колец на пальцах.

— А-а... — протянул лысый купец.

Он неторопливо завернул правый рукав, подошел к Капитоше, размахнулся и стал бешено колотить по Капитошиной голове, которая, как арбуз на стебле, беспомощно металась из стороны в сторону.

И опять всякая пощечина звучала символически:

— Это тебе кораллы! Это девки! Это за отца! Это за мать!

Все потихоньку вышли из буфетной.

Утомившись, лысый купец присел за столик и приказал:

— Пива, подлюга! Если будет теплое — голову оторву.

Капитоша втянул грудь, прыгнул за стойку и, стуча коралловыми кольцами о бутылки, стал откупоривать пиво.

КЛУСАЧЕВ И ТУРКИН
(Верх автомобиля)

Вглядитесь повнимательнее в мой портрет... В уголках губ и в уголках глаз вы заметите выражение мягкости и доброты, которая, очевидно, свила себе чрезвычайно прочное гнездо. Доброты здесь столько, что ее с избытком хватило бы на десяток других углов губ и глаз.

Очевидно, это качество, эти черточки доброты не случайные, а прирожденные, потому что от воды и мыла они не сходят, и сколько ни тер я эти места полотенцем — доброта сияла из уголков губ и уголков глаз еще ярче. Так вода может замесить придорожную пыль в грязь, но та же вода заставляет блестеть и сверкать свежие изумрудные листочки на придорожных кустах.

Мне хочется, чтобы всем вокруг было хорошо, и если бы наше правительство пригласило меня на должность бесплатного советчика — может быть, из наших общих стараний что-нибудь бы и вышло.

В частной жизни я стремлюсь к тому же: чтобы всем было хорошо. Откуда у меня эта маниловская черта — я и сам хорошенько не разберусь.

* * *

Однажды весной мой приятель Туркин сказал мне вскользь во время нашего катанья на туркинском автомобиле:

— Вот скоро лето. Нужно подумать о том, чтобы снять этот тяжелый автомобильный верх и сделать летний откидной, парусиновый.

— Парусиновый? — переспросил я, думая о чем-то другом.

— Парусиновый.

— Автомобильный, парусиновый?

— Ну конечно.

— Вот прекрасный случай! — обрадовался я. — Как раз вчера я встретился с приятелем, которого не видел года два. Теперь он управляющий автомобильным заводом, здесь же, в Петербурге. Закажите ему!

Мысль у меня была простая и самая христианская: Туркин хороший человек, и Клусачев хороший человек. У Туркина есть нужда в верхе, у Клусачева — возможность это сделать. Пусть Клусачев сделает это Туркину, они познакомятся, и вообще все будет приятно. И всякий из них втайне будет думать: «Вишь ты, какой хороший человек этот Аверченко. Как хорошо все устроил: один из нас имеет верх, другой заработал на этом, и, кроме того, каждый из нас приобрел по очень симпатичному знакомому».

Все эти соображения чрезвычайно меня утешили.

— Право, закажите Клусачеву, — посоветовал я.

Туркин задумчиво вытянул губы трубочкой, будто для поцелуя.

— Клусачеву? Право, не знаю. Может быть, он сдерет за это?.. Впрочем, если это ваша рекомендация, — хорошо! Так я и сделаю, как вы настаиваете.

Дело сразу потеряло вкус и приняло странный оборот: вовсе я ни на чем не настаивал; лично мне это не приносило никакой пользы и являлось затеей чисто филантропической. А выходило так, будто Туркин сделал мне какое-то одолжение, а я за это, с своей стороны, должен взвалить на свои плечи ответственность за Клусачева.

Я промолчал, а про себя подумал: «Бог с ними. Зачем мне возиться... Туркин пусть забудет об этом разговоре и закажет этот верх кому-нибудь другому».

Но Туркин относился ко мне поразительно хорошо: через неделю, встретившись со мной, он озабоченно взял меня за плечо и сказал:

— Ну что же вы? Я никому не заказывал автомобильного верха и жду вашего приятеля Трепачева. Где же ваш Трепачев?

— Клусачев, а не Трепачев.

— Пусть Клусачев, но мерку-то он должен снять? Я из-за него никому не заказал, а уже на днях лето.

— Хорошо, — сказал я. — Я увижусь с ним и скажу.

— Да, но вы должны увидеться как можно раньше! Не могу же я, согласитесь, париться под этой тяжелой душной крышкой.

* * *

В тот день я был чем-то занят, а на другой день мне позвонили по телефону:

— Алло! Это я, Аверченко.

— Слушайте, голубчик... Ну что, были вы уже у вашего Муртачева?

— Клусачева, вы хотите сказать.

— Ну да. Не могу же я ждать, согласитесь сами. Вы уже были у него?

— Только вот собираюсь. Ведь этот завод на краю города. Уж у меня и извозчик заказан. Сейчас еду.

Действительно, нужно было ехать.

Клусачев был хороший человек и встретил меня тепло:

— А, здравствуйте! Вот приятный гость!

— Ну, скажите мне спасибо: я вам заказик принес.

— А что такое?

— Верх для автомобиля одному моему приятелю.

— У него ландолэ?

— Н...не знаю. Может, оно действительно так и называется. Беретесь?

— Взяться-то можно, только ведь эта штука не дешевая. Обыкновенно думают, что она дешевая, а она не дешевая.

— Ну, вы бы по знакомству скидку сделали.

— Скидку? Ну, для вас можно сделать по своей цене. Ладно! Обыкновенно эти заказы не особенно интересны, но раз вы просите — какие же могут быть разговоры...

Все краски в моих глазах сразу потускнели и сделались серыми... Эти люди не видели в моих хлопотах простого желания сделать им приятное, а упорно придавали всему делу вид личного мне одолжения.

Едучи обратно, я думал: что стоило бы мне просто промолчать в то время, когда Туркин начал разговор об этом верхе... Он бы заказал его в другом месте, а Клусачев, конечно, прожил бы сам по себе и без этого заказа.

Некоторые писатели глубокомысленно сравнивают жизнь с быстро мелькающим кинематографом. Но кинематограф, если картина не нравится, можно пустить в обратную сторону, а проклятая жизнь, как бешеный бык, прет и ломит вперед, не возвращаясь обратно. Хорошо бы (думал я) по-

вернуть несколько дней моей жизни обратно до того места, когда Туркин сказал:

«Нужно сделать откидной верх»... Взять бы после этого и промолчать о Клусачеве.

Не течет река обратно...

* * *

— Алло, вы?

— Да, это я.

— Слушайте, голубчик! Уже прошло три дня, а от вашего Кумачева ни слуху ни духу.

— Клусачева, а не Кумачева.

— Ну да! Дело не в этом, а в том, что уже пошли жаркие дни и мы с женой буквально варимся в автомобиле.

— Да я был у него. Он обещал позвонить по телефону.

— Обещал, обещал! Обещанного три года ждут.

Я насильственно засмеялся и сказал успокоительно:

— Зато он ради меня дешево взял. По своей цене. Всего 200 руб.

— Да? Гм!.. Странная у них *своя* цена... А мне в Невском гараже брались сделать за 180 и с подъемным стеклом... Ну да ладно... Раз вы уже заварили эту кашу — приходится ее расхлебывать.

Сердце мое похолодело: подъемное стекло! А вдруг этот Клусачев делал свои расчеты без подъемного стекла?

— Хорошо, — ласково сказал я. — Я с ним... гм... поговорю... ускорю... Всего хорошего.

* * *

— Алло! Это вы, Клусачев?

— Я!

— Слушайте! Что же с Туркиным?

— А что такое?

— Вы, оказывается, до сих пор не сняли мерки?

— Да все некогда. У нас теперь масса работы по ремонту. Собственно говоря, мы бы за этот верх и совсем не взялись, но раз вы просили, я сделал это для вас. Завтра сниму мерку...

* * *

— Алло! Вы?

— Да, я. Аверченко.

— Слушайте, что же это ваш Крысачев — снял мерку, да и провалился. Уже неделя прошла. Я не понимаю такого поведения: не можешь, так и не берись... Наверное, он какой-нибудь аферист...

— Да нет же, нет, — сказал я умиротворяюще. — Это прекрасный человек! Редкий отец семейства. Это и хорошо, что он так долго не появляется. Значит, уже делает.

— О, Господи! Он, вероятно, к осени сделает этот злосчастный верх? Имейте в виду, если через три дня верха не будет — не приму его потом. И то, эту отсрочку делаю только для вас.

* * *

— Алло! Вы, Клусачев?

— Я.

— Слушайте, милый! Ведь меня Туркин ест за этот верх. Когда же...

— А, пусть ваш Туркин провалится! Он думает, что только один его верх и существует на свете. Вот навязали вы мне на шею горе злосчастное. Прибыли никакой, а минутки свободной дохнуть не дадут.

— А он говорил, — несмело возразил я, — что у него брались сделать этот верх за 180 рублей...

— Так и отдавал бы! Странные люди, ей-Богу. В другом месте им золотые горы сулят, а они сюда лезут!

* * *

На моем письменном столе прозвенел телефонный звонок.

Я снял трубку, приложил ее к уху и предусмотрительно пропищал тоненьким женским голосом:

— Алло? Кто говорит?

Сердце мое чуяло: говорил Туркин.

— Барин дома?

— Нетути, — пропищал я. — Уехамши.

— Куда-а-а?

— В Финляндию.
— А чтоб его черти забрали, твоего глупого барина. Надолго?
— На пять дён.
— Послушай, передай ему, что так порядочные люди не поступают! Чуть не тридцать градусов жары, а я по его милости должен жариться в проклятой душной коробке.
— Слушаюсь-с, — пропищал я. — Хорошо-с.

* * *

Я дал отбой и, переждав минуту, позвонил Клусачеву.
— Алло! — сказал я. — Квартира Клусачева?
— Да, — сказал женский голос. — Вам кого?
— Клусачев дома?
— Дома. А кто говорит?
— Аверченко.
— Аверченко говорит, — сказал женский голос кому-то в сторону.
— А, ну его к черту! — послышался отдаленный мужской голос. — Скажи, что только что я ушел.
— Вы слушаете? Только что вышел барин. Сию минутку. Я-то думала, что он дома, а он, гляди, вышел.
— Когда же он вернется? — терпеливо спросил я.
— Когда вернетесь? — справился женский голос.
— Скажи ему, что я... ну, уехал в Финляндию; вернусь через три дня, что ли.
— Уехали в Финляндию, — повторил рабски женский голос. — Через три дня.
Я швырнул трубку, бросился на диван и закрыл лицо руками: мне представлялся Туркин, носящийся в своем глухом закрытом автомобиле по жарким душным городским улицам, и редкие прохожие, заглянув в автомобильное окно, в ужасе шарахаются при виде чьего-то красного, мокрого, обваренного жгучей духотой лица, черты которого искажены бешенством и злобой.
С этого часа я безмерно полюбил столь редкую летом холодную сырую погоду. Дождь, ветер облегчали и освежали меня. Наоборот, жара действовала на меня ужасно: красное исковерканное бешенством призрачное лицо, выглядывающее из черного мрачного гробообразного автомобиля, чудилось мне.

* * *

В этот жаркий день я был именинником, хотя в календаре Аркадий и не значился: гуляя по улице, я увидел *открытый автомобиль с прекрасным парусиновым верхом.* В нем сидел Туркин.

— А, — приветливо сказал я. — Поздравляю! Довольны?

— Ну, знаете, не могу сказать. Тянул, тянул этот Чертачев ваш.

— Клусачев, — печально улыбнулся я.

— Клусачев он или кто, но содрал за парусиновый верх без подъемного стекла 200 рублей — это грабеж! Удружили вы мне, нечего сказать.

Я вздохнул, похлопал рукой по кузову автомобиля и бесцельно спросил:

— Ландолэ?

— Ландолэ. Порекомендовали вы мне, нечего сказать.

* * *

— Алло! Клусачев?

— Да, я. Кто говорит?

— Аверченко. Хорошо съездили?

— Куда?

— В Финляндию.

— В какую там Финляндию?! Ах да... Как вам сказать... Уж больно я истрепался за последнее время. Один ваш этот Туркин все жилы вымотал. Работа хлопотливая, прибыли ни копейки, да еще из-за этого выгодный заказ один утеряли. Порекомендовали, нечего сказать!..

РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ

I

Конкретное представление писца Бердяги о широкой, привольной, красивой жизни заключалось в следующем: однажды года три тому назад, когда еще была жива Бердягина мать, он, по ее настоянию, пошел к крестному Остроголовченко похристосоваться и вообще выразить свою любовь и почтение.

— Может быть, — подмигнула веселая старуха, — этот негодяй и кровопийца оставит тебе что-нибудь после смерти. Все ж таки крестный отец.

Бердяга пошел — и тут он впервые увидел ту роскошь, ту сверкающе-красивую жизнь, выше которой ничего быть не могло.

Ярко-желтые, крашенные масляной краской полы сверкали, как река под солнцем; повсюду были разостланы белые девственные половики; мебель плюшевая; а в углу прекрасной, оклеенной серо-голубыми обоями гостиной был накрыт белоснежный стол. Солнышко рассыпало самоцветные камни на десятках пузатых бутылок с коричневой мадерой, красной рябиновкой и таинственными зелеными ликерами; жареный нежный барашек с подрумяненной кожицей дремал на громадном, украшенном зеленью блюде в одном углу стола, а толстый сочный окорок развалился на другом углу; все это перемешивалось с пышным букетом разноцветных яиц, икрой, какими-то сырными изделиями, мазурками и бабами; а когда крестный Остроголовченко расцеловался с Бердягой, на Бердягу пахнуло превкуснейшей смесью запаха сигар и хорошего одеколона.

И разговор, который вел крестный с Бердягой, тоже был приятен, нравился Бердяге и льстил ему. Крестный не видел Бердягу лет семь, помнил его мальчиком, а теперь, увидев высочайшего молодца с костлявым носатым лицом и впалой грудью, очень удивился.

— Как?! Ты уже вырос?! Однако. Вот не думал! Да ведь ты мужчина!

По тону старого Остроголовченко можно было предположить, что он гораздо менее удивился бы, если бы Бердяга явился к нему тем же тринадцатилетним мальчишкой, которым он был семь лет тому назад.

Смущенный и польщенный таким вниманием к своей скромной особе, Бердяга хихикнул, переступил с ноги на ногу и тут же решил, что его крестный — прекрасный, добрый человек.

— Да, да. Форменный мужчина. Служишь?

— Служу, — ответил Бердяга, замирая от тайного удовольствия разговаривать с таким важным человеком в прекрасном черном сюртуке и с золотой медалью на красной ленте, данной Остроголовченке за какие-то заслуги.

— Служу в технической конторе братьев Шумахер и Зайд «Земледельческие орудия и машины», представители Альфреда Барраса, Анонимной компании Унион и Джеффри Уатсона в Шеффильде.

— Вот как, — покачал головой крестный довольно любезно. — Это хорошо. Много получаешь?

— Двадцать семь рублей да наградные.

— Вот как! Прямо-таки мужчина. Ты помнишь, Егор Ильич, покойного Астафия Иваныча Бердягу. Это его сынок, Володя.

Гость Егор Ильич отнесся к Бердяге не менее любезно — как настоящий светский человек.

— Да? — сказал он задумчиво. — Так, так. Служите?

— Служу, — радостно отвечал Бердяга, еле скрывая свою гордость, так как чувствовал себя центром внимания многочисленных визитеров Остроголовченки.

— А где?

— В технической конторе братьев Шумахер и Зайд «Земледельческие орудия и машины», представители Альфреда Барраса, Анонимной компании Унион и Джеффри Уатсона в Шеффильде.

— А как здоровье мамы? — спросила жена Остроголовченки, величественная старуха.

— Ничего, благодарю вас, слава Богу. Она извиняется, что не могла прийти — лежит больная.

— Так, так, — с элегантной рассеянностью кивнул головой Остроголовченко. — Дай Бог, дай Бог. Ну, господа, попрошу к столу. Закусите, чем Бог послал.

Гости шумной, запинающейся толпой двинулись к столу.

— Пожалуйста, водочки, винца. Егор Ильич, Марья Платоновна! Сергей Васильич, Василий Сергеевич! А ты Володя — пьешь?

Снова покраснев от этого знака внимания, Володя Бердяга пролепетал, пряча в карманы громадные красные руки:

— Кх! Иногда. Немножко. Я уже, в сущности, пил.

— Ничего, выпей. Ну, прямо-таки — прямо мужчина. Служишь?

— Да... В технической конторе братьев Шумахер и Зайд «Земледельческие орудия и машины», представители Альфреда Бар...

— Берите ветчины, — любезно сказал хозяин длинному морщинистому старику. — Кажется запечена неплохо.

— Нет, вы мне бы лучше не наливали, — нерешительно, конфузясь, говорил Володя. — Зачем вы беспокоитесь?

— Ничего. Ну, как мама? Здорова?

— Благодарю вас. Она очень извиняется, что не могла...

— Да вы прямо ложкой берите икру! Ну много ли ее ножом захватишь?

— Позвольте, я передам, — сказал Володя Егору Ильичу.

— Спасибо. Так вы Астафия Иваныча покойного сынок? Приятно, приятно. Служите?

— Да... в технической конторе братьев Шумахер и Зайд, земледель...

— А почему мама не пришла? — спросила хозяйка, поправляя на столе горшок с гиацинтом.

— Она извинялась очень, что не может. Она...

— Совсем мужчина! — заметил вскользь Остроголовченко. — Что десять-то лет делают! Ну что ж, пора определяться куда-нибудь и на службу!

Полы сверкали, половики сверкали, пахло гиацинтами и жареным барашком, гости были приветливы, от хозяина пахло одеколоном, в верхнем этаже чьи-то несмелые девичьи руки играли сладкий вальс, и Бердяге казалось, что он плавает в эфире, покачиваясь на нежных волнах самых прекрасных переживаний.

II

Когда мать умерла, Бердяга продал ее кровать, салоп, купил на вырученные деньги семиструнную гитару, подстаканник и переехал на житье к старухе Луковенковой, имевшей квартирку на одной из самых тихих отдаленных улиц городка.

Жил писец Бердяга так: вернувшись со службы, обедал, часа два после обеда лежал на кровати, а потом, напившись чаю из стакана с металлическим подстаканником, до самого вечера сидел на деревянном крылечке с гитарой в руках.

Проходила барышня в шляпке или баба с ведром воды — Бердяга провожал их взором и играл тихонько на гитаре, напевая песенку о монахе, жившем у дуба.

Это была его любимая песенка; в особенности нравилась ему странная, немного нескладная строка:

«И гром дуб тот разразил...»

— И-и громдубтотразразил! — меланхолически напевал Бердяга, вперив взор, если никого не было на улице, в небо.

Налюбовавшись на прохожих, на небо и наигравшись вдоволь на гитаре, Бердяга вставал, расправлял онемевшие члены и шел ужинать.

Засыпая, любил вспомнить о чем-нибудь приятном; конечно, большею частью воспоминания его, как привязанные веревкой за ногу, вертелись около гостиной со сверкающими желтыми полами, узорными гардинами, столом, заставленным разными прекрасными вещами, около блестящего хозяина Остроголовченко, светской его жены и толпы добрых изящных гостей.

С особенным удовольствием вспоминал Бердяга те небрежные вопросы, которые задавались ему хозяевами и гостями и сейчас же забывались. В этой небрежности он видел подлинный шик и уменье вести беседу.

Бердягу трогало то, что вот, мол, людям, может быть, и совершенно неинтересно, служу я или нет; но раз они спрашивают — значит, тут есть какое-то особое воспитание, уменье быть в обществе приятным и доставить ближнему удовольствие.

«Пригласить бы их всех к себе, — подумал однажды Бердяга. — Жаль, что у меня комнатка маленькая. Ну да ничего. Десять человек-то уместятся. Устроить такой же стол, только поменьше, поставить ветчину, бутылку вина и крашеные яйца. Придут, опять начнутся разговоры. Я надену сюртук, надушусь одеколоном и как будто вскользь приглашу всех к закусочке. “Закусить, чем Бог послал”. Когда я скажу, что получил семь рублей прибавки у Шумахеров и Зайд — все, наверно, будут удивлены. После первой рюмки скажу: “по одной не закусывают” и спрошу у крестного, как поживает его супруга. Жаль, что краска на полах повыщербилась и покоробилась. Хорошо бы, если бы полы блестели. Потом гитару покажу. Будут просить играть... Сыграю что-нибудь».

И Бердягу вдруг неожиданно и со страшной силой потянуло к красивой праздничной жизни — хоть на один

день, именно тот день, когда люди делаются лучше, добрее, воздух нежнее и солнце ярче. Бердяга, погруженный в свои мысли, встал с кровати, зажег свечку и стал записывать:

Бутылка вина	70 к.
Бутылка водки	40 к.
Пива 3 бутылки	42 к.
Ветчина	1 р.
Сардины	35 к.
Колбаса, хлеб и проч.	1 р.
Кулич и 2 гиацинта в горшках	2 р.
Мелкие расходы	13 к.

Выходило шесть рублей.

Старые ботинки можно смазать чернилами, но галстук придется купить новый. Темно-зеленый.

В ту же ночь — это была ночь под Страстную субботу — Бердяга написал десять писем — полупоздравительных, полупригласительных.

Выражая удовольствие по поводу наступления такого праздника, Бердяга имел почтительнейшую честь принести поздравления и был бы рад, если бы адресат вспомнил его, скромного человека, и осчастливил посещением, не брезгуя «закусить чем Бог послал».

III

Пасхальное солнце добросердечно грело пасхальную землю и даже заглянуло в окошечко Бердягиной комнаты. Но, памятуя о разности человеческих положений и о пропасти, отделявшей Бердягу от Остроголовченко, оно не заиграло на бутылках с вином и пивом, не блеснуло рубинами и изумрудами на красных и зеленых яйцах, а ограничилось тем, что небрежно мазнуло золотой кистью по гитаре на стене, поморщилось, наткнувшись на облупленный, покоробившийся пол, и уползло — с визитом к купцу миллионеру Смушкину, квартиранту первого этажа.

Бердяга — этот горемычный выскочка — сиял в ожидании гостей. Показная роскошь губила людей и побогаче его, а все эти зеленые галстуки, да одеколон, да пара гиацинтов по бокам кулича — все это за версту попахивало громадной трещиной в Бердягином бюджете.

С улыбкой на лице и полузакрытыми глазами Бердяга в сотый раз оглядывал закуски, крашеные яйца, свежевымытый пол, крахмальную занавеску на окне, и думал:

«Какая громадная суматоха подымется около стола... "Рюмочку водки!" — "Ах, что вы: не пью!" — "Ну, одну — ради праздника!" — "Разве что, ради праздника. За ваше здоровье". — "Служить изволите?" — "Да, в конторе. Техническая контора Шумахер и Зайд, земледельческие ору... Отчего же вы ветчины не берете? Пожалуйста, господа, не стесняйтесь"».

Подходя к зеркалу, Бердяга делал лицо старого хлебосола, умеющего принять и угостить, душа нараспашку, потом подходил к окну, к дверям и прислушивался.

Прошел назначенный в письме час... Прошел другой и третий.

Ни *одна душа не явилась к Бердяге.*

Но разоренный, голодный Бердяга еще крепился... Он ожидал гостей и поэтому боялся нарушить гармонию разложенной звездочками колбасы, плотно слежавшихся сардинок и ветчины, замечательно искусно украшенной пучочками салата...

И-игромдубтотраз-разил...

Бердяга лег на кровать и долго, с оскорбленным лицом, наблюдал за тем, как постепенно умирало навозившееся за долгий день солнце...

. . . .

В двери постучались.

— Кто там? Прошу! — вскричал Бердяга, вскакивая.

— Это я, Владимир Астафьич. Имею честь поздравить с наступившим и, как говорится, на долголетие и успехи в занятиях житейской сущности человеческого произрастания.

Перед Бердягой стоял высокий, краснощекий детина, в сером пальто и в фуражке с золотым галуном — швейцар технической конторы Шумахер и Зайд, земледельческие орудия.

Бердяга разочарованно осмотрел его и на мгновение опустил голову.

Было у него два исхода — аристократический и демократический.

Аристократический заключался в том, чтобы сказать небрежно: «Ага! Спасибо, братец, спасибо», — дать сиротливо

лежавший в жилетном кармане двугривенный, потрепать поздравителя снисходительно по плечу и отпустить с миром. Можно было сюда же внести еще кое-что от хлебосольного барина, души нараспашку: дать поздравителю стакан водки и кусок кулича с ветчиной.

Другой исход был демократический: махнуть рукой на все эти условности, на все эти «пропасти отделяющие»... на все эти фигли-мигли, а просто обнять краснощекого детину в швейцарской фуражке, похристосоваться с ним и, усадив за стол, натешить желудок яствами, а душу — интересной беседой о разных вещах, приковывающих внимание таких вдумчивых людей, как эти два одиноких холостяка.

Выбор Бердяги пал на аристократические поступки.

— Ага, — сказал он, вынимая двугривенный и всовывая его в руку швейцара. — Спасибо, спасибо. Вот вам, братец. Хе-хе! Дело праздничное.

За аристократом потянулся и старый хлебосол.

— Стаканчик водки не выпьете ли? Кулича нашего попробуйте. Ветчинки...

Но, вероятно, всякий барин-хлебосол — в душе отчаянный демократ, потому что Бердяга, налив гостю рюмку водки, неожиданно сказал:

— Стойте! И я с вами тоже выпью.Но педантичный аристократ не хотел сдаваться так легко: налить-то себе он налил, но чокаться с человеком, стоявшим на самой низкой ступени человеческого общества, почел неудобным.

Однако человек на низкой ступени, не замечая борьбы в душе аристократически настроенного хозяина, взял в руку свою рюмку и простодушно потянулся к ней:

— Ну-с, Владимир Астафьич... Дай вам Боже, с праздничком! Удовлетворения вам всех естественных потребностей!

Было так: швейцар технической конторы стоял у стола по одну сторону, а конторщик Бердяга по другую; когда они чокнулись и выпили, Бердяга обратил внимание на то, что, стоя, им неудобно разрезывать ветчину и намазывать ее горчицей.

— Может, присядете? Э, да чего там, какие церемонии! Садитесь, Яков. Еще одну рюмочку, а?

— Ах, да я, в сущности, не пью. Разве только ради праздника?.. Ну, с наступающим!

— Ваше здоровье! Служите?

Яков недоумевающе посмотрел на Бердягу.

— Да как же! У нас в технической конторе.

— Знаю, знаю, — покровительственно сказал Бердяга. — В технической конторе братьев Шумахер и Зайд «Земледельческие орудия и машины», представители Альфреда Барраса...

— Да... — привычной скороговоркой подтвердил Яков. — Анонимной компании Унион и Джеффри Уатсона...

— В Шеффильде! И давно служите?

— Да вот уже второй год. Сейчас же после вас определился.

— Кушайте, пожалуйста, Яков... как по отчеству?

— Семеныч.

— Вот я вам, Яков Семеныч, выберу красненькое с синей полоской. Матушка здорова?

— Ничего. Нынче только с утра что-то...

— Может быть, винца еще можно?

— Много будет, Владимир Астафьич.

— Ну уж и много. А вот сардинки. Давно служите?

— Второй год. Прямо-таки скоро после вас определился, когда Альфред Густав...

— Ага! Это хорошо. А вот эта колбаса с чесноком, а эта без. Прошу, господа! Прошу закусить, чем Бог послал. Матушка ваша как поживает?

— Так, вообще, ничего. Да сегодня старуха что-то, от обедни вертаясь...

— Ну, слава Богу. Это приятно! Надеюсь, пивца-то вы выпьете? Ну, что ничего вам служится в конторе братьев Шумахер и Зайд...

— Представители Альфреда Барраса, — машинально продолжил швейцар. — Да пожаловаться нельзя. Иногда только перед праздником, когда...

— Ну, слава Богу, дай Бог! Мамаша дома сидит или в гостях?

— Дома. Она, Владимир Астафьич...

— Так, так... а вот это моя гитара... Потом я вам сыграю.

Ушел швейцар технической конторы братьев Шумахер и Зайд от конторщика той же фирмы довольно поздно — в 11 часов.

Бердяга долго жал руку этому непрезентабельному гостю и просил «не забывать».

А когда гость ушел, Бердяга, вернувшись в комнату и прибирая на столе, должен был оценить деликатность этого краснощекого, дубоватого на вид парня: на скатерти среди крошек хлеба и кулича лежал Бердягин двугривенный — отвергнутая дань аристократизма во имя чумазой демократии...

ФУНКЕЛЬМАН И СЫН
(Рассказ матери)

Я еще с прошлого года стала замечать, что мой мальчик ходит бледный, задумчивый. А когда еврейский мальчик начинает задумываться — это уже плохо. Что вы думаете, мне обыск нужен, что ли или что?

— Мотя, — говорю я ему, — Мотя, мальчик мой! Чего тебе так каламитно?

Так он поднимет на меня свои глазки и скажет:

— Что значит — каламитно! Ничего мне не каламитно!

— Мотя! Чего ты крутишь? Ведь я же вижу...

— Ой, — говорит, — отстань ты от меня, мама! У меня скоро экзамен на аттестат зрелости, а потом у меня есть запросы.

Обрадовал! Когда у еврейского мальчика появляются запросы, так господин околоточный целую ночь не спит.

— Мотя! Зачем тебе запросы? Что, их на ноги наденешь, когда башмаков нет, или на хлеб намажешь вместо масла? Запросы, запросы. Отцу твоему сорок шестой год — он даже этих запросов и не нюхал. И плохо, ты думаешь, вышло? Пойди, поищи другой такой галантерейный магазин, как у Якова Функельмана! Нужны ему твои запросы! Он даже картоночки маленькие по всему магазину развесил! «Цены без запроса».

— Мама, не мешай мне! Я читаю.

Он читает! Когда он читает, так уже мать родную слушать не может. Я через тебя, может, сорок две болячки в жизни имела, а ты нос в книжку всунул и думаешь, что умный, как раввин. Гениальный ребенок.

Вижу — мой Мотя все крутит и крутит.

— Что ты крутишь?

— Ничего я не кручу. Не мешай читать.

Что это он там такое читает? Ой! Разве сердце матери это камень или что? Я же так и знала! «Записки Кропоткина»! Тебе очень нужно знать записки Кропоткина, да? Ты будешь больной, если ты их не прочтешь? Брось сейчас же!

— Мама, оставь, не трогай. Я же тебя не трогаю.

Еще бы он родную мать тронул, шейгец паршивый!

И так мне в сердце ударило, будто с камнем.

Куда, вы думаете, я сейчас же побежала? Конечно, до отца.

— Яков! Что ты тут перекладываешь сорочки? Убежат они, что ли, от тебя или что? Он должен обязательно сорочки перекладывать...

— А что?

— Ты бы лучше на Мотю посмотрел.

— А что?

— Ему надо читать «Записки Кропоткина», да?

— А что?

— Яков! Ты мне не крути. Что ты мне крутишь! Скандала захотел, обыска у тебя не было, да?

— А что?

Это не человек, а дурак какой-то. Еще он мне должен голову крутить!

— Что тебе нужно, чтобы твой сын в тюрьме сидел? Тебе для него другого места нет? Одевайся, пойдем домой!

Вы думаете, что он делал, этот Мотя, когда мы пришли? Он читал себе «Записки Кропоткина».

— Мотька, — кричит Яков, — брось книгу.

— А вы, — говорит, — ее подымете?

— Брось, или я тебя сию минуту по морде ударю.

И как вы думаете, что ответил этот Мотя?

— Попробуй! А я отравлюсь.

Это запросы называется!

— А чтоб ты пропал! Тебе для матери книжку жалко. Тебя кто рожал — мать или Кропоткин?

— А что вы, — говорит Мотя, — думаете? Может, я, благодаря ему, второй раз на свет родился.

Ой, мое горе! Я заплакала, Яша заплакал и Мотя тоже заплакал. Прямо маскарад!

Вышли мы с Яшей в спальню, смотрим друг на друга.

— Хороший мальчик, а? Ему еще в носе нужно ковырять, а он уже Кропоткина читает.

— Ну, что же?

— Яша! Ты знаешь, что? Нашего мальчика нужно спасти. Это невозможно.

Так Яша мне говорит:

— Что я его спасу? Как я его спасу? По морде ему дам? Так он отравится.

— Тебе сейчас — морда. Интеллигентный человек, а рассуждает, как разбойник. Для своего ребенка головой пошевелить трудно. Думай!

Яков сел, стал думать. Я села, стала думать. Ум хорошо, а два еще лучше. Думаем, думаем, хоть святых вон выноси.

— Яша!

— А что?

— Знаешь, что? Нашего ребенка нужно отвлечь.

— Ой, какая ты умная, — отвлечь! Чем я его отвлеку? По морде ему дам?

— Ты же другого не можешь! Для тебя Моткина морда это идеал!.. Он ребенок живой — его чем-нибудь другим заинтересовать нужно... Нехай он влюбится, или что?

— Какая ты, подумаешь, гениальная женщина! А в кого?

— Ну, пусть он побывает в свете! Поведи его в кинематограф или еще куда! Что, ты не можешь повести его в ресторан?!

— Нашла учителя! Что, я бывал когда-нибудь в ресторане? Даже не знаю, как там отворять дверей.

— Что ты крутишь! Что ты мине крутишь? Тебе это чужой ребенок? Это кропоткинское дитё, а не твое? Такой большой дурак, и не может мальчика развлекать.

Так пошел он к Моте, стал крутить:

— Ну, Мотечка, не сердись на нас. Пойди с отцом немного пройдись. Я ведь же тебя люблю — ты такой бледненький.

Ну, Мотька туда-сюда — стал крутить: то дайте ему главу дочитать, то у него ноги болят.

— Хороший ребенок! Книжку читать — ноги не болят, а с отцом пройтись — откуда ноги взялись. Надевай картузик, Мотенька, ну же!

Похныкал мой Мотечка, покапризничал — пошел с папой.

Они только за двери — я сейчас же к нему в ящик... Боже ты мой! И как это у нас до сих пор обыска не было — не по-

нимаю! За что только, извините, полиция деньги получает?.. И Кропоткины у него, и Бебели, и Мебели, и Малинины, и Буренины — прямо пороховой склад. Эрфуртских программ — так целых три штуки! Как у ребенка голова не лопнула от всего этого?!

Ой, как оно у меня в печке горело, если бы вы знали! Быка можно было зажарить.

В одиннадцать часов вечера вернулись Яша с Мотей, а на другое утро такой визг по дому пошел, как будто его резали.

— Где мои книги?! Кто имел право брать чужую собственность! Это насилие! Я протестуюсь!!

Функельманы, это верно, любят молчать, но когда они уже начинают кричать — так скандал выходит на всю улицу.

— Что ты кричишь, как дурак, — говорит Яков. — От этого книжка не появится обратно. Пойдем лучше контру сыграем.

— Не желаю я вашу контру, отдайте мне моего Энгельса и Каутского!

— Мотя, ты совсем сумасшедший! Я же тебе дам фору — будем играть на три рубля. Если выиграешь, покупай себе хоть десяток новых книг!

— Потому только, — говорит Мотя, — и пойду с тобой, чтобы свои книги вернуть.

Ушли они. Пришли вечером в половине двенадцатого.

— Ну что, Мотя, — спрашиваю, — как твои дела?

— Хорошие дела, когда папаша играет, как маркер. Разве можно при такой форе кончать в последнем шаре? Конечно же, он выиграет. Я не успею подойти к бильярду, как у него партия сделана.

Ну, утром встали они, Мотя и говорит:

— Папаша, хочешь контру?

— А почему нет?

Ушли. Слава Богу! Бог всегда слушает еврейские молитвы. Уже Мотя о книжках и не вспоминает.

Раньше у него только и слышишь:

«Классовые перегородки, добавочная стоимость, кооперативные начала...»

А теперь такие хорошие русские слова:

«Красный по борту в лузу, фора, очко, алагер».

Прямо сердце радовалось.

Ну, пришли они в двенадцать часов ночи — оба веселые, легли спать.

Пиджаки в мелу, взяла я почистить — что-то торчит из кармана. Э, программа кинематографа. Хе-хе! После эрфуртской программы, это, знаете, недурно. Бог-таки поворачивает ухо к еврейским молитвам!

Ну, так у них так и пошло: сегодня бильярд, завтра бильярд и послезавтра тоже бильярд.

— Ну, — говорю я как-то, — слава Богу, Яша... Отвлек ты мальчика. Уже пусть он немного позанимается. И ты свой магазин забросил.

— Рано, — говорит Яша. — Еще он еще вчера хотел открытку с видом на Маркса купить.

Ну, рано, так рано.

Уже они кинематограф забросили, — уже программки цирка у них в кармане. Еще проходит неделя — кажется, довольно, мальчик отвлекся.

— Мотя, что же с экзаменом? Яша, что же с магазином?

— Еще не совсем хорошо, — говорит Яша, — подождем недельку. Ты думаешь, запросы так легко из человека выходят?!

Недельку, так недельку. Уже у них по карманам не цирковая программа, а от кафешантана — ужасно бойкий этот Яша оказался...

— Ну, довольно, Яша, хватит! Гораздо бы лучше, чтобы Мотя за свои книги засел.

— Сегодня, — говорит Яша, — нельзя еще, мы одному человечку в одном месте быть обещали.

Сегодня одному человечку, завтра одному человечку... Вижу я, Яков мой крутить начинает.

А один раз оба этих дурака в десять часов утра явились.

— Где вы были, шарлатаны?

— У товарища ночевали. Уже было поздно, и дождик шел, так мы остались.

Странный этот дождик, который на их улице шел, а на нашей улице не шел.

— Я, — говорит Яша, — спать лягу, у меня голова болит. И у Моти тоже голова болит; пусть и он ложится.

Так вы знаете что? Взяла я их костюмы, и там лежало в карманах такое, что ужас: у Мотьки черепаховая шпилька, а у Яши черный ажурный чулок.

Это тоже дождик?!

То эрфуртская программа, потом кинематографическая, потом от цирка, потом от шантана, а теперь такая программа, что плюнуть хочется.

— Яша! Это что значит?

— Что? Чулок! Что ты, чулков не видала?

— Где же ты его взял?

— У коммивояжера для образца.

— А зачем же он надеванный? А зачем ты пьяный? А зачем у Мотьки женская шпилька?

— Это тоже для образца.

— Что ты крутишь? Что ты мине крутишь? А отчего Мотька спать хочет? А отчего в твоей чековой книжке одни корешки? Ты с корешков жить будешь? Чтоб вас громом убило, паршивцев!

И теперь вот так оно и пошло: Мотька днем за бильярдом, а ночью его по шантанам черти таскают. Яшка днем за бильярдом, а ночью с Мотькой по шантанам бегает. Такая дружба, будто черт веревкой их связал. Отец хоть изредка в магазин за деньгами приедет, а Мотька совсем исчез! Приедет, переменит воротничок, и опять назад.

Наш еврейский Бог услышал еврейскую молитву, но только слишком; он сделал больше, чем надо. Так Мотька отвлекся, что я день и ночь плачу.

Уже Мотька отца на бильярде обыгрывает и фору ему дает, а этот старый осел на него не надыхается.

И так они оба отвлекаются, что плакать хочется. Уже и экзаменов нет, и магазина нет. Все они из дому тащат, а в дом ничего. Разве что иногда принесут в кармане кусок раздавленного ананаса или половинку шелкового корсета. И уж они крутят, уж они крутят...

* * *

Вы извините меня, что я отнимаю время разговорами, но я у вас хотела одну вещь спросить... Тут никого нет поблизости? Слушайте! Нет ли у вас свободной эрфуртской программы или Кропоткина? Что вы знаете, утопающий за соломинку хватается, так я бы, может быть, попробовала бы... Вы знаете что? Положу Моте под подушку, может, он найдет и отвлечется немного... А тому старому ослу —

сплошное ему горе — даже отвлекаться нечем! Он уже будет крутить, и крутить, и крутить до самой смерти.............

....

СВЯТЫЕ ДУШИ

Бывают такие случаи в жизни, в которых очень трудно признаться.

I

Сегодня утром я, развернув газету и пробегая от нечего делать отдел объявлений, наткнулся на такую публикацию:

«*Натурщица* — прекрасно сложена, великолепное тело, предлагает художникам услуги по позированию».

«Хи-хи, — засмеялся я внутренне. — Знаем мы, какая ты натурщица. Такая же, как я художник...»

Потом я призадумался:

«Поехать, что ли? Вообще, я человек такой серьезный, что мне не мешало бы повести образ жизни немного полегкомысленней. Живут же другие люди, как бабочки, перепархивая с цветка на цветок. Самые умные, талантливые люди проводили время в том, что напропалую волочились за женщинами. Любовные истории Бенвенуто Челлини, фривольные похождения гениального Байрона, автора глубоких, незабываемых шедевров, которые останутся жить в веках... Извозчик!!!»

....

....

В глубине большого мрачного двора я отыскал квартиру номер седьмой и позвонил с некоторым замиранием сердца.

Дверь открыла угрюмая горничная — замкнутое в себе существо.

— Что угодно?

— Голубушка... Что, натурщица, вообще... здесь?

— Здесь. Вы художник? Рисовать?

— Да... я, вообще, иногда занимаюсь живописью. Вы скажите там... Что, вообще, мол, все будет, как следует.

— Пожалуйте в гостиную.

Через минуту ко мне вошла прекрасно сложенная красивая молодая женщина в голубом пеньюаре, который самым честным образом обрисовывал ее формы. Она протянула мне руку и приветливо сказала:

— Вы насчет позирования? Да? Художник?

«Пора переходить на фривольный тон», — подумал я.

— Художник? Ну, что вы! Хи-хи! Откуда вы могли догадаться, что я художник?

Она засмеялась.

— Вот тебе раз! А зачем бы вы тогда пришли, если не художник? В академии?

— Нет, не в академии, — вздохнул я. — Не попал.

— Значит, в частной мастерской. У кого?

Я общительно погладил ее руку.

— Какая вы милая! А вот догадайтесь!

— Да как же можно догадаться... Мастерских много. Вы можете быть и у Сивачева, и у Гольдбергера, и у Цыгановича. Положим, у Цыгановича скульптура... Ну, еще кто есть?.. Перепалкин, Демидовский, Стремоухов... У Стремоухова, да? Вижу по вашим глазам, что угадала.

— Именно, у Стремоухова, — подтвердил я. — Конечно, у него.

Она оживилась.

— А! У Василия Эрастыча! Ну, как он поживает?

— Да ничего. Пить начал, говорят.

— Начал? Да он, кажется, лет двадцать, как пьет.

— Ну? Эх, Стремоухов, Стремоухов! А я и не знал. Думал сначала: вот скромник.

— Вы ему от меня кланяйтесь. Я его давно не видала... С тех пор, как он с меня «девушку со змеей» писал. Я ведь давно позирую.

— Да вы серьезно позируете? — печально спросил я.

— То есть как серьезно? А как же можно иначе позировать?

— Я хотел сказать: не устаете?

— О, нет! Привычка.

— И неужели совсем раздеваетесь?

— Позвольте... А то как же?

— Как же? Я вот и говорю: не холодно?

— О, я позирую только дома, а у меня всегда 16 градусов. Если хотите, мы сейчас можем поработать. Вам лицо, бюст или тело?

— Да, да! Конечно!! С удовольствием. Я думаю — тело. Без сомнения, тело.

— У вас ящик в передней?

— Какой... ящик?

— Или вы с папкой пришли? Карандаш?

— Ах, какая жалость! Ведь я забыл папку-то. И карандаш забыл.

Я помедлил немного и сказал, обращая мысленно взоры к своим патронам: Байрону и Бенвенуто Челлини:

— Ну, да это ничего, что с пустыми руками... Я...

— Конечно, ничего, — засмеялась молодая женщина. — Мы это сейчас устроим. Александр!! Саша!

Дверь, ведущая в соседнюю комнату, скрипнула...

Показалось добродушное лицо молодого блондина; в руке он держал палитру.

— Вот, познакомьтесь, мой муж. Он тоже художник. Саша! Твой рассеянный коллега пришел меня писать и забыл дома не только краски и холст, но и карандаш и бумагу. Ох, уж эта богема! Предложи ему что-нибудь...

Я испугался:

— Да что вы! Мне неловко... Очень приятно познакомиться... Я уж лучше домой сбегаю. Я тут... в трех шагах. Я... как это называется...

— Да зачем же? Доска есть, карандаши, кнопки, бумага. Впрочем, вы, может быть, маслом хотели?

— Маслом. Конечно, маслом.

— Так, пожалуйста! У меня много холстов на подрамниках. По своей цене уступлю. Катя, принеси!

Эта проклятая Катя успела уже раздеться, без всякого стеснения, будто она одна была в комнате. Сложена она была действительно прекрасно, но я почти не смотрел на нее. Шагала она по комнате, как ни в чем не бывало. Ни стыда у людей, ни совести.

Тяжесть легла мне на сердце и придавила его.

«Поколотит он меня, этот художественный назойливый болван, — подумал я печально. — Подумаешь, жрецы искусства!»

Катя притащила ящик с красками, холст и еще всякую утварь, в которой я совершенно не мог разобраться.

Муж ее развалился на диване и, глядя в потолок, закурил папироску, а она отошла к окну.

— Поставьте меня, — сказала эта бесстыдница.

— Сами становитесь, — досадливо проворчал я.

Она засмеялась.

— Я же не знаю, какая вам нужна поза.

— Ну, станьте так.

Я показал ей такую позу приняв которую, она через минуту должна была замертво свалиться от усталости.

Но эта Катя была выкована из стали.

Она стала в позу и замерла...

II

— Что вы делаете? — удивленно сказал муж Саша. — Вы не из того конца тюбика выдавливаете краску.

— Вы уверены? — нагло засмеялся я. — Покойный профессор Якоби советовал выдавливать краску именно отсюда. Тут она свежее.

— Да ведь краска будет сохнуть!

— Ничего. Водой после размочим.

— Водой?.. Масляную краску?!

— Я говорю «водой» в широком смысле этого слова. Вообще — жидкостью... Вот странная вещь, — перебил я сам себя. — Все краски у вас есть, а телесного цвета нет.

— Да зачем вам телесный цвет? Такого и не бывает.

— Вы так думаете? В... Художественных письмах Александра Бенуа прямо указывается, что тело лучше всего писать телесным цветом.

— Позвольте... Да вы писали когда-нибудь масляными красками?

— Сколько раз! Раз десять, если не больше.

— И вы не знаете смешения красок?

— Я-то знаю, но вы, я вижу, не читали многотомного труда члена дрезденской академии искусств барона Фукса «Искусство не смешивать краски».

— Нет, этого я не читал.

— То-то и оно. А что же тут нет кисточки на конце? Одна ручка осталась и шишечка...

— Это муштабель. Неужели вы не знаете, что это такое?

— Я-то знаю, но вы, наверное, не читали «Записок живописца» Шиндлера-Барнай, в которых... Впрочем, не будем отрываться от работы.

— Подвигается? — спросил Саша.

— Да... понемногу. Тише едешь, дальше будешь, как говорится.

Саша встал и взглянул из-за моего плеча на холст.

— Гм!

— Что? Нравится?

— Это... очень... оригинально. Я бы сказал — даже не похоже.

— Бывают разные толкования, — успокоил я. — Золя сказал: «Жизнь должна преломляться сквозь призму мировоззрения художника».

— Так-то оно так... Но вы замечаете, что у нее грудь — на плече?

— Так на своем же, — угрюмо возразил я.

— Странный ракурс.

— Вы думаете? Этот? Я его сделаю пожелтее.

— Причем тут «желтее». Ракурс от цвета не зависит.

— Не скажите. Покойный Куинджи утверждал противное.

— Гм! Может быть, может быть... Вы не находите, что на левой ноге один палец немного... лишний?..

— Где? Ну, что вы! Раз, два, три, четыре, пять... шесть... А! Это тень. Это я тень так сделал... Впрочем, можно ее и стереть.

— Конечно, можно. Только вы напрасно все тело пишете индейской желтой.

«Вот осел-то, — подумал я. — Телесной краски, говорит, нет, а потом сам же к цвету придирается».

— Я вижу, — саркастически заметил я, — что вам просто моя работа не нравится.

— Помилуйте, — деликатно возразил Саша. — Я этого не говорю. Чувствуется искание... новых форм. Рисунок, правда, сбит, линия хромает, но... Теперь вообще ведь всюду рисунок упал.

И он с неожиданной откровенностью закончил:

— Сказать вам откровенно: сколько я ни наблюдал — живопись теперь падает. Мою жену часто приходят писать художники. Вот так же, как вы. И что же! У меня осталось несколько их карандашных рисунков, по которым вы смело

можете сказать, что живописи в России нет. Мне это больно говорить, но это так! Поглядите-ка сюда!

Он вытащил из угла огромную папку и стал показывать мне лист за листом.

— Извольте видеть. С самого первого дня, как жена поместила объявление о своем позировании, к нам стали являться художники, но что это все за убожество, бездарность и беспомощность в рисунке! О колорите я уже не говорю! Полюбуйтесь! И эти люди — адепты русского искусства, призванные насаждать его, развивать художественный вкус толпы. Один молодец — вы видите — рисует левую руку на пол-аршина длиннее правой. И как рисует! Ни чувства формы, ни понятия о ракурсе! Так, ей-Богу, рисуют гимназисты первого класса! У этого голова сидит не на шее, а на плече, живот спустился на ноги, а ноги — найдите-ка вы, где здесь колено? Вы его днем с огнем не сыщете. И ведь пишут не то что зеленые юноши! Большею частью люди на возрасте или даже старики, убеленные сединами. Как они учились? Каков их художественный багаж? Вы не поверите, как все это тяжело мне. Мы с женой искренно любим искусство, но разве это — искусство?!

Действительно, никогда мне не приходилось видеть бóльшего количества уродов, нарисованных беспомощной рукой пьяного или ребенка: искривленные ноги, вздутые животы, глаза, вылезшие на лоб, и губы, тянущиеся наискось от уха к подбородку.

Бедная Катя!

Я бросил косой взгляд на свой этюд, вздрогнул и сказал с тайным ужасом:

— Ну, я пойду... Докончим *это* когда-нибудь... после...

Саша ушел в свою комнату. Катя закуталась в халатик, подошла к моему этюду, и вдруг — залилась слезами.

— Что с вами, милая?! Что такое?

— Я не понимаю: зачем он меня успокаивает, зачем деликатничает!

— Кто?

— Саша. Я сама вижу, я все время, на всех рисунках вижу, какая я отвратительная, безобразная. А он говорит: «Нет, нет — ты красива, а только тебя не умеют рисовать». Ну, предположим, один не умеет, другой, третий, но почему же — все?!!

ЖЕЛТАЯ ПРОСТЫНЯ

I

Настоящий купальный сезон еще не начинался, но, несмотря на это, весь пляж, окруженный с трех сторон кабинками, был усеян ленивыми, полузасыпанными песком фигурами, которые, как ящерицы на солнце, замерли в каменной неподвижности.

Курорт был итальянский, и поэтому купальщики лениво перекликались между собою на немецком, английском, польском и французском языках — на всех языках, кроме итальянского.

Где купаются итальянцы, и купаются ли они вообще — совершенно неизвестно.

Эта мысль занимала меня не менее часу, потому что голова, припекаемая солнцем, работает вяло, медленно и вообще отвратительно.

Думаю, что я дремал.

Неожиданно уха моего коснулась чистейшая русская речь.

Разговаривали две фигуры, закутанные с головой в купальные халаты и простыни, — два бесформенных безголовых тела.

— Славный мальчишка! — прогудел голос из-под желтой простыни.

— Это вы о котором говорите? О том, что сейчас возится с няней на песке? В синем полосатом костюмчике?

— Да, да. Превосходный мальчишка!

— Тот, что сейчас посыпает себе голову песком из ведерка? — переспросила точная белая простыня.

— Ну да! Этот самый.

— Да, знаете ли, — удовлетворенно согласилась белая простыня. — Я должен им гордиться. Ха-ха!

— Почему вы... должны гордиться?

— Потому что этот мальчишка — дело рук моих.

— Черт подери! Не хотите ли вы сказать, что это ваш сын?

— Это бы не штука! Дело не в этом. Он физический сын своего законного отца с матерью, но настоящий его творец все-таки — я!

— Не случился ли с вами солнечный удар?.. А?

— Вот вам и удар. История презабавная — хотите, расскажу?

— До завтрака управимся?

— С головой. Слушайте!

II

Года четыре тому назад пришлось мне болтаться на этом же курорте. Было прескучно, и, если бы не товарищ, который разделял со мной это заточение, какой-нибудь крюк давно бы уже гнулся под моей тяжестью...

Однажды сидим мы с ним после обеда на террасе, потягиваем какое-то здешнее пойло — я и спрашиваю, оторвавшись от соломинки:

— Отчего ты не женился до сих пор?

— Не судьба.

— Что-о?

— Не судьба!

Я говорю нравоучительно:

— Не судьба должна управлять человеком, а человек судьбой.

— Никак, — говорит, — это невозможно. Без судьбы ничего быть не может.

— А если я сейчас вдруг схвачу тебя и брошу с террасы вниз, в кусты... Это что?

— Тоже судьба.

— А если не схвачу и не сброшу?

— Тоже судьба!

— Да какая же это судьба, если мой поступок зависит от моей же воли?!

— Пусть зависит. А твоя воля зависит от судьбы.

— Тьфу! Ну, хочешь, я тебе докажу чем угодно, что по своей воле выкину штуку, до которой судьбе никогда бы и не додуматься?

— Это, — говорит приятель, — положим, тоже натяжка, потому что всякая штука твоя от судьбы зависит. Но — идет. Согласен.

— Прекрасно. Сочини что-либо трудное, нелепое, и я это проведу без всякой судьбы. У судьбы, милый мой, много дела и без нас — нечего ее по пустякам затруднять. Гоп!

Мой друг обвел глазами столики и сказал:

— Видишь ты ту молоденькую венгерку, которая сидит с пожилой дамой, очевидно, с матерью?

— Вижу.

— Ну-с... хочу я, значит, чтобы у нее был ребенок... Гм... От кого бы?

Он осмотрел рассеянно все столы, и взгляд его задержался на каком-то господине, одиноко сидевшем в дальнем углу.

— Вот от этого худосочного русского молодца! У него или слишком мало радостей, или очень много печали. Наградим его венгеркой, а?

Я пожал плечами.

— Венгерка так венгерка. Но слушай: как честный человек, за одно только не могу поручиться...

— Именно?

— За пол будущего отпрыска русско-венгерской фамилии. Ты сам, конечно, понимаешь...

— Для судьбы ты слишком многословен. Я предпочитаю видеть работу.

III

Я закурил папиросу, встал и приблизился к одинокому русскому.

— Простите, что, не будучи знаком, обращаюсь к вам с одним вопросом: сколько времени идет письмо до Петербурга? Эти бестолковые итальянцы ничего не знают.

— Письмо? Четыре дня.

— Весьма вам признателен. Вы надолго в эту дыру?

— Нет... Так, недели на две. Не присядете ли?

— Merci. Вы что же, — спросил я, опускаясь на стул, — в одиночестве тут? Без жены?

— Да я и не женат совсем.

— Ну?! Вот-то *она* обрадуется! Ах... простите... Я, кажется, сказал лишнее.

— А что такое? Кто обрадуется? О ком вы это говорите «она обрадуется»?

— Не знаю, — смущенно засмеялся я. — Говорить ли вам... Это будет, пожалуй, разбалтыванье чужого секрета. Хи-хи...

— Нет, уж вы, пожалуйста, скажите. Это будет между нами. Ну, скажите! Ведь я любопытен, как женщина.

— Хи-хи... И сам не знаю, как это я проговорился. Ну, ладно... Если вы даете честное слово, что это между нами... Видите вы ту венгерку, около седой дамы? Красавица, не правда ли?

У венгерки было самое ординарное, миловидное лицо, но мой восторг заразил и бедного форестьера.

— О, да! Очень красивая.

— Ну вот... Так знаете ли, что у этой красавицы, у этой поразительной, изумительно прекрасной девушки вы с языка не сходите?!

Мой собеседник вспыхнул и конфузливо и радостно засмеялся, будто его щекотали.

— Ну, что вы говорите! Да неужели?! Нет, нет! Вы шутите... Это было бы прямо-таки... удивительно!

— Честное слово! Она меня прямо измучила вопросами... Кто такой, да что, да не женат ли? Все о росте вашем сегодня щебетала...

— А... что? — опасливо спросил мой собеседник, вероятно, не раз огорчавшийся, сравнивая свою мизерную, низкорослую фигуру с фигурами своих ближних.

— Да, многое она говорила. И что терпеть она не может высоких мужчин, и что ваша фигура приводит ее в восторг, и что, если бы... Впрочем, нет, я, кажется, слишком разболтался...

— Так она меня заметила? — переспросил мой собеседник, с трудом сохраняя рассеянно-задумчивый вид.

— Она-то? Да она околдована.

Я помолчал и вдруг решил махнуть рукой на всякий здравый смысл:

— Вчера нашла, что в вашем лице есть много общего с Наполеоном.

— Ну, что вы говорите!

— Ей-Богу. В таких людях, говорит, таятся великие, огромные силы. Счастлива, говорит, та родина, которая может назвать такого человека своим сыном. Спрашивала, не поете ли вы? С таким, говорит, голосом, который звучит, как музыка...

— Вы меня представите ей? — быстро спросил он, без сожаления расставаясь со своим задумчивым видом.

— Сколько угодно! Подойду сейчас к ней, попрошу разрешения — и пожалуйте! Кстати, вы чем занимаетесь?

— Отец у меня купец, мануфактурщик. А что?..

— Да ничего. Ну, сидите тут и ждите...

IV

Я приблизился к венгеркам, снял перед ними почтительно шляпу и сказал по-немецки:

— Тысячу извинений! Простите мою навязчивость и то, что я, не будучи знаком, обращаюсь к вам... Но узнать мне больше не у кого — эти итальянцы так бестолковы. Не знаете ли вы — сколько времени идет отсюда письмо до Будапешта?

— Двое суток, — приветливо сказала старуха. — А у вас есть знакомые в Будапеште?

— О, да... Кое-кто.

— Гезу Матаки знаете?

— Гезу?! О, Боже! Да мы большие приятели. Ну, как он... все там же живет?

— Там. Значит, вы и семью Панони знаете?

— Ну, как же! Вообще... Гм... А я, сударыня, должен вас кое за что пожурить...

— Меня? — удивилась молоденькая венгерка.

— Да-с, вас. Можно человека ранить, но зачем насмерть, а?

— Что вы такое говорите!

— Видите вы вон того русского, который там в углу сидит. Красивый такой...

— Ну, разве он красивый?

— Сударыня! Один из первых красавцев восточной России. Прозван «Тополь Великороссии!» Сотни русских девушек и женщин сходят по нем с ума. И что же! Этот счастливчик сидит сейчас угрюмый, как вурдалак, завядший, как розовый куст в засуху. Видите! Сидит и глаз с вас не сводит!

Венгерка смущенно усмехнулась.

— Я... ему нравлюсь?

— Вы? Да у него сейчас вся жизнь в глазах, которыми он на вас смотрит. Нашел где-то портрет королевы Марии-Антуанетты и носит его на своей груди, осыпая поцелуями и вздыхая над ним...

— Почему же... Марии-Антуанетты?..

— Он говорит, что вы очень похожи на нее... В повороте головы у вас есть — что-то царственное... И одеваетесь вы,

говорит он, как герцогиня. Да... Уменье носить платье это... это... Кстати, вы в самом Будапеште живете?

— В предместье. У нас там свой домик. Отец мой судебный чиновник. А кто этот русский, скажите?

— О! Его отец мануфактурный король. Это богатейшая фамилия черноземной полосы России. Самые быстроходные пароходы бороздят великую нашу многоводную Волгу! Амбары ломятся. Тысячи людей возносят свои молитвы. Это не человек. Это орел. Больницы и прочее. В Москве, например, есть Третьяковская картинная галерея. Вы даже не поверите! Честное слово. Вы разрешите представить вам моего друга... Этого «гордого лебедя матушки-России», как прозвали его наши женщины?

— О, пожалуйста! Я буду очень рада.

Я расшаркался, вернулся к своему новому другу и потрепал его по плечу.

— Бредит вами! Сплошной бред!

— А кто она такая?

— Она? Когда вы будете в Венгрии, около Будапешта — спросите у старожилов чей это замок так гордо высит в небо свои грозные, непокорные башни, зубцы которых четко вырисовываются в недвижном, притихшем вечернем воздухе? Посмотрим, что вам ответят старожилы! Ха-ха! Предки ее были суровыми рыцарями, вояками, отец же отдал дань нашему более культурному времени и, мирно служа венгерской короне, железной рукой закона поддерживает силу и мощь современной Венгрии.

— Вот здорово! Неужели, с ней можно познакомиться?

— Хоть сейчас! Замечательная женщина. Венгерки вообще... Недаром говорит венгерская пословица: «Женись на венгерке — плакать не будешь».

— Ну, пойдем же, пойдем скорее!

V

В последующие дни я только и делал, что, бегая от одного к другой, энергично подогревал состряпанное мною кушанье.

Ей я сообщил, что две русские дамы, жившие в соседнем отеле, осаждают его письмами и делают тысячу безумств ради того только, чтобы увидеть его с улицы из-за решетки сада нашего отеля.

А ему намекнул, что один венгерский граф поклялся добиться ее благосклонности и осыпал ее морем цветов (вчера я действительно послал ей букетик ценою в 3 лиры), но что она эти цветы выбрасывает (выбросила: они к вечеру совершенно завяли).

Моя стряпня закипела и забурлила. Мутная накипь ревности поднялась кверху, и мне нужно было зорко следить за тем, чтобы вовремя снимать эту отвратительную накипь.

Утром венгерка устроила русскому сцену, в обед он ей; а вечером в парке при отеле у них состоялось первое свидание, на котором они преотчаянно целовались. (Я видел это в бинокль из окна моей комнаты.)

Красавица итальянская ночь, пряная, душная, и бродячие сладкоголосые музыканты с гитарами были моими надежнейшими помощниками.

Поверите ли вы: через месяц они уже обвенчались, эти люди, которые без меня так бы и прошли свой жизненный путь, даже не подозревая о существовании друг друга... А через полтора года исполнилось и то, к чему я вел их под диктовку моего друга — апологета и поклонника судьбы. Именно — у этих двух людей родился ребенок — вот этот самый мальчишка, которым вы давеча так восхищались. Ну, не прав ли я был, говоря, что я — настоящий создатель этого голубоглазого существа?!

. . . .

. . . .

Молчавшая все время в продолжение рассказа желтая простыня шевельнулась и спросила:

— О каком это вы мальчишке говорите?

— Да о том самом! В синем полосатом костюмчике-то.

— О том, который сейчас сует себе в рот сачок для крабов?

— Ну да!

— Которого полька сейчас дернула за ухо?

— Ну да же!

— Угу, — неопределенно промычало что-то под желтой простыней. — Так знаете ли, что я скажу вам: напрасно вы совались на амплуа судьбы — вершительницы всех дел человеческих. Не по плечу это вам!

— О Господи! Почему?

— Вам можно доверить кое-что? Умеете вы держать язык за зубами?

— Ну?!

— Этот ребенок не мужний, а мой. От меня. Через три месяца после свадьбы «венгерка», как вы ее называете, охладела к своему худосочному супругу и подарила своею любовью меня. Вот вам и судьба!..

— Вы даете честное слово?

— Даю честное слово.

И обе фигуры погрузились после этого в безмолвие — и та, что под белой простыней, и та, что под желтой. Замерли под зноем, даже не пошевельнувшись.

Я в это время успел уже одеться и ушел, так и не увидев никогда больше людей под простынями — ни самоуверенного заместителя судьбы, ни его соперника на этом скользком поприще.

Боже мой! Может быть, если бы я и поднял эти две простыни — желтую и белую — под ними бы ничего не оказалось, кроме бесформенных груд песку, насыпанного подвижным отпрыском многолюбивой венгерки, потому что — мало ли что может пригрезиться расплавленному свирепым солнцем мозгу...

СКЕПТИК

I

Восемь лет тому назад мне пришлось прожить около двух недель в одном из небольших городков Харьковской губернии — именно в Змиеве.

Жить пришлось у сиделицы казенной винной лавки, бойкой расторопной женщины, которая делала десяток дел сразу — успевая продавать меланхоличным змиевским пьяницам водку, готовить мне обед и, кроме того, в промежутках ругательски ругать своего сына Стешу.

Стеша был молодец девятнадцати лет, всю свою недолгую жизнь пробродивший из угла в угол, самоуглубленный дурень, ленивый, как корова, и прожорливый, как удав.

С утра, восстав от сна, он умывался, аккуратно напивался чаю и опять ложился на диван — неофициально, — как

он говорил. Так, лежа на диване и перелистывая «Ниву» за 1880 год, — ждал обеда.

— Ты хоть бы чем-нибудь занялся! — кричала сиделица винной лавки, выглядывая изредка из дверей.

— А чем я займусь там, — возражал Стеша хриплым голосом.

— О Господи! Другие люди как люди! Служат, дело делают, а этот, как колода!.. Нислимо ли это — здоровый молодой человек, и целыми днями диваны протирает!

— «Нислимо!» — сурово сипел Стеша. — Говорить бы как следует по-русски выучились!

— Убирайся отсюда, с дивана! Это что еще такое за моду выдумал — по диванам разлеживаться. Все соседы с тебя смеются!..

— «Соседы»! Не умеете говорить, так молчали бы.

— То-то вот нам, неумеющим, и приходится кормить вас, умеющих-то! Профессор какой! Пошел прочь с дивана!

Подбоченившись, она наступала на Стешу. Когда же слова не помогали, она схватывала его за руку и сбрасывала с дивана на пол.

Он тяжело шлепался, вставал, забирал свою «Ниву» и, мурлыча какой-то бессмысленный мотив, хладнокровно переходил на крылечко, выходившее на засоренный, залитый помоями двор.

— Хоть бы за что-нибудь ты взялся, чучело ты разнесчастное. И как это так человек жить может?

— Тюр-лю-лю, пам-пам-пам, — тянул лениво Стеша, перелистывая осточертевшую и ему самому, и окружающим «Ниву» за 1880 год.

Перелистав «Ниву», Стеша съедал кусок черного хлеба с салом, выпивал чудовищную жестяную кружку воды и заходил ко мне «поговорить».

— Что скажете, молодой человек? — спрашивал я его, откладывая начатое письмо или книгу.

Он садился верхом на стул, шлепая для развлечения ладонью по спинке его и изредка поглядывая на меня с той сосредоточенностью, которая была ему свойственна.

— А что, — спрашивал он меня после долгого молчания, — правда, что в Петербурге пешком по улицам нельзя ходить?

— Почему?

— Такое там движение на улицах, что сейчас же задавят.

— Это верно, — подтверждал я. — Там даже на каждой улице ящики такие устроены...

— Для чего?

— А чтоб задавленных складывать, пока родственники не разберут.

— Да ну?

— Уверяю вас.

— Да ведь дорого...

— Что дорого?

— На извозчиках все время ездить.

— Что ж делать. Кому дорого, того и давят.

Похлопывая ладонью по спинке стула, он принимался тянуть свой непонятный мотив: «тюр-лю-лю, пам-пам-пам»...

— А правда, что в Петербурге в театрах совсем голых женщин показывают?

— Правда.

— Да как же так полиция позволяет?

— А ей-то что? Это здесь только и то стыдно, и это стыдно. А там в столице на это смотрят спустя рукава.

— Да ну?

— Вот вам и «ну».

— Тюр-лю-лю, пам-пам-пам! А скажите, правда вот, что, говорят, в ресторане там, если поужинать — так рублей сорок за это берут.

— Сорок? Слишком вы дешевы, молодой человек... И триста заплатите, если не все пятьсот.

— Да ну? Зато там и жалованье получают небось большое?

— Да уж... Конечно, маленький писец получает пустяки, рублей двести–триста в месяц... А кто повыше — восемьсот, и тысячу, и две. Нищему меньше рубля не дают. За то и нищие есть, которые на Невском по три дома имеют.

Получив на все свои вопросы точные, обоснованные ответы, юноша Стеша, без всякого признака удивления на лице, уходил, волоча ноги и напевая «тюр-лю-лю, пам-пам-пам!». Заходил в винную лавку и торопил мать насчет обеда.

Однажды он пришел ко мне и, вместо того чтобы расспрашивать меня о Петербурге, разоткровенничался сам:

— А я вчера анекдот слышал: один жид пришел по делам к помещику, а тот схватил ружье и говорит: «Плавай,

жидовская морда, а то застрелю!» Ну, жид, конечно, испугался, упал на землю и сделал вид, будто плавает. А потом помещик засмеялся и сказал: «Благодари Бога, что я тебя нырять еще не заставил!» Здорово, а?

Я пожал плечами.

— Серо!

— Как вы говорите?

— Серо.

Стеша удивленно взглянул на меня и умолк. Я заговорил о чем-то другом, но он перебил меня:

— Так как вы сказали? «Серо»? Ха-ха!

— Да уж... неважный ваш анекдотец.

— «Серо», значит? Здорово... Ха-ха!

Он потрепал меня по плечу и ушел, волоча за собой громадные, в тяжелых сапогах ноги. На другой день я уехал.

II

И опять, совсем недавно, попал я в Змиев. Над Россией пронеслась революция, в Петербурге уже несколько лет работала Государственная Дума, а Змиев остался таким же... Пыльные, безлюдные улицы, выводок цыплят у забора и одинокий пьяный, лежащий в тени около бакалейной лавки с вывеской: «Бакалея с продажей всего».

Лавочник был тот же самый — и узнал он меня сразу же, как только я зашел к нему. Сколько перевидал за эти восемь лет новых людей этот бедняга? Вероятно, не более десятка.

— Опять к нам? — сказал он с такой небрежностью, будто бы я уезжал из Змиева недели на две. — Ну, что ж... поживите, поживите... У нас тут не скучно.

— А что сиделица, у которой я жил?

— Будем говорить, она померла. А сынок ейный Степан Захарыч женились и казенной лавкой заведуют. Умнейшая голова!

Я изумленно поглядел на лавочника.

— Это он умнейшая голова? Да ведь он был глуп, как бревно.

— Молоды были, — серьезно возразил лавочник. — А теперь в больших умниках состоят. Вы то, господин, рассудите, что пост ихний небольшой — сиделец винной лавки, а компания у них самая отборная: председатель управы,

господин доктор, учитель гимназии Выдыбаев и прочие сливки общества. С дураком бы возиться не стали...

— Да в чем же его ум?

— Надо быть, в разговоре. Ведь господа, они, известно, как: сойдутся и разговаривают промеж себя. Да вот сюда в лавку идет учитель Выдыбаев — их хороший знакомый. Они вам лучше все и объяснят.

Действительно, в лавку зашел сухой, длинный господин с бледным лицом.

Я извинился, назвал себя и прямо приступил к делу:

— Скажите, правду говорят, что Стеша Козелков, сиделец, считается тут у вас — persona grata?

Бледный учитель задумчиво покивал головой:

— Как вам сказать... Что-то в нем есть такое, что действительно отличает его среди других индивидов нашего богоспасаемого болота... Есть в нем настоящая желчь, скептицизм, чутье и вкус... Он тонок, беспощаден в своих характеристиках и у дам пользуется даже некоторым успехом, как вообще все, что выдается на уровне. Любопытный человек, советую познакомиться.

Я пожал плечами, расплатился и ушел.

Стешу встречать не приходилось, но зато через день после разговора с учителем, попал я на вечеринку к ветеринарному врачу Кривулину.

Никого почти не зная, слонялся я из угла в угол, поглядывая на рассыпавшихся по всем комнатам гостей, споривших, пивших водку и пытавшихся даже танцевать.

Наконец, подсел я к нескольким девицам, смущенно замолчавшим при моем приближении...

— Что же вы замолчали? — как можно добродушнее спросил я. — Может быть, поверяете друг другу какие-нибудь мрачные тайны, а?

— Что вы этим хотите сказать? — ядовито спросила полная барышня в сиреневом платье.

— Да вот у вас был такой заговорщицкий вид...

Полная барышня критически пожала плечами.

— Вы думаете, это особенно остроумно, да?

— О, помилуйте, — рассмеялся я. — У меня вовсе не было мысли сказать что-либо сногсшибательно остроумное... Я спросил просто так...

— Просто так? Вы думаете, это особенно глубоко? Да?

Она победоносно оглядела подруг, будто ожидая, что они скажут: «Ну и бойкая эта Любочка... Даже столичного гостя забьет и загонит в угол».

— Глубокая мысль, — возразил я, улыбнувшись, — опасная вещь; у края ее всегда голова кружится... Многие сваливались и ломали себе на дне голову.

— Что вы хотите этим сказать? — подхватила сиреневая барышня. — Вы думаете, это особенно тонко, да? Успокойтесь, не удивили... Садитесь, единица!

Большинство подруг сиреневой барышни засмеялись... Я пожал плечами, встал и побрел в другую комнату. Меня догнала голубенькая барышня и миролюбиво сказала:

— Вы на них не обижайтесь. Они дуры... Ломаются, ломаются, а зачем — и сами не знают. Это их Степан Захарыч испортил. Они все ему подражают...

«Однако, — подумал я, — этот человек успел уже создать свою школу».

— Вот он, представьте себе, — сказала голубая барышня, — интересный человек...

— Кто?

— Да Степан же Захарыч... В нем есть что-то такое... Вы знаете, его многие ненавидят, но все боятся... Да вот он сам. Видите — он всегда приходит позже... Хотите, я вас познакомлю?

Заинтересованный, я поспешил навстречу этому неразгаданному, удивительному человеку, который покорил весь Змиев.

Стеша Козелков узнал меня сразу, но встретил серьезно, с большим достоинством.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте... — солидно пробасил он. — Как у вас там, в Петербурге?

— Да что ж у нас... Переглядыванием занимаемся.

Он поднял брови:

— То есть?..

— Да так: Петербург с надеждой поглядывает на провинцию, а провинция на Петербург. Так и переглядываемся.

— Серо! — веско сказал Козелков.

— Что-о?

— Серо!

— Что — серо?

— Сказано серо. Неостроумно.

— Браво, Степан Захарыч, — сказал фельдшер. — Он не даст змиевцев в обиду.

— Да, — подхватил кто-то. — Этот не ударит лицом в грязь!

Я смущенно глядел на Козелкова, а он расправил бороду и спросил:

— Женаты?

— Нет.

— Почему?

— Да знаете, как сказал один древний мудрец: не женишься — будешь жить, как человек, а умрешь, как собака; женишься — проживешь, как собака, зато умрешь, как человек... Вот я еще и не остановил выбора ни на одном из этих способов смерти.

Козелков выслушал меня с некоторым оттенком превосходства и, подумав, сказал критически:

— Серо!

— Да... Уж вы с ним не спорьте, — сказал хозяин дома, беря меня за талию. — На него угодить трудненько. Заклюет! Пойдемте лучше выпьем водки... Степан Захарыч! Рюмочку водки, а?

— Водка? — поморщился Стеша. — Серо!

— Ну, уж вы скептик известный... Раскритикуете все так, что живого места не останется.

«Эх, Стеша, — горько подумал я, плетясь за ними в столовую. — Хоть бы из благодарности ты меня пощадил... За словцо-то. Ведь я же обронил...»

Но Стеша и за ужином был беспощаден.

— Серо! — кричал он скептически.

. . . .

УЧАСТОК

Того согрей,
Тем свету дай
И всех притом
Благословляй.

Имеете вы, хоть слабое, представление о функциях расторопной русской полиции?

Попробуйте хоть полчаса посидеть в душной, пропитанной промозглым запахом канцелярии участка. Это так интересно...

...Околоточный надзиратель отрывается от полуисписанной им бумажки, поднимает голову и методически спрашивает:

— Тебе чего?

— Самовар украли, батюшка.

— И твои глаза где же были?

Околоточный прекрасно сознает, что этот вопрос — ни более ни менее как бесплодная, ненужная попытка хоть на минуту оттянуть исполнение лежащих на нем обязанностей — опрос потерпевшей, составление протокола и розыски похитителя.

— Ты чего ж смотрела?

— То-то, что не смотрела. У лавочку побежала, а он, пес, значит, — шасть! Кипяток вылил, угли вытряс — только его и видели.

— «Он», «его»... Почем ты знаешь, что «он»? Может, и «она»!

Кухарка запахивается в платок, утирает указательным пальцем нос и, подумав, соглашается:

— А, может, и она. Аны рази разбирают.

— Подозрение на кого-нибудь имеешь?

— Имею.

— Ну?

— Не иначе, жулик какой-нибудь украл.

— Ты скажешь тоже... Посиди тут, я сейчас все устрою. Вам чего, господин?

— Сырость у меня.

— Где сырость?

— В квартире.

— Ну так что ж?

— Не могу же я, согласитесь сами, в сырой квартире жить?!

Околоточному даже не приходит в голову заявить, что это его не касается, или, в крайнем случае, удивиться, что к нему обращаются с такими пустяками.

Единственная роскошь, которую он себе позволяет, это — хоть на минутку оттянуть исполнение своих обязанностей.

— А вы зачем же сырую квартиру снимали?

— Я снимал не сырую. Я снимал сухую.

— Сухая, а сами говорите — сырая.

— Она потом оказалась сырой, когда уже переехали. Такие пятна по обоям пошли, что хуже географической карты.

Рассматривая недописанную бумажку, околоточный что-то мычит и машинально спрашивает:

— Подозрение на кого-нибудь имеете?

— То есть как это? Я вас не понимаю.

— Гм!.. Я хочу сказать, убытки заявляете?

— Да как же их заявить — если от сырости ревматизм бывает. Иной ревматизм пустяковый, может быть, десять целковых стоит, а иной, как защемит — его и в тысячу рублей не уберешь.

Тоскливое молчание.

— А вы чего ж смотрели, когда нанимали?

— Говорю ж вам — тогда сырости не было.

— Хорошо... Адрес? Зайду. Наведу справки и... Вам чего?..

— Господин околоточный! Вы не можете себе представить — я за последнее время все нервы себе истрепала. Буквально все нервы.

Вероятно, эта выше средних лет дама истрепала нервы не более, чем околоточный, потому что он хватается за недописанную бумажку, потом за голову и осведомляется:

— Подозрение на кого-нибудь имеете?

— Буквально все нервы. Как только наступает ночь — прямо хоть беги из квартиры.

— А что такое?

— Привидения. Все в один голос так говорят, что привидения. Кто-то стучит, ходит, роняет вещи, разговаривает, а ровно в полночь раздается вдруг в стене такой вой и плач, что мы все с ума сходим.

— Как же вы так допустили до этого?

— Да мы-то что же... Мы тут ни при чем.

— Подозрение на кого-нибудь имеете?

— Никакого подозрения. Я убеждена, что это что-нибудь загадочное. Ходит, роняет вещи и разговаривает.

— Сколько же их душ?

— Кого?

— Вот этих... призраков?! Привидений?

— А почем я знаю. Вероятно, одно.

— Но вы говорите — он разговаривает. Не может же он сам с собой разговаривать?

— А я не знаю. Вам лучше знать — может он или не может.

Околоточный обладает чрезвычайно скудным запасом сведений из жизни обитателей потустороннего мира; но, как представитель власти, не хочет ударить лицом в грязь и поэтому говорит чрезвычайно уверенно:

— Не может. Не иначе, как с соучастником. Ну, хорошо. Успокойтесь, сударыня. Мы разберем это дело, и виновные понесут заслуженное наказание. Ваш адрес? Имею честь кла... Ты чего тут топчешься?

— Мать старуха померла.

— Подозрение на ко... Гм! Ну, и царство ей небесное. От чего померла?

— Бог-ё знает. Ей уж годов сто будет. Три года, как не вставала. Теперь померла.

— А ты чего же смотрел? — тоскливо в сотый раз мямлит околоточный. — Ну, ладно. Подожди, сейчас. Вам что угодно? Потрудитесь снять котелок. Осторожнее, вы рукой в чернильницу попали. Что вам угодно?

— Скучно мне, господин околоточный.

— А вы бы меньше пили, так и не было бы скучно.

— Чудак человек, а отчего же я пью? От скуки ж!

— Вы что ж... заявление какое пришли сделать? Прошу на меня не дышать!

— Пришел. Заявление. Заявлю вам, как представителю власти, что мне скучно! Почему нет никаких увеселений?

— Идите домой спать. Вот вам и увеселение.

— Вы думаете? Не желаю. Я хочу жить полной жизнью. Конечно, вы можете меня прогнать, но — куда же мне пойти? Если я пришел сюда, значит, больше некуда. Ах, г. околоточный! Русский человек носит в себе особую тоску.

— Будьте добры не мешать мне.

— Куда же я пойду? Чрезвычайно хочется каких-нибудь увеселений.

— Ну... пойдите в кинематограф. Часа через два откроется.

— Мерси! Вот видите — дельный совет. Я знал, куда иду! Начальство — оно распорядится! Разрешите посидеть тут на диванчике, подождать открытия.

— Сидите. Только не шумите. Вам что, господин?

— Жена от меня ушла. Нельзя ли...

— А вы чего же смотрели?

— Ах, да разве за ними усмотришь? Спрашивается, чего ей недоставало?

— Да... Женщины народ загадочный. Все ищут такого, чего и на свете нет. Престранная публика. Подозрение на кого-нибудь имеете?

— Тут даже и подозрения никакого нет; сбежала со штабс-капитаном Перцовым.

— А вы чего же смотрели?

— А вот вы спросите. Приятелем моим считался, на бильярде вместе играли и — на тебе!.. Подсидел.

— Да-а... В семейной жизни всегда нужно быть начеку, — говорит устало околоточный, закуривая папиросу. — Можно вам предложить? Семейная жизнь — это, как говорится, осаждаемая крепость. Женщины любят все романтичное, а мужья ходят по утрам простоволосые, в расхристанной рубашке и туфлях на босу ногу. А женщина лакированный ботфорт любит. Нравственная глубина не так ее интересует, как приятный блеск внеш... Тебе чего?

— Ну, вы еще заняты, так я себе немножечко, ваше благородие, подожду. Таки каждый человек должен ожидать, когда их высокоблагородие заняты. Вы уж, пожалуйста, не кричите...

— Да ты по какому делу?

— Маленькое себе дело. К моей жене заехала из Варшавы на минуточку свояченица, ну, так она имеет варшавское правожительство. Я говорю господину паспортисту...

— Хорошо. Зайдешь к трем часам, когда посвободнее будет. Вам чего, барышня? Не плачьте.

— Можно так делать? Говорил: «Люблю, люблю», а теперь вытянул все, обобрал и ушел... Оставил в чем мать родила.

— Кто такой?

— Приказчик от «Обонгу». Прямо-таки оставил в чем мать родила.

— А вы чего же смотрели?

— Так если он говорил, что любит. Божился, крестился, землю ел. А теперь что я?.. В чем мать родила!

Это не более как поэтическая метафора, потому что огромная шляпа на голове девицы никогда не позволила бы ей появиться в таком виде на этот горестный свет.

— Хорошо, — говорит околоточный. — Вы где в него влюбились? В нашем участке? Будьте покойны, — мы примем меры!

Пишущий эти строки долго сидит на потертом деревянном диванчике и любуется этим калейдоскопом кухарок, квартирантов, привидений, пьяных и обманутых мужей.

И вот, выждав свободную минуту, я встаю с диванчика и подхожу к обессиленному, отупевшему околоточному.

— Вам что угодно?

— Темы нет, г. околоточный.

— Какой темы?

— Для рассказа.

— А вы чего же смотр... Да я-то тут при чем, скажите пожалуйста?!

— Как при чем? Вы — полиция. Если привидения, пьяные и обманутые мужья вам «при чем», то и тема вам «при чем».

Околоточный трет голову.

— Вам тему?

— Тему.

— Для рассказа?

— Для рассказа.

— Гм... Подозрения ни на к... Ах ты, Господи! Ну, мало ли тем... Ну, опишите, например, участок, посетителей. Вот вам и тема.

— Ну, вот и спасибо. Опишу. Я ведь знал, что если вы обязаны смотреть за всем, то обязаны смотреть и за темами. Прощайте!

Вот — написал.

ОДНО ИЗ МОИХ ЧУДЕС

Чудеса можно делать из-за чего-нибудь: из-за голода, честолюбия или из-за любви к женщине.

Всякое чудо такая трудная вещь, что просто так себе, для развлечения, этим заниматься не стоит.

Однако я совершил однажды чудо, не будучи движим ни честолюбием, ни голодом, ни страстью к женщине.

Для конторщика, служащего в учреждении, где бухгалтер здоровый, не старый еще мужчина, да притом и крепко

сидящий на месте, — для такого конторщика честолюбие — крепко запертые ворота.

Для голодного человека, совершающего во имя требования организма настоящие чудеса, я был слишком хорошо обеспечен теми шестьюдесятью рублями, которые ежемесячно вытягивал по частям вперед у сонного нерасторопного кассира.

А что касается женщин... Мое искреннее мнение, что они любят нас и без чудес. Наоборот, на всякое чудо, подвиг они смотрят совершенно иными глазами, чем мы. Попробуйте достать любимой женщине, по ее желанию, несколько звезд с неба — она еще на вас же и напустится за это: она не знала, скажет она, что звезды вблизи такие огромные, безобразные и занимают места так много, что из-за них в комнате негде повернуться: «Удружил тоже! Нечего сказать... Заставь вас Богу молиться, вы и лоб разобьете!..»

Во имя чего же, во имя какого великого стимула совершил я то чудо, о котором хочу рассказать?

Да во имя лени!

Иногда по ночам невыносимая жажда терзает меня, но я не утоляю ее, потому что для этого нужно сбросить одеяло и подойти к стоящему на подоконнике графину с водой. Самое ненасытное честолюбие можно было бы удовлетворить, начав работать как следует, — я не желаю этого. Я лишался любви самых красивых милых женщин только потому, что не отвечал на письма или валялся по целым вечерам на диване, вместо того чтобы плестись на свидание.

Вот что такое моя лень. Ненасытная, она поглощает все — голод, женщин, карьеру.

Директор правления, уполномоченный вести дела нашего общества, Мигасов наводил на меня холодный, тупой, длительный ужас.

Дела, которые поручались мне, плелись сзади всех, как старые искалеченные лошади, и я оттягивал всякую пустяковую работу до самого последнего момента.

Нельзя сказать, чтобы я наслаждался покоем в первые, сравнительно безопасные моменты украденного времени. Все время передо мной стоял грозным видением будущий директорский выговор, но я тянул час за часом, бродил

тоскующим взглядом по потолку, читал столбцы старой газеты, в которую были обернуты корешки порученных мне громадных бухгалтерских книг, высчитывал, сколько букв в слове «двадцативосьмимиллиметровый», и вообще развлекался как мог, вместо самого простого — исполнения порученной мне работы.

И все время тупая тоска сжимала мое сердце, тоска ожидания, что вот-вот грянет условный звонок из директорского кабинета, звонок, от которого сердце мое медленно переворачивалось и ползло вниз в холодное море предстоящего ужаса, — и я должен буду с бьющимся взглядом предстать пред спокойные стальные глаза грозного директора.

— Готово?

— Что, Арсений Михайлович?

— То, что я просил.

— Н... не совсем. Я половину только сделал.

— Да? Очень жаль. Ну, что ж делать. Дайте ту половину, которую вы сделали.

— Первую?

— Да.

— Я первой еще не сделал. Занялся было второй...

— Э, черт! Ну, давайте вторую половину.

— Вторая... половина... не совсем... готова...

— Наполовину готова?

— Д... да... Кажется.

— Дайте четверть! Дайте восьмушку, но что-нибудь дайте же, черт возьми!..

— Я вам... завтра... приготовлю...

В эту минуту я сам себе был жалок и противен. Директор с омерзением смотрел на мое растерянное, подобострастное лицо и говорил:

— Когда мы, наконец, от вас избавимся?

— Я не мог найти отчета за прошлый месяц... Я искал...

— Потеряли, да? Вы бы через газеты публиковали.

Чтобы заслужить его расположение, я делаю вид, что меня одолевает припадок смеха, вызванного его остротой, но он брезгливо машет рукой и говорит, постукивая согнутым пальцем о толстый карандаш:

— Идите! И если не сделаете через час, — можете уходить на все четыре стороны.

Я вылетаю из кабинета... Ффу!

Мои толстые, громадные бухгалтерские книги я вел так, что весною в них записывался только ноябрь, а осенью на страницах с надписью «дебет» и «кредит» — расцветали подснежники и журчали весенние ручейки, извиваясь между красными толстыми линейками.

И при этом мне иногда приходилось работать ночами, потому что я никогда не работал днем, причем надо мной все время висело изгнание, скандал и насмешки.

И все я приносил ей — могущественной богине Лени, на ее жертвенник.

...Я стоял, почтительно изогнувшись перед директором:

— К сожалению, я не успел вас выгнать, как вы этого заслуживаете, — завтра я уезжаю в Петербург в главное правление и на моем месте будет второй директор правления Андрей Андреич Грызлов. Думаю, что вы не удержитесь при нем и трех дней. Вылетите, как авиатор.

Я отдал ему последнюю дань. Захихикал, осчастливленный милостивой директорской шуткой; постоял, ожидая, что он хоть на прощанье протянет мне руку, но, встретившись с ним взглядом, торопливо поклонился и выбежал из кабинета.

— Влетело? — осведомился кассир.

— Ему от меня? — пожал я плечами. — Бог с ним, не особенно.

Эту ночь я не спал совсем. Думал. А утром пришел на службу и, раскрыв для вида какую-то книгу, погрузился в ожидание нового директора.

Мой план, который родился в бессонную ночь, был безопасен; в случае, если бы он провалился, «вылетел» бы немедленно, а если им совсем не воспользоваться, я вылетел бы дня через три. Что такое три дня в нашей длинной монотонной жизни?

Но я совершил чудо.

Едва этот новый таинственный директор позвонил у подъезда и, раздевшись, вошел в кабинет, я встал с места, захватил кое-какие бумажонки и, сделав товарищам предостерегающий жест, бодро пошел в самую пасть льва.

— Тссс! — сказал я. — Прислушайтесь к нашему разговору.

Передо мной стоял высокий человек, с черной окладистой бородой, орлиным носом и сдвинутыми черными бровями.

Я схватил его руку, крепко пожал ее и, не давая новому директору опомниться, заговорил со снисходительной улыбкой:

— Новый коллега? Очень приятно. Кажется, Андрей Андреич? Старина Мигасов много говорил мне о вас. Частенько толковали мы с ним... Садитесь!.. Ну, что ж, послужим, послужим! Народ мы мирный, хороший, и, я уверен, вы нам понравитесь. Ну, расскажите же что-нибудь о себе? Холосты? Женаты?

— Холост! — сказал он, ошеломленный потоком слов.

— Как холост? Неужели? А дети есть?

Он засмеялся.

— Дети? Откуда же дети?

— А-а, плутишка, — лукаво погрозил я ему пальцем. — Покраснел... Мы вас тут женим, хотите?

— Куда мне! Я старый холостяк. А вы... женаты?

— Гм? Как вам сказать... Курите?

— Курю.

— Ну, попробуем ваших. Знаете, странно: я с вами только сейчас познакомился, а как будто десять лет знаком. Да... бывают такие люди.

— А вы здесь в качестве кого служите? — спросил директор, протягивая мне портсигар.

Я махнул рукой.

— Так себе! Чепуха на постном масле. Мигасов все тащил меня к себе в Петербург, в главное правление, да нет, не хочется. Кстати, он вам что-нибудь обо мне говорил?

— О вас? А кстати, как ваша фамилия? Я не расслышал.

Я назвал себя и затаил дыхание.

Он сделал вежливую паузу:

— Нет, не говорил ничего.

— Странно. Мы были с ним большими приятелями. Он вообще ужасно рассеянный. Я всегда подтрунивал над ним. «Арсений Михайлович, говорю, ты ботинок один забыл надеть!» Одно только мне не нравилось в нем...

Я откинулся на спинку кресла, затянулся папиросой и стал рассеянно разглядывать синеватую струйку дыма.

— А что такое? — заинтересовался директор.

— Уж очень он фамильярен с низшими служащими... Курьеров по плечу трепал, с артельщиками длиннейшие разговоры вел. Я, конечно, по убеждениям демократ, но то,

что допустимо с нами, старшими служащими, звучит каким-то фальшивым народничеством по отношению к курьеру.

— Да, — призадумавшись, сказал он, — пожалуй, вы и правы.

— Да, конечно! Мы с вами, конечно, как люди одного уровня, одного положения в обществе... Кстати, который час?

Он вынул прелестные тонкие золотые часы с эмалью и взглянул на них.

— Половина первого. А вы разве... куда-нибудь спешите?

— Да, — озабоченно сказал я. — Нужно будет в два-три местечка заехать. Вам тоже, я думаю, сегодня уж начинать работать не стоит. Не правда ли? Вы когда завтракаете?

— В два.

— Экая жалость! Мы бы могли позавтракать вместе, да сегодня, простите, не могу. Когда-нибудь в другой раз. Adios, маэстро!

Я пожал ему руку, сказал несколько ободряющих слов по поводу того, чтобы он пока не смущался, что привыкнуть не так трудно, и, послав ему в заключение рукой приветственный жест, выпорхнул из кабинета.

У дверей, как стадо баранов, толпились перепуганные служащие.

— Вы чего же не зайдете к Андрею Андреичу познакомиться? Андрей Андреич! Вы уж тут без меня познакомьтесь с этими ребятками, а я спешу, у меня еще два свиданьица!

Недавно из Петербурга приехал по каким-то делам бывший директор Мигасов. Так как у него было несколько правленских дел к Андрюше Грызлову, он приехал в правление, вошел в кабинет и увидел следующее: я сидел на кончике письменного стола, постукивая о ножку каблуком, а Грызлов говорил мне:

— Милый мой! Но так же нельзя! Ты обещал мне майский отчет сдать в июле, а теперь уже начало сентября... Конечно, ты парень симпатичный, но...

— Ах, отчет, отчет! — сказал я, подмигивая. — Надоело! Ты мне скажи лучше, где мы сегодня завтракаем?

. . . .

. . . .

СТИХИЙНАЯ НАТУРА

I

Я приезжаю в Москву очень редко, но всегда, когда приезжаю, — мне попадается на глаза москвич Тугоуздов.

Знакомы мы с ним недавно — всего лишь несколько месяцев, но, выпивши однажды больше, чем нужно, перешли на «ты».

Недавно, узнав, что я в Москве, он отыскал меня, влетел в номер гостиницы и с порога закричал:

— Брось, брось! К черту твой письменный стол! Нынче у меня хорошее настроение, и я хочу глотнуть порцию свежего воздуха! Э, черт! Живешь-то ведь один раз!

Меня очень трудно уговорить присесть за письменный стол; но увести от письменного стола — самое легкое, беспроигрышное дело...

— Глотнем воздуху, — радушно согласился я. — Это можно.

— Эх-ма! — кричал оживленный Тугоуздов, в то время как мы, усевшись на лихача, мчались в оперетку. — Ходи изба, ходи печь! Гоп, гоп! Хорошо жить на свете, а?

— Совершенно безвредно, — улыбнулся я, впадая в его тон. — Так мы в оперетку?

— В оперетку. Там, знаешь, есть такие разные женщиночки. Хорр...шо!

«Вот оно, — подумал я, — настоящая широкая московская душа».

Как будто догадавшись, Тугоуздов подтвердил вслух:

— Настоящая я, брат, московская душа! Тут нас таких много. Валяй, Петя, — пятерку на чай дам! Гоп-гоп!

В оперетке, во время антракта, мы встретили двух неизвестных мне людей: Васю и Мишунчика.

По крайней мере, Тугоуздов, столкнувшись с ними, так и крикнул:

— Вася! Мишунчик!

Тут же он с ними расцеловался.

— Как подпрыгиваешь, Мишунчик?

Оказалось, что Мишунчик «подпрыгивал» хорошо, потому что, не задумываясь, отвечал:

— Ничего. Подъелдониваем.

У русского человека считается высшим шиком пускать в ход такие слова, которых до него никто не слыхивал; да и он сам завтра на тот же вопрос ответит иначе... Что-нибудь вроде: «ничего, тилибонимся» или «ничего, тарарыкаем».

А в переводе на русский язык этот краткий диалог очень прост:

— Как поживаешь, Миша?

— Ничего, помаленьку.

Тугоуздов познакомил меня с Васей, познакомил с Мишунчиком и не успокоился до тех пор, пока не взял с них слово ехать вместе с нами ужинать к Яру.

— Нет, нет, уж вы не отвертитесь. Поедем, чепурыхнем (или чебурахнем — не помню).

Когда мы вернулись и сели на место, я спросил Тугоуздова:

— Кто это такие, твои друзья?

— А черт их знает, — беззаботно отвечал он, не отрывая бинокля от глаз.

— Чем они занимаются?

— Так просто... Москвичи. Кажется, хорошие ребята. Впрочем, я фамилию-то ихнюю забыл. Не то Кертинг и Полосухин, не то Димитрюков и Звездич. Тот, что Звездич, очень хорошо анекдоты рассказывает.

И закончил несколько неожиданно:

— Деляга.

II

Когда приехали к Яру — нас уже ждал накрытый стол.

— Все как следует? — жизнерадостно спросил Тугоуздов склонившегося к нему метрдотеля.

— Извольте видеть!

— Чего там изволить! Коньячишку дрянь поставили. Ты, братец, дай чего-нибудь этакого... старенького.

— Извольте-с. Есть очень хорошие коньяки 1820 года, только должен предупредить, Николай Савич, — тово-с! Семьдесят пять монет бутылочка.

— Ты, братец, глуп, — поморщился Тугоуздов. — Скажи, Тугоуздов когда-нибудь торговался?!

— Никак нет.

— То-то и оно. Живешь-то ведь один раз! Верно, ребятки?

— Верно, — подтвердил Мишунчик.

Шумно уселись за стол.

— Эх-ма! Ходи изба, ходи печь! — кричал Тугоуздов. — Шире дорогу, коньяк в горло идет! Пейте разумное, доброе, вечное!

... Мальчишка подошел к нам, держа в руке три розы, и заявил Тугоуздову:

— Вот вам прислали... С того столика. Господа Шинкунёвы.

— Ге! Спасибо! Вспомнили старого Тугоуздова. Стой, паренек! Сколько у тебя этого товару есть?

— Да хоть десяток, хоть два.

— Ну вот и волоки два! Отнеси им с записочкой, поблагодари! Стой, напишу.

Цветы были отосланы с игривой запиской Тугоуздова: «Ку-ку! А вот и я, здравствуйте, как пошевеливаетесь? Пьем за ваше, с криками ура!»

Под запиской он заставил подписаться нас всех, несмотря на мои мольбы и указания, что это неудобно.

— Ничего, ничего! Живем-то один раз... Эх-ма!

Мне стал нравиться этот стихийный, широкий, безудержный человек.

«Вот он, московский-то размах, — подумал я. — Москва кутит, дым столбом!»

— Что там у вас еще? — спросил Тугоуздов метрдотеля.

— Еще горячая закуска заказана, потом уха, потом котлетки валлеруа...

— К черту твои закуски. Давай нам ухи... Эх-ма! Настоящей русской стерляжьей ушицы с расстегайчиками. Гоп-гоп! Настоящие исконные расстегайчики!

— Виноват, закуска заказана. Может, подать?

— Подай-ка, я тебе на голову ее выложу. Да ты вот что: и закуску к черту, и валлеруа твое к черту. Ты нам дай кабинетик и тащи туда уху. Верно, господа? Ведь все уже почти сыты.

— Конечно, — сказал я. — Напрасно ты эти котлеты и горячую закуску заказывал.

— Да, милый мой, черт с ним! Обеднеем от этого, что ли? Живешь-то ведь один раз. Ну, дай я тебя поцелую!

Поцеловались.

III

В кабинете Тугоуздов предложил:

— Снимай, ребятки, сюртуки. Опростимся! Садись на пол, на ковре будем уху есть. Как рыбаки! Верно?

Ели уху на дорогом кабинетном ковре. Совсем как рыбаки.

— Постой, — забеспокоился Тугоуздов. — Ты какое вино-то открыл?

— Как же-с! Клико энглянд.

— И дурак. Кто же с ухой клико пьет? Дай посуше. Постой! А это оставь — сами не выпьем, фараоны выпьют.

— Какие фараоны? — полюбопытствовал я.

— Какие? А вот какие. Эй, Никифор! Зови сюда кочующее племя. Пусть споют! Эх-ма! — вдохновенно крикнул он. — Живешь-то...

— ...Ведь один раз, — докончил я.

— Верно! Откуда ты догадался?

Пришли цыгане. Сразу стало шумно, дымно и неуютно; всюду взор наталкивался на незнакомые, алчные лица, на открытые рты и ревущие глотки.

— Гоп, гоп! — кричал Тугоуздов, дирижируя хором и приплясывая. — Сыпь, накаливай (или — «наяривай» — точно я не расслышал)! Барыни, налегайте на фрукту, пейте желтенькое! Эх-эх, тра-ла-ла!

Лицо его сияло весельем.

«Вот оно, — подумал я, — московский тысячник кутит! Что за забубенная головушка! Сколько в этом своеобразной, дикой красоты. Знают ли еще где-нибудь в России секрет такого разудалого, беззаветного веселья?!»

— Довольно! — кричал Тугоуздов. — Вот, на-те вам! Очищайте арену! Едем, ребята!

— Домой? — спросил я.

— Что-о-о? С ума ты сошел! Кто ж теперь домой едет? В «Стрельну»! Под тропики! Кофе с абрикотинской мазью выпьем. Егор! Скажи, чтобы Семен подавал. Да позови Евграфа — пусть он звякнет Ивану Парфенычу, чтобы Алексей нам кофию сварганил. Эх-ма! Высыпай, ребятки.

В «Стрельне» пили кофе. Опять пели цыгане, потому что Тугоуздов хотел сравнить: «чья кишка толще?»

Оказалось, что «ярцам не выстоять».

В пятом часу утра стали собираться уходить.

— Ну, я домой, — робко сказал я.

— Ни-ни! Мы еще дернем в «Золотой якорь» — гуляй, душа! Ни за что не пущу. Мы еще должны по бокалу разгонного выпить.

— Да почему должны? Где такой закон, что должны?

— Нет, нет, ты уж и не говори. Поедем! Григорий! Скажи Савелию, чтоб он Семена кликнул. Да позови Ивана Маркелыча. Тебе чего? Цветы?! А ну тебя... Впрочем — ладно! Братцы, бери этот злак! Всадим в петлицы с двух сторон — то-то в «Якоре» смеяться будут! Хе-хе, почудим! Получайте, барышня! Адьюс. Егорррррр!

В «Якорь» нас не пустили. Мы долго стояли на морозе, переминаясь с ноги на ногу, и униженно просили, приводя разные резоны, — «Якорь» был непреклонен.

— Нельзя, господа, — солидно говорил швейцар. — Поздно. Теперь разве к нам? Теперь к Жану время ехать.

— А, действительно, — спохватился Тугоуздов. — Что ж это мы, братцы, бобы разводим, когда уже шесть часов.

— А что?

— Да уже ведь к Жану можно ехать. Блинков поедим, водочки. Все равно, спать-то уж где же.

— Какой уж сон, — резонно подтвердил Вася, — седьмой час.

— Люди вот уже на рынок идут, а мы — спать? — подхватил и Мишунчик. (Кстати, он оказался не Кертингом и не Димитрюковым, а Жбанниковым, а Вася — Сычугом. Его национальность выяснить не удалось.)

IV

У Жана лениво ели блины с икрой и пили водку. День смотрел в окно, и мне было как-то стыдно за наше беспутство. Тугоуздов заявил, что он может бутылку шампанского открыть ладонью, хлопнув ею по донышку бутылки. Разбил две бутылки и стал плясать с Васей неприличный танец.

Я, еле ворочая языком, прожевывал толстый блин и все время силился открыть тяжелые, будто чужие, веки.

И сам себя упрекал я:

«Нет, не годишься ты, брат. Нет в тебе этакого непосредственного веселья... Ко всему относишься ты с крити-

кой, с придиркой. Нет в тебе этакого... русского. Вот они настоящие русские люди!»

Настоящие русские люди выбрались на свежий воздух только в десять часов утра; притом Вася и Мишунчик куда-то исчезли, а мы остались с Тугоуздовым посреди залитой солнцем улицы; солнечный свет слепил воспаленные глаза.

— Хорошо погуляли, — хрипло засмеялся Тугоуздов. — Я к тебе в гостиницу — спать. Можно?

Дома, в гостинице, он захотел черного кофе с коньяком и улегся только в двенадцатом часу.

Заснул и я.

V

Проснулся я около шести часов вечера. Тугоуздов сидел за столом и что-то подсчитывал карандашом.

— Что ты? — спросил я.

Он обернул ко мне недовольное лицо.

— Вот, черт меня побери! Шестьсот рублей, как корова языком слизала.

— Ну, что ты говоришь? Положим, я тоже больше двухсот истратил. Ну, да ничего, — успокоил я осунувшегося Тугоуздова. — Живешь-то ведь один раз.

— Черт меня дернул этих двух прощелыг потащить... Пили, ели, хоть бы целковый кому на смех бросили...

— Да ведь ты же их сам тащил?

— Да, уж... До старости доживу — все дураком останусь. Эти идиотские цветы еще. У Яра тридцать целковых отдал, да в «Стрельне» двадцать четыре. Кому это надо? Те тоже идиоты, Шинкунёвы — нужно им было свои паршивые цветы присылать... Они-то мне три розочки, а я — накося! На эти тридцать рублей три дня жить можно... И вот я теперь убедился: никогда сразу не нужно заказывать закуску и ужин. Закуской-то налопаешься, а ужина никто и не ест. А в счет-то его ставят... Не подарят!

— Ну что ж, — вздохнул я. — Что с возу упало, то и пропало. Постарайся забыть и начни новую жизнь.

— Да, тебе легко говорить... Ты цыган-то не приглашал — я приглашал!.. Ведь я им, подлецам, почти триста рублей роздал. За что, спрашивается? Поорали, накричали в уши

разных бессмысленностей и пошлостей — а ты за это же и денежки плати...

Он опустил голову и долго смотрел на какую-то бумажку, лежавшую на столе.

— За ковер пятьдесят рублей поставили. Вот безумие-то! Это мы ухой ковер залили. И дернула это меня нелегкая — на ковер лезть уху лопать... Тоже — рыбак выискался! Такого рыбака высечь нужно, как следует, чтобы он знал.

— Ходи изба, ходи печь, — напомнил я.

— Что? Да!.. — криво улыбнулся он. — Этой бы печью да по мордасам меня. Тоже — широкая душа! Первобытная натура. Кому нужны были эти блины у Жана? Шестьдесят рублей заплатили — за что? Лучше бы домой поехали

— Да ведь я говорил, чтобы домой!

— Я тебя и не упрекаю. А от цветов в «Стрельне» мог бы меня и удержать... На кой черт эти цветы нам были. Тоже, подумаешь, натыкали в петлицы и думают, что остроумно.

— Ты же сам предвкушал, как, дескать, в «Золотом якоре» смеяться будут.

— Кто? Кто бы там смеялся?! Дурак швейцар да пара размалеванных баб? Удивишь ты их этими розами!

Он потер ладонью голову.

— Я одного только не понимаю: за что я в «Стрельне» заплатил сто рублей, не считая цыган. За что с меня они сто рублей взяли?.. Даже, помню, сто десять рублей с копейками. Не иначе, как эти два жулика попросили метрдотеля приписать их старые счета! Обрадовались!

— Какие жулики?

— Да эти: Симакович и Перепентьев.

— Они вовсе не Симакович и Перепентьев. Они Жбанников и Сычуг.

— А черт с ними! Сычуг — не Сычуг. Шофер тоже свинья — сорок два рубля содрал — за что, спрашивается? Какой-то Григорий тоже или Пантелей... Дал я ему целковый на чай, просил пять рублей разменять, а он возьми да и исчезни с золотым! Как бы теперь эти пять рублей пригодились... Швейцару тоже у Жана... Три рубля дал. Тысячу раз говорил себе: нужно иметь всегда мелкие. Предовольно с него было бы и полтинника.

Вспомнив еще что-то, он злобно схватил себя за голову.

— Валлеруа! Знают, черти, что подсунуть! По три с полтиной порция! Так четырнадцать рублей и ухнули. С какой радости, спрашивается?

— Ну, чего там хныкать, — сказал я, решительно поднимаясь с дивана. — Поедем в «Прагу», пообедаем, придем в себя.

— В «Прагу»? — охнул Тугоуздов. — Не-ет, братец... я теперь неделю буду сосисками с пивом поддерживаться. Мы хотя не нищие, дорогой мой, а нам тоже соображаться надо... Хочешь, пойдем, тут такой ресторанчик есть «Неаполь», за углом. Графинчик водки с закуской 30 копеек, обед из трех блюд шесть гривен...

— Котлет валлеруа не будет?

— Зачем? — не понял он.

— Да как же. Может, цыган позовешь, а? Ходи изба, ходи печь...

— Молчи, чтоб ты пропал!

Он бросился на диван и простонал:

— А у Жана почти полкоробки икры осталось... не доели! А ведь он за нее двенадцать рублей поставил... Водки графин оставили... Семги три куска...

И эта широкая московская натура, этот размашистый гуляка заплакал от беспросветного отчаяния и скорби...

....

....

НИЧТОЖНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Лежа в кабинете на диване с книгой в руках, я услышал голоса, доносившиеся из передней...

— Ну, что, как твой барин?

— А что-с?

— Его нет дома? Да?

— Нет-с, помилуйте — дома.

Долгая пауза последовала за этим ответом. Потом первый голос, проникнутый глубоким изумлением, воскликнул:

— Ну, что ты такое говоришь? Неужели?!

— Так точно. Дома.

— Вот-то штука! Ты уверен в этом?

— Барин в кабинете на диване читают книжку.

— И к нему можно? Может быть, он болен? Нынче все болеют.

— Никак нет; не болен.

— Чудеса!.. Ну, проводи меня к нему.

Кирпичев показался в дверях. Этого Кирпичева я уже не видел... не помню сколько.

Петербург странный город: кажется, будто позавчера только встречался на Невском со знакомым человеком. А он за это время или уже Европу успел объехать и жениться на вдове из Иркутска, или полгода, как застрелился, или уже десятый месяц сидит в тюрьме.

И, напрягши память, вспомнил я, что, действительно, не видел этого Кирпичева месяцев пять-шесть.

А может быть, и два года. Странно живут некоторые из нас.

Если не ошибаюсь, последний раз сидели мы с компанией за ужином у Кюба. За ужин, помню, платили мы с Кирпичевым. То есть платить хотели все, но каждый, кроме нас двух, выразил такое вялое, малокровное желание слазить в карман за бумажником, что мы, как более проворные, в течение пяти минут расплатились за всех. Кто-то, правда, выразил даже протест по поводу нашего поведения, но, выразив этот негодующий протест очень лениво и не докончив фразы, тотчас же задремал.

С Кирпичевым я никогда не был близок, но мне всегда нравилось его спокойное джентльменство в отношениях с окружающими и безбрежное простодушие, которое привлекало все нетребовательные сердца к этому тороватому, благожелательному человеку.

Теперь он казался похудевшим, немного потрепанным, но ясная, благожелательная улыбка все время освещала усталое, потемневшее лицо.

— А, Кирпичев! — приветствовал я его. — Рад, что вспомнили. Пять месяцев не виделись.

— Полтора года. Последний раз, полтора года тому назад, у Кюба ужинали.

— Ну, как ваша техническая контора? Процветает?

Он замахал на меня руками и рассмеялся так, что закашлялся.

— Эко, кого вспомнили! Покойницу... Я ведь, батенька, пролетел с конторой.

— Да что вы!

— Ей-Богу, — радостно сообщил он, улыбаясь усталым ртом. — Чрезвычайно пролетел. Потом устроил автомобильный гараж и тоже пролетел, потом купил магазин предметов для спорта и уже окончательно пролетел. Очень, знаете, это не весело.

Но, говоря эти слова, он противоречил тому выражению, которое было написано на его лице: выражение лица его было самое веселое.

— Да-с... все, знаете ли, пошло прахом: пролетел, можно сказать, самым циничным образом. Предлагали мне тогда одну комбинацийку, благодаря которой можно было не малую, а большую толику в карман зажать, да как-то не мог я. Хи-хи-хи! Ну, да ничего, знаете ли, все на свете поправимо. Свет не без добрых людей. Сегодня я растерял все перья, завтра ближние помогут обрасти. Не правда ли?

Я помолчал.

— Я говорю: не правда ли, а? Все, глядишь, и устроится.

Разглядывая с суровым вниманием свои ногти, я неохотно процедил:

— Да... гм... бывает. Бывает, что и устраиваются.

— То-то и оно.

Я бросил на него исподлобья быстрый взгляд и, уверившись, что он по-прежнему безмятежен, перевел разговор.

— Лазаренку давно встречали?

Он засмеялся.

— Ох, батенька! Лазаренка этот прямо какой-то пренесчастный тип! Сколько раз я к нему ни захожу, ни звоню по телефону — все нет дома. Все, вероятно, романы с дамами. Конечно, он холостой человек, но ведь так и известись можно. На днях звоню к нему — будто его голос по телефону: «Кто говорит?» Я отвечаю: «Кирпичев». И вдруг тоненький женский голосок кричит: «Его нет дома! Повесьте трубку!» Умора.

Я для чего-то перелистал книгу и спросил:

— А у этого... как его! У Тарасевича... Бываете?

— Тоже он занятой человек. Вот ведь странный город Петербург, как подумаешь: он высасывает у человека все свободное время и ни на минутку не дает пожить для себя. Заезжаю к Тарасенке, раз — нет дома! Заезжаю другой — нет дома, третий раз — нет дома!! «Да, где же он?» — «То

в суде, то на каком-то заседании, то на деловом завтраке или обеде». — «Да когда его можно застать?» — «Не знаем». — «Да вы скажите этому чудаку, что Кирпичев, его приятель Кирпичев, хочет, мол, его видеть. Пусть он сам мне напишет, когда у него свободная минутка выберется»... Оставил свой адрес... Вы думаете, получил ответ? Ни-ни! Впрочем, наша петербургская почта... На нее не надейся, не правда ли?

— Да уж... почта... — пробормотал я.

— То-то и оно. И, главное дело, очевидно, что жизнь усложняется с каждым днем. Помню я, года два тому назад как-то свободнее жилось и время для всего находилось, а нынче... (он махнул рукой). Прямо-таки я не знаю — куда мы идем? И что будет с нашими детьми, если даже мы уже — расшатанные скверные неврастеники, несущиеся, сломя голову в погоню за делами...

— Да, — рассеянно вздохнул я.

— Конечно же, правильно. Да вот даже взять Костю Светлякова — милого лентяя, гуляку и бездельника Костю. И тот каким-то образом по уши погряз в делах. Захожу как-то на днях к нему пораньше, чтобы уж наверное застать. «Доложите, говорю, барину, что Кирпичев пришел, его приятель. Барин-то, конечно, дома?». — «Кажется, дома; сейчас посмотрю». Вернулась: «Нет дома» — «Как так нет? В это-то время?» — «Да говорит, по делу куда-то уехал». — «Чудеса! Да, когда же он вернется». — «Неизвестно; до вечера, говорит, по делам поехал». Какой-то поэт сказал: «Город жестокий Бог, и мы его рабы!» ...И верно. Уж если Костя Светляков из господина города в раба превратился...

Я искоса взглянул на Кирпичева; мне все казалось, что я подмечу на лице или ироническую улыбку, или горечь во взгляде голубых глаз...

Ничего подобного... Лицо Кирпичева сияло по-прежнему.

— Вот так живут, живут люди всю жизнь в суетне, в беготне, и так дойдут они до самого смертного одра своего. «Боже ты мой, скажут. Да ведь мы до сих пор ни разу на себя как следует не оглянулись!» А где уж там оглядываться, когда этакая тетя за спинкой кровати стоит и косой размахивает. Хи-хи-хи!

Несмотря на веселую мину, можно было подметить во всем лице Кирпичева большую безмерную усталость. Я заметил, что несколько раз он поднимал руку, собираясь, очевидно,

поправить скривившееся на носу пенсне, но рука останавливалась на половине и падала, будто бы возложенное на нее предприятие казалось ей непосильным и требующим затраты громадной энергии.

— Прямо-таки я даже удивляюсь, что застал вас дома. Первого теперь такого человека встречаю, со старозаветными традициями.

Я поспешил сказать:

— Это совершенно случайно! Редкий случай! Обыкновенно меня не бывает дома.

— То-то мне это и показалось диким. Живут нынче все на ходу и даже в погоне за благами жизни о здоровье своем забывают. Захожу я на прошлой неделе к Веденяпину. Конечно, первым долгом: «Дома барин?» — «А сейчас узнаю». Ушел, потом приходит обратно в переднюю: «Дома нету. По делам уехамши». — «Экая жалость. Даром, значит, я пешком по такому морозу с Васильевского тащился». Вдруг — гляжу на вешалку — старая знакомая висит во цвете лет: веденяпинская шуба. «Постой, говорю я, как же ты говоришь, что барина дома нет, когда его шуба висит. Я-то ее, голубушку, помню — еще портному тогда, когда заказывали, — ручался» — «Действительно, говорит малый, это баринова шуба. Только, значит, говорит, в драповом пальте уехал». Смех меня взял: «Эх ты, говорю я, тетеря; да ведь драповое пальто вон оно, под шубой-то висит. Значит, твой барин в каком же уехал? Неужто же в летнем?!» — «Значит, говорит, в летнем!» Только это и оставалось предположить.

Кирпичев в горячности вскочил с кресла.

— Подумайте! Вы только подумайте! В 12-градусный мороз — и человек, поглощенный делами, в летнем пальтишке на улицу выскакивает. Да ведь это безумие! Ведь он воспаление легких мог схватить. У людей никакого внимания, никакого уважения к своему здоровью. А потом, когда схватит какую-нибудь цацу на горло или в легкие — запляшет, да поздно! Нервный, безумный, рассеянный народ. При встрече не узнают, носятся по городу в мороз в летнем пальтишке или просаживают время и деньги на женщин, позабыв о собственном доме и хозяйстве.

— Печально, печально, — покачал я головой. — А у вас ведь, кажется, был какой-то закадычный друг Сипачев. Он в городе?

— Он-то в городе, но к нему брат приехал в гости. То все дома не заставал его целый год... а потом... Да! Ведь с этим братом прекурьезная история вышла. Прямо расскажи кому — не поверят. Смехи!

Действительно, он засмеялся.

Манера смеяться была у него такая: он закидывал голову и, трясясь, как котел, переполненный паром, отмахивался руками, будто от какого-то невидимого шутника, очень его насмешившего.

— Так вот: прихожу я к Сипачеву; стою в передней. Выходит его жена. «Дома Гриша?» — «Нет его. Уехал». — «Ах, какая жалость!» Вдруг нечаянно дверь в соседнюю комнату приоткрывается — и что же! Вижу — вот как вас сейчас — у стола стоит Сипачев. «Да, вот же, говорю я жене, вот, Марья Афанасьевна, Гриша». А она мне: «Где, говорит? Вот этот? Да это не Гриша». — «А кто же это?» — «Да это, говорит, его брат приехал из Калуги, близнец. Очень на него похож». Я так и ахнул! Ведь бывает же такое сходство! Хи-хи! Где-то я даже читал рассказ, как жена путала двух братьев-близнецов — мужа и его брата — и какие смешные шутки из этого получались. Я, помню, очень тогда смеялся...

— Да, да, — сказал я. — А мне как раз нужно сейчас несколько деловых писем написать.

— Ах, я вас задерживаю, — засуетился он. — Я ведь, признаться, по маленькому дельцу зашел. Вы хороши с Чукмасеевым?

— Хорош. А что?

— Не напишете ли вы ему письмецо обо мне. Он ведь имеет большое значение в Южном Банке, а я имею в виду одну комбинацийку.

Я подумал.

— Нет, я не могу написать ему письма. Никак невозможно.

— Что вы говорите! Почему?

— У меня рука болит.

— Ну, что вы говорите! Экая досада! Что же с вами такое?

— Не знаю. Прямо-таки пошевелить трудно. Ревматизм, что ли.

— Ах ты, Господи! Вы бы муравьиным спиртом... Очень, говорят, помогает.

— Хорошо, хорошо.

— Только как же вы давеча говорили, что деловые письма-то писать будете... С больной рукой неудобно.

Я бросил на него испытующий взгляд. Лицо его ничего не выражало, кроме самого неподдельного участия.

— Письма? Да я их сначала обдумаю, а потом... этого... барышне продиктую. Знаете, на машинке.

— Ах, да, впрочем... Верно. А скажите... Может быть, вы бы мне продиктовали для меня письмецо, а я бы...

— Не могу. Продиктовать-то я продиктую, чудак вы человек, а как же подпишу его, если рука не действует. А без подписи оно и не годится.

— Да, да. Верно, верно. Хи-хи! Вот-то курьезный случай!.. Ну, я пойду. Бувайте здоровеньки, как говорят хохлы. Хи-хи!

И он ушел.

И теперь, сквозь стены своего дома, я вижу его, этого нелепого человека, выброшенного жестокой жизнью из нашей человеческой компании, выброшенного, отставленного от нас, презираемого нами и никак не хотящего понять этого...

Вижу его сквозь стены своего дома, вижу, как он заходит к Светлякову и, не застав его дома, плетется к Веденяпину, потом к Сипачеву, изумляется сходству одного единственного близнеца с самим собою и потом идет он к Тарасевичу, а потом ко мне...

Я встаю с дивана и, открыв дверь в переднюю, кричу слуге:

— Если этот Кирпичев придет еще один раз — меня нет дома. Когда бы ни спросил...

Пусть теперь приходит...

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Некоторые критики упрекают меня в том, что я никогда не описываю действительной жизни, а «выдумываю из головы» сюжеты своих рассказов.

Ну, хорошо.

Ну, вот этот рассказ я, наконец, решил написать не «из головы»; я решил добросовестно передать все, ничего не пре-

увеличивая, не преуменьшая, — всю ту адски перепутанную нить действительной жизни, рассмотрением которой я был занят вчера.

Да и сегодня тоже занят (вот — пишу).

I

Едва я спустился вчера, в 3 часа дня, в низок кавказского ресторанчика, как сразу же увидел толстого смуглолицего человека, сидевшего в углу с понуренным видом. Мы узнали друг друга.

— Ага! — улыбнулся я. — Живы, здоровы? Вы меня помните?

— Еще бы! Если бы не вы, до сих пор пришлось бы мне сидеть «за въезд в магазин на автомобиле через оконное стекло». Что говорить — шофер я плохой.

Я познакомил пришедшего со мной товарища с «шофером», и мы, усевшись за соседним столиком, дружески разговорились.

— Со мной всегда как-нибудь дурацкие истории случаются, — с невыразимо печальным видом признался этот человек. — То я на автомобиле в магазин въеду, то меня в театре ночью забудут и запрут, то я прыгаю в реку, чтобы спасти гладильную доску, похожую, по моему мнению, на погибающего.

Он огляделся и наклонился к нам с загадочным видом.

— А теперь... Вы знаете что? Ко мне покойник стал являться.

— Ну? — удивились мы, тоже понизив голос до шепота. — Является? Ночью?

— Да нет, не ночью. Днем.

— Что вы говорите! — удивился я. — Что за странное существо! Днем пугать человека...

— Да он меня не пугает. Он триста рублей требует.

— Какая меркантильность! За что же это он?

— За гроб и за ногу. Никакой у людей благодарности.

Мы из деликатности постеснялись начать расспросы, но он сам спросил, вздыхая:

— Рассказать?

— Конечно, конечно. Это очень... любопытно. Настоящий покойник, являющийся днем...

— Да он, как бы сказать... не настоящий. Был, действительно, покойник, а потом... Прямо-таки сущая чепуха!

— Ну? Ну?

— Вы знаете, где я служил последнее время?

— Вероятно, при посольстве? — высказал вежливое предположение мой товарищ.

— Да, как же! Держите карман шире... То есть так мне не повезло, так не повезло, что просто ужас. Подумать: учился я в свое время в гимназии, окончил три класса и дошел до того, что последнее время служил вагоновожатым трамвая!!

— Какая трагедия! — вздохнул мой товарищ. — Ну?

— Видите ли, я больше привык к интеллигентному труду. Шофер я плохой и вагоновожатый был препаршивый. Вместо того чтобы следить за своим делом, я считал количество окон в домах, старался обгонять, ради спорта, экипажи или читал вывески наоборот.

— Как это? — заинтересовался мой товарищ.

— А так: написано, например, «магазин Бурцева», а наоборот читаешь: «Авецруб низагам».

— Авецруб низагам, — прошептал я. — Это действительно замечательно. Забавно! Онвабаз...

— Чего?

— Онвабаз! Забавно.

— Да, да. Так вот я и говорю: вместо того чтобы дело делать, я ворон считал... Ну, вот... Недавно еду — вдруг из-за угла погребальная процессия. Эх, думаю, успею проскочить — трах! Что же вы думаете?! Вагон мой налетает на катафалк, гроб с покойником летит на рельсы, вагон наскакивает на гроб — и не успевает никто оглянуться, как гроб — на куски, а покойнику колесом кусочек ноги отхватило... Да вот, не он ли это сюда ковыляет?

Мы в ужасе вскочили и обернули лица к дверям, в которые кто-то вошел.

— Нет, не он! Да уж вы не беспокойтесь... Он явится, проклятый! И здесь меня найдет. Притащится!

— Амус лешос, — сказал я своему другу, из деликатности затемнив фразу. Но опытное ухо бывшего вагоновожатого уловило смысл этих слов.

— Ничего я не сошел с ума. Вот увидите — явится! Слушайте же, что дальше было. Едва только колесо наехало на лапу покойника, как он зашевелился, задергал рука-

ми и — ну орать что есть мочи! Эти дураки доктора так и не разглядели, что усопший-то спал в летаргическом сне.

— Изумительный случай! — ахнули мы.

— Ничего не изумительный. Самый обыкновенный. Говорю же я вам: со мной каждый день что-нибудь подобное случается.

— Что же дальше было?

— Ничего хорошего. Факельщики, разумеется, удрали, лошади с катафалком умчались вскачь — потеха! — а родственники этого летаргического на меня же набросились и давай меня костить, как самого последнего человека.

— За что же? — удивился мой товарищ. — Ведь вы прямо-таки воскресили мертвеца!

— То-то и оно. Я говорю то же самое. А он ко мне потом пристал: зачем гроб поломал? Зачем ногу попортил?

Вагоновожатый погладил усы и свесил голову на грудь с видом злейшего меланхолика.

— Теперь вот ходит ко мне. Триста рублей требует. Трамвайное общество отвертелось с помощью своих адвокатов... а у меня адвокатов-то нет. Что я теперь буду делать? Ходит и ходит этот колченогий. Каждый день ходит. Я, говорит, через тебя трудоспособность потерял.

— А вы бы ему указали на то, что, если бы не вы — так бы его живого и закопали в могилушку.

— Да говорил я ему! Уперся как бык: не твое дело, говорит. Может быть, я и без тебя бы, когда речи над гробом начали говорить, — проснулся бы. И ноги, говорит, были бы целы. Я, говорит... А чтоб тебя на том свете так таскало! Слышите? Идет! Я уж по костылю слышу. Пронюхал, что я здесь! Опять будет тут нюнить, падаль этакая!

Действительно, со стороны входа до нас донесся отчетливый стук костыля о каменный пол.

Он приближался и приближался...

II

Покойник выглядел еще не старым мужчиной, с желтым лицом и брезгливо выдвинутой нижней губой. Под мышкой он держал костыль. Голос имел скрипучий, ворчливый.

— А! Вот оно что! Вы тут вина распиваете, шашлыками закусываете — лучше бы денежки мои отдали. А приятелей

шашлыками пичкать можете тогда, когда свободные деньги будут.

— Эй вы там — потише! — грубо крикнул я. — Чего вы пристаете к этому почтенному человеку? Что вам надо?

— А это вы видели? — указал он на ногу. — Тоже они мастера людей зря калечить.

— «Людей», — презрительно расхохотался вагоновожатый. — Тоже человек выискался! В гробу по улицам раскатывает.

— Все равно, брат! Давить никого не полагается.

— Если вы покойник, так нечего ко мне приставать, а если не покойник, то сами могли бы лошадьми править. Небось, я звонки-то давал.

— Ну так что ж, что давал?

— А вы разлеглись и в ус не дуете. Трамвая нужно остерегаться.

Последнюю фразу вагоновожатый произнес крайне нравоучительно.

— Вы, братец мой, рассуждаете, как глупый человек: если бы я мог сам править катафалочными лошадьми, кто бы, какой бы дурак повез меня на кладбище.

— Ну а если вы покойник, то и нечего было просыпаться!

— Я не виноват, что у меня летаргический сон. А вы уж обрадовались, думаете — всякого летаргического можно трамваем давить?

— «Триста рублей», — пожал плечами вагоновожатый. — А то, что меня со службы выгнали и жалованье в штраф удержали — это кто мне заплатит?

— Виноват, — перебил мой товарищ, очень рассудительный человек. — Скажите, господин вагоновожатый, а если бы вы налетели на настоящего покойника, вас бы тоже уволили?

— В том-то и дело, что тогда бы не уволили! Мало ли какой человек на погребальную процессию наехать может. А тут уволили за то, что живого человека изувечил. Все-таки — скандал, разговоры!

— В таком случае, милостивый государь, — серьезно сказал мой товарищ, обращаясь к покойнику. — Вы сами и виноваты во всем происшедшем. Вам не нужно было просыпаться. Вы сами понимаете — небольшая беда, если покойника немножко изувечат. А вы сделали очень некра-

сиво — к рельсам подъехали, крадучись, втихомолку, как покойник, а потом, когда вас, так сказать, вышибли из седла, вы подняли крик, подчеркнув этим, что пострадали, как живой человек. Неудобно-с!

— Ну, хорошо. Если даже так, — согласился покойник после долгого размышления. — А гроб-то он все-таки поломал? Гроб-то тоже денег стоил?

— Но ведь он вам сейчас не нужен?!

— Да ведь когда-нибудь понадобится?

— Тогда он вам его и купит.

Бывший покойник обернулся к вагоновожатому.

— Купишь?

— С удовольствием!

— Ну, то-то. Ты хоть бы вином-то меня угостил. А то одни от тебя только неприятности.

— Сделайте одолжение!

Восхищенный красноречием моего товарища, покойник развеселился, и даже легкое подобие улыбки — как солнце сквозь облака — прорезало его лицо.

— За здоровье новорожденного! — провозгласил мой товарищ.

— Ногу он мне только попортил — вот жалко!

— Ничего! Одни появляются на свет Божий без зубов и волос — другие без ноги — такова воля Зиждителя.

— Ура! — крикнул вагоновожатый.

Было весело.

Между моим товарищем и покойником наметился уже легкий абрис будущей дружбы.

Когда мы, расплатившись, неуверенно брели по узенькой улице, я сказал вагоновожатому на его обратном языке:

— Акчинйокоп иламолу! Ех-ех!

— Обисапс, — с чувством ответил вагоновожатый, пожимая мне руку...

Вот вам и жизнь!

Ей-Богу, ни одного слова не прибавил, не убавил. Честное слово.

ФАБРИКАНТ

— Знаю, знаю я, зачем ты на дачу едешь.

— Да ей-Богу отдохнуть!

— Знаем мы этот отдых.

— Заработался я.

— Знаю, как ты заработался! Будешь там за всеми дачницами волочиться.

Писатель Маргаритов сделал серьезное лицо, но потом махнул рукой и беззаботно засмеялся.

— А ей-Богу же, буду волочиться. Чего мне!

— Вот видишь, я говорил. За кем же, ты думаешь?

— За всеми.

— Послушай... а я?

Маргаритов рассеянно скользнул глазами по лицу писателя Пампухова.

— Ты? А ты как знаешь. Ведь ты раньше меня едешь?

— Раньше, — сказал Пампухов.

— Ну и устраивайся как знаешь.

* * *

Это было превосходное дачное убежище. В некоторых местах было море, в некоторых сосны, в некоторых песок. Море шумело, сосны шумели, и только песок лежал смирно.

Дачников было много, но так как песку, сосен и моря было еще больше — все были довольны.

Маргаритов приехал через три дня после Пампухова и сейчас же ориентировался. Познакомился с соседкой и, расхвалив ей какой-то морской уголок, которого он до этого и в глаза не видал, повлек несчастную к этому таинственному уголку.

— Вот, — сказал он, беря дачницу за руку и усаживая ее на песок. — Вот, будем тут слушать Бога.

— Как слушать Бога?

— Мы сейчас перед лицом Сущего. Он во всем — в прибое морском, в шелесте сосен и в ваших глазах. Положите мне руку на голову. Вот так. Положите мою голову к себе на колени и спойте колыбельную песенку. Я устал.

Дачница рассмеялась, но исполнила желание Маргаритова.

— Чему вы сейчас смеялись?

— Так, — ответила дачница.

— Вы не видите звезд?

— Нет. Теперь же день.

— А я их вижу. Моя звезда и твоя — мерцают рядом. Как хорошо чувствовать себя частичкой космоса... Что значим мы, две пылинки, среди миллионов...

Неожиданно дачница сбросила голову Маргаритова на песок, повалилась около и залилась таким ужасным раскатистым смехом, которого Маргаритов никогда не слыхивал. Она смеялась длинной заливчатой фразой «ха-ха-ха-ха-хха-а!», потом ей перехватывало горло, она делала коротенькое «гг-а-а!» и, опять вздохнув, низвергалась в глубокую пучину: «ах-ха-ха-ха-ха-а-а!»

Маргаритов, потрясенный, стоял над нею и спрашивал:

— Что такое? Что случилось?

— Га-а-а! Ахха-ха-ха-а!

— А ну вас, — сердито сказал Маргаритов. — Если вам так весело — веселитесь в одиночестве.

— Ах-ха-ха!

Отойдя от нее, Маргаритов подумал с досадой:

«Ничего не понимает. Наверное, дура».

* * *

В тот же день Маргаритов свел знакомство с другой дачницей — прехорошенькой докторшей.

— Часто бываете у моря? — хитро спросил он.

— Не особенно.

— Хотите, я покажу вам один чудесный уголок. О нем никто почти не знает. Пойдемте.

Когда писатель и дачница пришли на то место, где еще оставалось углубление в песке от тела хохотавшей давеча собеседницы Маргаритова, Маргаритов уселся у ног своей новой знакомой и мечтательно сказал:

— Тут так хорошо... Здесь можно слушать Бога.

— Почему?

Он устало покачал головой.

— Боже мой! Но ведь мы теперь лицом к лицу с Неведомым... Неведомый притаился всюду — его шум слышится в прибое соленой волны, в шелесте могучих сосен, и Он глядит на меня из ваших глаз. Положите мне руку на голову. Я устал.

— Может быть, вы хотите положить свою голову ко мне на колени? — благодушно спросила дачница.

Маргаритов опасливо взглянул на нее, подивился немного и нерешительно положил голову ей на колени.

— Баю-баюшки, — сказала дачница. — Не спеть ли вам колыбельную песенку?

Маргаритов поднял голову.

— Откуда вы... знаете?

— Что?

— Ничего, ничего...

— Нет, что я знаю?

— Вот то, что я... хотел, чтобы вы мне спели колыбельную песенку?

— Догадалась, — рассмеялась дачница. — Сердце сердцу весть подает. Вы звездочек не видите? Вон две наших звездочки мерцают. Дальше как? Космос, что ли? Постойте, куда же вы? Вы еще не сказали насчет двух жалких пылинок среди миллиарда. Это очень хороший трюк: женщина, узнав, что вы с ней две такие пустяковые пылинки среди миллиардов, подумает: «Эх, изменю-ка я мужу. Все равно крошечная измена растворится среди огромного космоса!» Ах, Маргаритов, Маргаритов! Ведь вы писатель. Ну как же вам не стыдно, а?

— Послушайте... Скажите мне правду, — убитым тоном спросил Маргаритов. — Это Пампухов... разболтал?

— Ну конечно же! Он уже два дня ходит всюду и проповедует: «Женщины, скоро приедет Маргаритов — остерегайтесь его. Он будет стоять с вами перед лицом природы, потом положит вашу руку к себе на голову, потом эту голову положит к вам на колени, потом будет жалоба на усталость, просьба колыбельной песни и разговор о звездах, о космосе. Потом...»

— Довольно! — с горечью сказал Маргаритов. — Прощайте. Вы злы и жестоки.

— До свиданья. Всего хорошего. Кланяйтесь Пампухову.

* * *

Усталый, разбитый возвращался бедный Маргаритов к себе на дачу. Он брел, натыкаясь на стволы сосен и спотыкаясь о корни.

Он был печален, рассеян и зол.

Но как он ни был рассеян звук двух голосов, доносившихся со стороны лужайки, где лежало старое сваленное бурей дерево, остановил его.

Разговаривали мужчина и женщина, Маргаритов прислушался и проворчал:

— Ну конечно этот проклятый Пампухов разговаривает! Чтоб ему язык проглотить.

Вопреки этому желанию, Пампухов действовал языком легко и свободно.

— Я в этом отношении рассуждаю, как дикарь! Захотелось мне вас поцеловать — я хватаю вас и целую. Это мое право. Захотелось вам ударить меня за это хлыстом или выстрелить из пистолета — бейте, стреляйте. Это уже ваше право.

— Ну хорошо, — сказал женский голос. — А если я ни бить, ни стрелять в вас не буду, а просто скажу, что вы мне противны. Тогда что?

— Не говорите этого слова, — яростно вскричал Пампухов. — Я себе лучше разобью голову!

И он действительно хватился головой о поваленный ствол дерева.

«Ишь проклятый, — завистливо подумал Маргаритов. — Без приемов работает. Как Бог на душу положит!»

— Сумасшедший! — вскричала женщина. — Вы себе голову разобьете!

— И разобью, — вдохновенно-упрямо сказал Пампухов.

— Смотрите, какое красное пятно на виске...

— И пусть. Любите меня?

— Не знаю, — нерешительно сказала женщина. — Я, кажется, вообще не могу любить.

— Пусть я подохну, — простонал Пампухов.

Он задыхался от гнева и муки. Поглядел на женщину воспаленными глазами, схватил себя за воротник и бешено дернул. Воротник затрещал, галстук лопнул и безжизненно свис на сторону.

— Что вы делаете, дикарь? Ведь вам придется возвращаться домой.

— Пусть! — прохрипел бедный Пампухов. — Пусть! Любишь меня? Скажи...

— Не знаю... Зачем вы меня на «ты» называете?

— О, ччерт! Придешь сегодня ночью к мостику?

— Не делайте моей руке больно... Не знаю, может быть.

— Нет, скажи наверное...

— Наверное сказать никогда нельзя... А вдруг умру.

— О, Бож-же! — заревел Пампухов. — Она меня не любит! Она мной играет! Пропадай все.

Он схватил свою трость, в ярости переломил ее пополам и, отбросив далеко от себя обе половинки, убежал в лес.

— Пампухов, — крикнула дачница. — Вернитесь! Пампу-у-ухов! Где вы, сумасшедший! Сережа-а! Ну, вернись, ну, я тебя люблю. Я пошутила!

Очевидно, сумасбродный Пампухов был далеко, потому что не отозвался на этот ласковый призыв. Дачница села на поваленное дерево и, подперев подбородок рукой, стала смотреть затуманенным слезой взором в ту сторону, куда умчался неистовый Пампухов.

Подождав немного, Маргаритов засвистел песню и смело направился к дачнице, обойдя ее с другой стороны.

— Ай, кто тут?!

— Это я, — сказал, раскланиваясь, Маргаритов. — Позвольте представиться, — Маргаритов. Бродя по лесу, услышал женский крик и, думая, что кому-нибудь нужна помощь, поспешил сюда.

— А вы слышали, — смущенно спросила дачница, — что я кричала?

— Странно, но мне показалось, что женский голос кричит знакомое имя — Пампухов!

— А вы его... знаете?

— Сережу Пампухова? Как самого себя. Страшный ловелас.

— Ну что вы!

— А ей-Богу. Наверное, уже успел признаться вам в любви...

— Почему вы думаете?

— Таков его характер. У него есть и система своя. Да вот, например: говорил он вам, что он дикарь и делает что хочет и что женщина может поступать тоже как хочет: или ответить на поцелуй, или ударить ножом.

— Нет, не ножом, а хлыстом или револьвером.

— Ну, все равно.

Он оглядел дачницу и спросил небрежно деловым тоном:

— Голову разбивал?

— Что-о?

— Голову. У него такая система: после дикаря биться головой обо что-нибудь.

Дачница вскочила.

— Послушайте! Неужели он притворялся? А я-то, глупая...

— Да, он ловко это проделывает.

— Но ведь он не шутя бился головой. У него было тут красное пятно...

— Сударыня! Это делается очень просто: он ловко хлопает ладонью о дерево, а потом уже головой бьется о руку. Получается сильный звук, а не больно.

— А красное пятно?!

— Вы обращали когда-нибудь внимание на отворот его пиджака? Нет? Обратите. У него на всякий случай за отворотом нашит кусок коленкора с намазанной на него красной гримировальной краской. Ударившись головой о руку, этот продувной парень хватается за отворот и, намазав палец краской, переносит ее на лицо. Поняли?

— Боже, какая гадость...

— Да уж... Хорошего мало. Воротничок рвал?

— Рвал...

— С галстуком?

— Д... да...

— У него две дюжины старых воротничков с собой из города привезены. Для подобных случаев. Как только воротничок у него забахромится — сейчас же откладывает: «Э, говорит, это мне для свиданья еще пригодится». А галстуки у него специально так сделаны, что не рвутся, а просто сзади расстегиваются.

— О, Боже, Боже!.. Какие мы, женщины, дуры.

— Ну, почему же уж и дуры?! Просто вы так благородны, что не замечаете этих ухищрений. Палку ломал?

— Ломал.

Маргаритов задумчиво покачал головой.

— Новый прием. Перед отъездом он у разносчика купил десяток палок за пять рублей. «На что тебе, — спрашиваю я, — эта дрянь?» Смеется. «В лом, говорит, покупаю для некоторых случаев».

— Но объясните мне, зачем же он так поступает?

— Зачем? Потому что он на любовь смотрит как фабрикант на свое производство. Если бы у него был один роман, а то

ведь он завязывает сразу десять. А для такого обширного производства требуется уже штамп. Раньше какой-нибудь Бенвенуто Челлини трудился над одним бокалом или ларчиком целый год, и это было подлинное художественное произведение; а теперь на берлинских фабриках делают эти вещи по тысяче в день. Ясно, что все они делаются одним и тем же способом, штампуются на один фасон. Так и ваш Пампухов. Зная вообще его прием, его фабричную марку, я всегда могу по ней предсказать весь процесс его оптовой работы.

— Какая гадость! Какая трясина! О, если он мне только встретится... У меня голова болит. Не проводите ли вы меня домой?

— С удовольствием. Но знаете что? Не лучше ли нам пойти посидеть немного у моря? Море так успокаивает. Там стоишь лицом к лицу с неведомым. С тем, кто шелестит изумрудом соленых волн, темной хвоей мрачных сосен...

— Как вы хорошо говорите!.. Пойдемте!

* * *

— Неведомый всюду. Сейчас он глядит из ваших темных глаз... Какая у вас теплая, ласковая рука! Положите ее мне на голову. А голову положите к себе на колени... Вот так. Чувствуешь себя маленьким, маленьким мальчиком. Убаюкайте меня. О, как хорошо!.. Я вижу звезды... Твоя и моя... Космос...

— Дорогой мой мальчик...

— Ну, еще! Еще поцелуй меня. Две пылинки космоса... среди миллиона... билли... биллиарда пылинок...

ЗАГАДКИ СЕРДЦА

I

Мой сосед по комнате Бакалягин нанес мне первый свой визит по очень странному поводу.

Он пришел и сказал:

— Все мы должны поддерживать друг друга и выручать друг друга. Без этого мир бы давно развалился. Не так ли?

— Ну да, — поощрительно подтвердил я. — Так что же?

— Вы слышали вчера ночью через стену, когда я вернулся?

— Вчера? Нет, не слышал.

— Ага! Спали, значит.

— Нет, не спал.

— Почему же вы не слышали? Стена ведь тоненькая.

— Почему? Потому что вчера вы совсем не возвращались.

— Ну да, — осклабился он с видом завзятого кутилы. — Предположим, что это было сегодня на рассвете. Однако вы не захотите меня подвести, а другого человека — заставить страдать?

— Принципиально, конечно, я этого не хотел бы.

— Так вот, — моргая красными веками, попросил застенчиво Бакалягин, — я бы вас очень просил, чтобы вы как-нибудь не проговорились об этом Агнессе Чупруненко.

— Боже мой! Да я даже не знаю, что это за Агнесса Чупруненко.

— Как не знаете? Неужели? Да она ваша соседка с правой стороны. Тут же и живет. Агния Васильевна Чупруненко.

— Да? Не подозревал, не подозревал. Впрочем, будьте покойны, если даже познакомлюсь, не выдам вас.

— Пожалуйста!

Он сел на кончик стула, хилый, болезненный, вертя маленькой головой на длинной шее, как встревоженная змея.

Посидев молча, он, очевидно, вспомнил, что неприлично занимать ближнего своими делами, не выказав в то же время интереса к его делам.

Поэтому осмотрел меня и заметил:

— А вы немножко ниже меня ростом.

— Без сомнения.

— Женщины любят высоких.

— Да...

— Чего-с?

— Я говорю: это верно. Правильно.

— Вот, вот. И спрашивается: что она нашла во мне, не понимаю. Ни красотой, ни умом я не отличаюсь, особых талантов не имею, а вот подите ж. Я уж, признаться, и сам не рад.

— Агнесса Чупруненко?

— То-то и оно. Любовь хорошая вещь, но она связывает по рукам и ногам.

Он задумчиво улыбнулся бледным, широким ртом и сказал:

— А еще говорят — женщина венец природы.

Его длинное истомленное лицо и страдальческие глаза дали мне повод закончить эту сентенцию:

— Женщина — терновый венец природы.

— И верно! Чудно, чудно сказано.

Потом, сделав еще несколько характерных замечаний о женщинах, он ушел.

II

С Агнессой Чупруненко я познакомился в коридоре около телефонного аппарата, который был ею захвачен минут на сорок.

В ожидании своей очереди я нервно прохаживался по коридору, как вдруг около меня послышался стон.

Это стонала Агнесса.

— Вы... тут?! Значит, вы слышали, что я говорила?..

— С чего вы это взяли?

— Милый, хороший! У вас такое симпатичное лицо! Я вас умоляю — ни слова Бакалягину! Я знаю — вы знакомы, он мне так много говорил о вас... Вы должны быть джентльменом.

Агнесса была рыжеватая девица небольшого роста и безотрадной наружности. Ее мольба, высказанная очень пронзительным голосом, ошеломила меня.

Я не спеша представился, пожал ей руку и спросил:

— С чего вы взяли, что я буду доносить Бакалягину о ваших разговорах по телефону?

— Ах, но я уже всего боюсь. Этот человек способен придать яростный оттенок самым простым вещам. Сейчас же начнет рвать и метать.

— Кого это?.. — спросил я, думая о другом.

— Что попадется. Мужчина вообще — наказание, а мужчина, влюбленный и ревнивый, — наказание тройное. Зайдите ко мне — чаю стакан выпить. Мне нужно с вами серьезно поговорить.

Агнесса втащила меня в свою комнату, толкнула на какой-то пуф и, схватившись в отчаянии за голову, заявила:

— Так дальше жить нельзя.

— Успокойтесь. Что-нибудь случилось?

— Этак с ума сойти можно!! Эти горящие глаза, сцены из-за всякого прикосновения ко мне мужчины — кто может перенести подобную муку?

— Он вас так любит?

— Любит? Это слово как-то даже странно говорить... *Он сходит с ума.* Ради Бога, скройте как-нибудь, что вы были у меня, он поднимет из-за этого Бог знает что...

— Ну, я думаю, это все для вас довольно-таки стеснительно. Отчего бы вам не переехать на другую квартиру?

Она улыбнулась гнетущей душу улыбкой.

— Зачем?.. Чтобы он завтра же поселился напротив, еще более ожесточенный, еще более подозревающий? Уже ухо́дите? Ну, до свиданья. Так ради же Бога — ни слова о визите!

III

Вечером ко мне зашел Бакалягин.

Усы его были опущены вниз, в уголках губ притаилась скорбь, и опять он, длинный, с крошечной головкой на беспокойной шее, напомнил мне беспокойно озирающуюся змею.

— Ушла? — прошептал он, показывая пальцем на правую стену.

— Ушла. А что?

Он обрушился на диван, как скошенный бурей телеграфный столб.

— Я так больше жить не могу! Поймите, она меня в могилу сводит!

— Кто?

— Агнесса. Сегодня закатила истерику за то, что я вчера был на семейном обеде у одной дамы. Подумаешь, какое преступление. И я вот теперь сижу и думаю: что я за такой за человек, что она так втюрилась?! Красотой особенной я не отличаюсь, талан...

— А вы бы уехали отсюда, что ли.

— Уехать?!! Вы ребенок. В Одессе, в Гельсингфорсе, на дне моря и под облаками я буду отыскан... И тогда еще худшие времена настанут.

— Да позвольте... Значит, вы ее не любите?

— Да что вы, батенька, — вскричал Бакалягин, вздернув плечами так энергично, что они чуть не налезли ему

на уши. — Любить можно нормальную женщину, а не эту сумасбродную бабу, способную за один взгляд на постороннюю женщину перегрызть глотку.

— А вы ее тоже ведь ревнуете?

— Я? Вы смешной человек.

— Ну, знаете, — сказал я раздраженно. — В таком случае, я признаюсь вам: она сегодня затащила меня к себе и жаловалась на вас, что вы ее изводите ревностью.

— Ха! ха! ха! ха! — отрывисто захохотал этот хилый любовник. — Я... ее... ревную... ну, знаете, я думал, что вы считаете меня умнее!

— Она умоляла меня не говорить вам, что я был у нее. «Он, — говорит она, — может вообразить Бог знает что!»

— Я могу вообразить только одно, — покачал головой Бакалягин, — что она дура.

— Значит, вы ее совсем не любите?

— Подите вы! Сами ее любите.

— Но почему же вам не расстаться?

— Расстаться? А ходить с выжженными глазами и изуродованной физиономией — это вам приятно? Это вам тоже расстаться? Нет уж, на кого Господь положил проклятие, тот должен всюду влачить его.

— Не поговорить ли мне с ней, как третьему лицу? А?

— Не советую. Истерики не оберешься. Сегодня, когда мы чай у нее пили, она так на меня зыкнула за какое-то замечание о ее подруге, что я стакан на пол уронил. Э, да уж что там говорить... несчастный я. Прощайте!

IV

Жизнь в меблированных комнатах развивает либеральные поступки.

Поэтому я не удивился, когда на следующее утро ко мне без доклада вошла Агнесса Чупруненко.

Поздоровавшись, она спросила:

— Ушла уже?!

— Кто?

— Эта верста коломенская. Вот уж сотворил Господь и сам удивляется.

Я пожал плечами. Она сидела, понурившись, наполненная до краев безысходной скорбью.

Потом прошептала:

— Больной человек. Вчера посуду стал бить. Стакан с чаем разбил. Нашел у меня карточку моего отца — устроил сцену... Это, говорит, ваш любовник, наверное? Господи! Грешный я человек — иногда думаю — хоть бы его трамваем переехало или в тюрьму бы посадили!

— А он говорит, что вы его любите.

— Я?! Люблю?! Кого?

— Бакалягина.

— Нацепите его себе на нос, вашего Бакалягина.

— Я не привык делать бесцельных поступков, — ответил я.

— На месяц бы! На одну недельку! На один день бы хоть оставил он меня в покое. Нет! Как утро — сейчас же в дверь своей кривой лапой стучит: «Агнесса, вы дома?» Если бы вы знали, как мне иногда хочется ему сказать: «Убирайся к черту, жердь проклятая! У меня другой мужчина!»

— А вы бы сказали когда-нибудь. Попробуйте.

Она пожала плечами.

— В свидетели попасть хотите?

— А что?

— Убьет. Выломает дверь и убьет меня.

Я сжал губы и жестко сказал:

— А знаете, он говорил мне, что не любит вас.

Она усмехнулась:

— Еще бы! Он это может сказать. К сожалению, это только разговор для посторонних.

— Он говорил, что терпеть вас не может. Она, говорит, мне на шею повисла, и никак я не могу от нее отделаться.

— Ну конечно! Ему стыдно признаться, что он влюблен, как дурак, что из-за пустяка на стену лезет, — вот он и старается всех уверить. Ничтожная личность.

V

Это была серьезная, тяжелая, застарелая болезнь.

Я знаю, некоторые серьезные болезни требуют серьезной, иногда мучительной, операции.

Операцию можно было бы сделать такую.

Пригласить к себе длинного квартиранта Бакалягина и безотрадную квартирантку Агнессу Чупруненко... Усадить их, сесть самому и, не торопясь, не волнуясь, сказать:

— Господа! Одним ударом ножа я могу облегчить ваши страдания. Позвольте мне передать со стенографической точностью те слова и выражения, которые каждый употреблял по отношению к другому. Агнесса утверждает, что Бакалягин надоел ей до омерзения, а Бакалягин утверждает, что Агнесса — пошлая дура, присосавшаяся к нему, как пиявка. На мой совет — уехать — Агнесса ответила так: «Я бы уехала, но он сейчас же потащится за мной, разыщет меня и еще больше начнет отравлять мне жизнь». На мой совет — уехать — Бакалягин, в свою очередь, заявил, что он бы это сделал с наслаждением, но «эта глупая баба, как собачонка, побежит за ним и отыщет его в Гельсингфорсе, в Одессе и даже на дне морском». Господа! Теперь вы все знаете друг о друге. Договоритесь при мне, объяснитесь, — и пусть каждый едет, куда хочет. Зачем же вам, жалкие вы люди, тянуть постыдную, глупую лямку, бродить в темноте и отравлять жизнь себе, а главное, мне, мне, которому вы смертельно надоели. Ну... эйн, цвей, дрей — и готово.

Вот та единственная операция, которая напрашивалась сама собой.

* * *

И, однако, я не решился сделать эту операцию.

Почему?

Я думаю так: лучше жить несколько лет с самой отвратительной, мучительной болезнью, чем с облегчением сразу умереть под ножом хирурга.

АЛЛО!

...Личный разговор лицом к лицу — это письмо, которое можно растягивать на десятки страниц; разговор по телефону — телеграмма, которую посылают в случае крайней необходимости, экономя каждое слово.

Цитата из этого рассказа

Мышьяк при некоторых болезнях очень полезное средство; но если человека заставить проглотить столовую ложку мышьяку — оба бесцельно погибнут. И человек, и мышьяк.

Трость очень полезная вещь, когда на нее опираются; но в ту минуту, когда тростью начинают молотить человека по спине, трость сразу теряет свои полезные свойства.

Что может быть прекраснее и умилительнее ребенка; природа, кажется, пустила в ход все свое напряжение, чтобы создать чудесного, цветущего голубоглазого ребенка. Кто из нас не любовался ребенком, не восхищался ребенком; но если кто-нибудь начнет швыряться из окна четвертого этажа ребятами в прохожих — прохожие отнесутся к этому с чувством омерзения и гадливости.

Я не могу себе представить ничего более полезного, чем иголка. А попробуйте ее проглотить?

Этим я хочу только сказать, что хотя шилом не бреются и ручкой зонтика не извлекают попавшие в глаз соринки, но разговаривать по телефону безо всякой нужды больше получаса — на это находятся охотники.

И они не видят в этом ничего дурного.

* * *

Иногда ко мне по телефону звонит барышня.

Я умышленно не называю ее имени, потому что у всякого человека есть своя барышня, которая ему звонит.

Характер такой барышни трудно описать. Она не обуреваема сильными страстями, не заражена большими пороками; она не глупа, кое-что читала. Если несколько сот таких барышень, подмешав к ним кавалеров, пустить в театр, они образуют собою довольно сносную театральную толпу.

На улице они же образуют уличную толпу; в случае какой-нибудь эпидемии участвуют в смертности законным процентом, ропща на судьбу в каждом отдельном случае, но составляя в то же время в общем итоге «общественное мнение по поводу постигшего нашу дорогую родину бедствия».

Никто из них никогда не напишет «Евгения Онегина», не построит Исаакиевского собора, но удалять их за это из жизни нельзя — жизнь тогда бы совсем оскудела. В книге истории они вместе со своими кавалерами занимают очень видное место; они — та белая бумага, на которой так хорошо выделяются черные буквы исторических строк.

Если бы не они со своими кавалерами — театры бы пустовали, издатели модных книг разорялись бы, а телефонистки на центральной станции ожирели бы от бездействия и тишины.

Барышни не дают спать телефонисткам. В количестве нескольких десятков тысяч они ежечасно настоятельно требуют соединить их с номером таким-то.

К сожалению, никто не может втолковать барышням, что личный разговор лицом к лицу — это письмо, которое можно растягивать на десятки страниц; а разговор по телефону — телеграмма, которую посылают в случае крайней необходимости, экономя каждое слово.

Пусть кто-нибудь из читателей попробует втолковать это барышне, — она в тот же день позвонит ко мне по телефону и спросит: правда ли, что я написал это? Как я вообще поживаю? И правда ли, что на прошлой неделе меня видели с одной блондинкой?

* * *

— Вас просят к телефону!

— Кто просит?

— Они не говорят.

— Я, кажется, тысячу раз говорил, чтобы обязательно узнавали, кто звонит?

— Я и спрашивал. Они не говорят. Смеются. Ты, говорят, ничего не понимаешь.

— Ах ты, Господи! Алло! Кто у телефона?!

Говорит барышня. Отвечает:

— О, Боже, какой сердитый голос. Мы сегодня не в духе?

— Да нет, ничего. Это просто телефон хрипит, — говорю я с наружной вежливостью. — Что скажете хорошенького?

— Что? Кто хорошенькая? С каких это пор вы стали говорить комплименты?

— Это не комплимент.

— Да, да — знаем мы. Всякий мужчина, преподнося комплимент, говорит, что это не комплимент.

Чрезвычайно, чрезвычайно жаль, что она не видит моего лица.

Я молчу, а она спрашивает:

— Что вы говорите?

Что ей сказать? Бросаю единственную кость со своего скудного неприхотливого стола:

— Вы из дому говорите?

— Какой вы смешной! А то откуда же?

Что бы такое ей еще сказать?

— А я думал, от Киндякиных.

— От Киндякиных? Гм! Вы только, кажется, и думаете, что о Киндякиных. Вам, вероятно, нравится m-me Киндякина? Я что-то о вас слышала!.. Ага...

Это она называет «интриговать».

Потом будет говорить какому-нибудь из своих кавалеров:

— Я его вчера ужасно заинтриговала.

Понурившись, я стою с телефонной трубкой у уха, гляжу на ворону, примостившуюся у края водосточной трубы, и впервые жалею, оскорбляя тем память своего покойного отца: «Зачем я не создан вороной?»

Над ухом голос:

— Что вы там — заснули?

— Нет, не заснул.

Какой ужас, когда что-нибудь нужно сказать, а сказать нечего. И чем больше убеждаешься в этом, тем более тупеешь...

— Алло! Ну что ж вы молчите? С вами ужасно трудно разговаривать по телефону. Расскажите, что вы поделываете?

Помедлив немного, я разражаюсь таким каламбуром, услышав который всякий другой человек повесил бы трубку и убежал без оглядки:

— Что я подделываю? Преимущественно кредитные бумажки.

— Алло? Я вас не слышу!

— Кредитные бумажки!!!!!

— Что — кредитные бумажки?

— Я. Подделываю.

— К чему вы это говорите?

— А вы спрашиваете, что я поделываю? Я не разобрал — два «д» у вас или одно. Вот и ответил.

Этот каламбур приводит ее в восхищение.

— Ах, вечно живой, вечно остроумный! И откуда у вас только это берется? Серьезно, что у вас новенького?

Зубами прикусываю нижнюю губу; лишний раз убеждаюсь, что кровь у меня солоноватая, с металлическим вкусом.

— Как вампиры могут пить такую гадость?

— Что-о?

— Я говорю, что не понимаю: какой вкус находят вампиры в человеческой крови.

Она нисколько не удивляется обороту разговора:

— А вы верите в вампиров?

Надо бы, конечно, сказать, что не верю, но так как мне все это совершенно безразлично, я вяло отвечаю:

— Верю.

— Ну как вам не стыдно! Вы культурный человек, а верите в вампиров. Ну скажите: какие основания для этого вы имеете? Алло!

— Что?

— Я спрашиваю: какие у вас основания?

— На кого? — бессмысленно спрашиваю я, читая плакат сбоку телефона: «Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других».

— «На кого» не говорят. Говорят: для чего.

— Что «для чего»?

— Основания.

— Жизнь не ждет, — возражаю я, как мне кажется, довольно основательно.

— Нет, вы мне скажите, почему вы верите в вампиров? Что за косность?

— Интуиция.

Вероятно, она не знает этого слова, потому что говорит «а-а-а» и, как вспугнутая птица, перепархивает на другой сук:

— Что у вас вообще слышно?

— Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других.

— У какого Нарановича?

— Портной. Вероятно, дамский.

— Не говорите пошлостей. Вы забываете, что разговариваете с барышней. Вообще вы за последнее время ужасно испортились.

И вот мы стоим на расстоянии двух или трех верст друг от друга, приложив к уху по куску черного выдолбленного внутри каучука. От меня к ней тянется тонкая-претонкая проволока — единственное связующее нас звено.

Почему проволока так редко рвется? Хорошо, если бы какая-нибудь большая птица уселась на самое слабое место

проволоки и... А ведь в самом деле — может же это случиться? Если положить потихоньку трубку на подоконник и уйти? А потом свалить все на «этот проклятый телефон». («Вечная история с этими проводами! Поговорить даже не дадут как следует!»)

Но нужно прервать беседу на моих словах. Пусть барышня думает, что я вне себя от досады, не успев рассказать начатое.

Я кричу:

— Алло! Вы слушаете? Я вам сейчас что-то расскажу — только между нами. Ладно? Даете слово?

— О, конечно, даю! Я умираю от любопытства!!!

— Ну, смотрите. Вчера только что подхожу я к квартире Бакалеевых, вдруг выходит оттуда Шмагин — бледный как смерть! Я...

Я кладу трубку на подоконник (если повесить ее, барышня может через минуту опять позвонить), — кладу трубку, облегченно вздыхаю и удаляюсь на цыпочках (громкие шаги слышны в трубку).

Воображаю, как она там беснуется у своего конца проволоки:

— Алло! Я вас слушаю. Почему вы молчите?! Ах ты, Господи! Барышня! Это центральная? Почему вы нас разъединили?! Дайте номер 54–27.

А телефонистка, наверное, отвечает деревянным тоном:

— Или трубка снята, или повреждение на линии.

Милая телефонистка.

* * *

Однажды барышня позвонила ко мне рано утром; было холодно, но я согрелся под одеялом и думал, что никакие силы не сбросят меня с кровати.

Однако когда зазвенел телефонный звонок, я, пролежав минуты три под оглушительный звон, наконец, дрожа от холода, вскочил и побежал к телефону, перепрыгивая с одной ноги на другую — пол холоден как лед.

— Алло! Кто?

— Здравствуйте. Вы уже не спите? Однако рано вы поднимаетесь; я тоже уже проснулась. Ну, что у вас слышно?

Перепрыгивая с ноги на ногу, я давал вялые реплики и после десятиминутного разговора услышал успокаивающие душу слова:

— А я очень хорошо устроилась: лежу на оттоманке, около горящего камина — тепленько-претепленько. Педикюрша делает мне педикюр, а я пью кофе, рассматриваю журналы и говорю по телефону; телефон-то у меня тут же на столе. Я кстати и позвонила вам... Алло! Почему не отвечаете? Центральная!!! Что это такое? Опять порча? Господи!

* * *

Вот я написал рассказ.

Десятки тысяч барышень, наверное, прочтут его. И если хотя бы десять барышень призадумаются над написанным и поймут, что я хотел сказать, — на свете станет жить немного легче.

* * *

Прошу другие газеты перепечатать.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ПОВЕЗЛО
Повесть

I

В этом не было ничего чудесного.

Это все равно, как если бы человек, переходя каждый день, в течение десяти лет, через шумную улицу, твердил бы ежедневно:

— Вот сегодня меня непременно раздавит автомобиль! Сегодня уж наверное.

И если бы автомобиль когда-нибудь действительно раздавил его — в этом не было бы ничего удивительного. Не было бы чудесного пророчества, предчувствия.

То же самое можно было сказать и об Акиме Васильевиче Цыркунове — конторщике большого дровяного склада братьев Перетягиных (доски, дрова, уголь, каменный и деревянный; оптовый отпуск).

Если когда-нибудь Аким Цыркунов, переписывая корешки накладных, поднимал от книги сморщившийся нос, открывал рот и, глядя в потолок искаженным от сладкого ожидания взглядом, наконец аппетитно и оглушительно чихал — его товарищ и сподвижник по службе Ванечка Сырых неизменно подсказывал ему:

— Двести тысяч на мелкие расходы!

— Спасибо, — неизменно отвечал Аким Цыркунов и сейчас же неизменно впадал в мечтательное настроение.

— О, действительно, — говорил он, подперев кулаком щеку. — Если бы мне двести тысяч... Уж я бы знал, как распорядиться ими.

— А что бы вы сделали?

— Да уж будьте покойны — знал бы, что сделать. Я бы показал настоящую жизнь-то.

— Ну, если бы и мне такую цифру, — говорил и худосочный Сырых, — я бы тоже...

— Ну а вы бы что сделали?

— Я купил бы пароход и отправился бы по разным странам. Пил бы ром, сражался с индейцами и подал бы на Высочайшее имя прошение о перемене фамилии. Ходатайствовал бы о назначении мне фамилии Джек Смит.

Цыркунов пожимал плечами.

— И это все?

— Конечно, не все. Купил бы себе еще зверинец — я очень зверей люблю диких. И стал бы упражняться гирями. По маскарадам ходил бы...

— Зачем?

— Чтобы всех интриговать. Ну а что бы вы сделали все-таки, если бы вдруг на ваш билет пал выигрыш двести тысяч?

— Да уж знал бы что — будьте покойны! Слава Богу, тоже понимаем, как жить по-настоящему... хе-хе! Без денег не знаешь, как быть, а с деньгами... ап... ап... чхи!!!

— Вот! Значит — ваша правда.

— Ап... чхи!

— Двести тысяч на мелкие расходы!

— Спасибо вам!

Эти разговоры повторялись почти каждый день — в зависимости от силы хронического насморка Акима Цыркунова.

— Апчхи!!

— Двести тысяч на мелкие расходы!

В один из первых весенних дней Аким Цыркунов выиграл на свой билет *двести тысяч*.

Выиграл так, как это обыкновенно делается — не прилагая к этому никаких усилий и даже ни разу не чихнув в этот знаменательный день, что, конечно, вызвало бы тра-

диционную беседу о «двухстах тысячах на мелкие расходы» и придало бы факту выигрыша особый привкус чудесного.

II

Может ли человек за свою долгую жизнь забыть тот день, когда он, не имея накануне ничего, сегодня вышел из банкирской конторы, ощущая в кармане около ста девяноста тысяч новенькими плотными пятисотрублевками?

Нет! Трудно забыть такой день.

По выходе из банкирской конторы план ближайших мероприятий был уже составлен богачом Цыркуновым.

Именно, он зашел в гастрономический магазин и, робея с непривычки, попросил:

— Фунт зернистой икры, самой лучшей. И потом ананас.

— Слушаю-с. Из напитков ничего не прикажете?

— Да, конечно... Гм!.. Дайте шампанского. Шампанское есть у вас?

— Помилуйте! Какой марки прикажете?

— Что-о?

— Какой сорт позволите?

— А какие сорта вы имеете? — осторожно осведомился Цыркунов.

— Кордон-с руж, кордон-с вер, вайт-стар, монополь-сек, мум-экстра-дри-с.

— Ага... У вас монополь-сек хороший?

— Будьте покойны — французская фирма.

— Я думаю! Стану я пить русскую дрянь. Вообще, ты, братец, тово... Скажи мальчику вашему, чтобы он вызвал мне автомобиль.

Выйдя из магазина, Цыркунов заметил нищего, который, прислонившись к выступу стены, смотрел в другую сторону, не обращая никакого внимания на Цыркунова.

У бывшего конторщика был уже составлен обширный, хорошо разработанный план «оглушения», и он начал немедленно его осуществление с нищего.

— Эй, нищий, — сказал он, дергая его за рукав. — Ты милостыню просишь, да?

— Подайте, барин, — очнулся задумавшийся оборванец. — Хучь пятачок... ночевать негде... хлеба... три дня... больница... хучь две копейки...

— Ладно, ладно, — сановито остановил его Цыркунов. — Вот тебе десять рублей. Помни — хе-хе! — Акима Цыркунова!

И он умчался на автомобиле.

Приехав домой на свою холостую квартиру, он сразу же окунулся в роскошную, привольную жизнь: выложил свежую икру на большую тарелку, достал столовую ложку, хлеб и, вытерев чайный стакан, стал открывать шампанское.

Это дело было потруднее: штопор не ввинчивался в пробку, потому что на верхушке ее торчала какая-то металлическая нашлепка; кроме того, горлышко было опутано целой сетью проволоки, совершенно ненужной, по мнению хозяина. Пришлось горлышко отбить кочергой и пить вино осторожно, чтобы не подавиться осколком стекла.

Все было чрезвычайно вкусно: и икра, и вино, и ананас. Завтрак — хоть куда.

«Надо, — решил настроившийся гастрономически Цыркунов, — попробовать еще омар и выпить рому. А на сладкое куплю уж торт. Эх, хорошо жить на свете!»

После завтрака Цыркунов решил ехать в магазин. Он осмотрел в зеркало свой потертый засаленный галстук и прошептал, подмигивая самому себе:

— Я знаю, что мне надо делать.

III

В галстучном магазине перед ним выставили целую гору коробок.

— Да вы, собственно, какие хотели?

— Самые лучшие.

— Вот извольте — эти самые настоящие английские. Один адвокат у нас по полдюжины сразу их берет.

Цыркунов ухмыльнулся в усы с хитрым видом.

— Полдюжины? Ну а мне, знаете, заверните-ка... полсотенки!

Ожидаемый эффект разразился. Хозяин магазина был оглушен.

Он истерически заметался, запрыгал, как обезьяна, по полкам и выставил перед Цыркуновым другую гору.

— Белых не прикажете ли, фрачных? Черных атласных для смокинга...

— Да, да... мне, конечно, нужно, — благосклонно кивнул головой Цыркунов. — Все нужно. Заверните вот этих и этих... и этих.

Выйдя из магазина, Цыркунов сел в тот же автомобиль (с шофером у него уже установились хорошие отношения) и стал размышлять так:

— Смокинг... оказывается, что галстуки не под каждый костюм оденешь. Смокинг... гм! Шофер! Везите меня к портному, какой получше.

У портного Цыркунову открылся новый мир.

— Вот-с это покосматей будет — для жакетов... Бирмингамские сорта. Это трико-с — для смокингов.

— Черное?

— Да.

— А... других цветов нет?

— Помилуйте... смокинги только черные шьются.

— Ну, что вы мне говорите! Я думаю, коричневый будет гораздо наряднее.

— Извольте, — сказал портной. — Сделаем коричневый. На отвороты поставим коричневый атлас. Брюки внизу сделаем не особо широкие, потому слегка на туфлю падает, не на ботинок.

— Вы полагаете, на туфлю? — задумчиво переспросил Цыркунов. — Значит, придется к смокингу туфли покупать.

— Да уж... Мода — ничего не поделаешь.

И оба склонили голову перед суровыми требованиями капризной богини — моды.

И так оно и пошло.

Галстучник силой вещей толкнул его к портному, портной перекинул его в объятия обувного торговца, а тот ловким ударом перенес сразу бывшего конторщика в цепкие лапы француза, который снискивал себе солидное пропитание продажей мужского белья «все лучший сорт, сюпериор»...

Тороватому Цыркунову удалось «оглушить» даже видавшего виды француза; количества носков, купленных им, хватило бы даже самой капризной сороконожке на целый год.

Но главное «оглушение» было впереди.

IV

Приехав в свою дровяную контору, Цыркунов скромно вошел в первую комнату, поздоровался и сказал:

— Извините, что так опоздал. У меня дома случай там один вышел.

Бухгалтер обернулся, кивнул ему головой и стал продолжать разговор по телефону.

— Алло! Что? Господин Миркин! Как не можете прислать? Да ведь мы на эти восемь тысяч нынче рассчитывали! У нас срочные платежи!! Вы не имеете права нас подводить... Что? Конечно! Да позвольте!..

Цыркунов приблизился к бухгалтеру и деликатно вынул у него из рук телефонную трубку.

— Оставьте, Николай Иваныч... Стоит ли волноваться вам, портить кровь из-за таких пустяков... Если сейчас так нужны деньги — вот! Нате. Отдадите, когда Миркин пришлет.

«Оглушение» было страшное, чудовищное, ни с чем не сравнимое. Только тогда нашел Цыркунов, что бывают минуты, когда сердце может разорваться от восторга.

Бухгалтер остолбенел, конторщик Сырых опрокинул чернильницу, а сторож Мокренко бросился чистить Цыркунову метелочкой пиджак.

Расслабленный Цыркунов опустился на стул и заговорил томно и ласково:

— О, господа, какие пустяки. Тут нет ничего такого... Господин Сырых! Я знаю, вы нуждаетесь в некоторых суммах для того, чтобы ваша жизнь могла быть урегулирована с достаточной полнотой. Будьте добры принять от меня на память эту тысячу рублей. Мокренко! А ты, братец, тоже тово... Как говорится, а? Вот тебе пятьдесят рублей — будь себе здоров.

Оглушение было невероятное, потрясающее, не убившее никого только потому, что от удивления не умирают.

V

— А что, братец, — обратился, едучи обратно, Цыркунов к своему приятелю шоферу. — Мог бы ты пойти ко мне служить?

— А у вас есть мотор? — спросил шофер.

— Нет, но я думаю, что можно купить. Ты купишь?

— Отчего же-с! Купим лимузин обыкновенный, или из мерседесов можно что-нибудь подобрать, или, может, нравится электрический без запаху, только что он подороже.

— Ну и прекрасно! Заезжай ко мне завтра утром и поедем.

По пути Цыркунов заехал в магазин и купил припасов на обед: целого омара, балык, страсбургский паштет, рому и шампанского. Взял, кстати, и два десятка устриц, но, приехав домой, не ел их.

А так как поручить их прислуге выбросить было как-то стыдно и странно, Цыркунов завернул устрицы в старую газету и поздно вечером, выйдя из дому, забросил на двор в дрова.

Утром купили с шофером автомобиль. Шофер так понравился Цыркунову своим чутьем, вкусом и здравым смыслом, что в компании с ним была отыскана большая, в девять комнат, квартира, куплена меблировка, ковры, картины и скульптура.

Целый день, проведенный вместе, очень сблизил скромного богача Цыркунова с умным, веселым шофером. Поэтому не было ничего удивительного в том, что вечером все покупки были спрыснуты в отдельном кабинете второразрядного ресторана, метрдотеля которого Цыркунов не преминул «ошеломить» заказом громадной стерляди и полдюжины шампанского. Из дичи же было заказано: руанская утка — Цыркунову (12 руб.) и седло барашка — шоферу (6 руб.). Деликатный шофер этим очень тонко подчеркнул иерархическую разницу между собой и своим патроном.

VI

Жизнь протекала так: просыпался Цыркунов в своей монументальной спальне довольно поздно — часов в двенадцать; проснувшись, читал около часу какой-нибудь роман из французской или английской жизни; потом вставал, надевал смокинг, атласный галстук, лаковые туфли и долго бродил по комнатам, рассматривая картины и статуи, выбранные им в компании со знатоком великосветского быта шофером; полюбовавшись на картины, на букеты свежих цветов, в изобилии расставленных по всем комнатам, Цыркунов усаживался в кабинете за письменный стол и, развернув несколько листов чистой бумаги, с карандашом в руках,

звонил камердинера, обрусевшего испанца Игнацио, который получал жалованье ровно в три раза больше, чем Цыркунов в свое время в дровяной конторе Перетягиных.

— Игнациус! — солидно говорил Цыркунов, делая на листах бумаги отметки с самым деловым видом. — Позовите шофера — мне надо с ним переговорить... Да велите подать мне закусить чего-нибудь и бутылку шампанского. Пожалуйста, сделайте все это!..

Приносили разные закуски, вино, являлся шофер.

— Здравствуй, Аким, — говорил он, ласково хлопая по плечу хозяина. Как вообще ползаешь?

— Ничего, спасибо. Садись закусим.

— Опять это пойло? Ты бы водочки лучше, а?

— Ну, чего там водочки... Пей шампанское. Самое, брат, лучшее вино.

Чокались, пили. Закусывали икрой, балыком и холодной руанской уткой, которая чрезвычайно понравилась Цыркунову со времени ужина в ресторане.

После завтрака оба приятеля садились на мотор и уезжали, катаясь по городу и забавляясь тем, что изредка «оглушали» прохожих или лавочников.

Цыркунов очень любил разные сюрпризы: то он покупал в три слова бакалейную лавку со всем товаром и дарил ее нищему, который назойливо его преследовал; то нанимал несколько десятков порожних извозчиков и велел им ехать за собой цугом, что приводило городового в крайнее изумление; однажды оба приятеля сговорились купить все билеты в оперетке и вечером сосредоточенно прослушали всю пьесу, в пустом зале, в присутствии только заинтригованного околоточного, которому Цыркунов подарил на память об этой затее золотой портсигар.

В этот же курьезный вечер Цыркунов познакомился с опереточной певицей Незабудковой.

Незабудкова сразу оценила и коричневый смокинг, и шофера, и шикарные замашки бывшего конторщика. Сначала дело ограничилось цветами, потом ужином и цветами; потом ужином, цветами и бриллиантовой штучкой, которую Цыркунов называл очень нерешительно, боясь ошибиться: «кольё», потом ужины, цветы и «кольё» свили прочное гнездышко в очень уютной квартирке, которую Незабудкова обставила даже без советов опытного шофера, а потом...

VII

— Сколько вы даете процентов, если положить на год восемь тысяч? — спросил Цыркунов (это были те самые восемь тысяч, которые были даны, «чтобы бухгалтер не портил себе кровь»).

Заведующий вкладами в банке отвечал:

— Шесть. Будете получать 480 рублей в год.

— Это значит... 40 рублей в месяц? «Ого, — подумал Цыркунов, — на 15 рублей больше, чем получал у Перетягиных. Значит, проживу. Хватит!»

Цыркунов разыскал свою старую квартиру, поселился в ней и зажил тихой спокойной жизнью, без коричневых смокингов, руанской утки, шампанского и «оглушений» — забирая очень аккуратно свои сорок рублей в месяц...

Шофер, однако, не покинул своего друга в его скромной жизни. Они частенько сидят за бутылкой пива в комнате Цыркунова, и, если хозяин, изредка подняв голову к потолку, откроет рот и звучно чихнет: «Апчхи!» — шофер не преминет благожелательно посулить:

— Двести тысяч на мелкие расходы!

— Спасибо, — скажет хозяин, но уже не прибавит, как бывало: «Если бы мне действительно двести тысяч, уж я знал бы, что мне делать!..»

А склонит свою бедную фантазией голову и подумает:

«Эх, Сырых, Сырых! А может быть, и действительно прав ты был, и действительно лучше бы купить пароход да отправиться в чужие страны, исходатайствуя себе фамилию Джек Смит, попивая в пути ром и сражаясь с индейцами...»

РАВНОВЕСИЕ

У некоторых индейских племен существует следующая любопытная примета: в тех местах, где водятся особенно ядовитые змеи, растет и кустарник, листья которого, растертые в воде, служат прекрасным средством против змеиного яда. В некоторых местах Африки рядом с одним ядовитым растением растет и другое, которое служит противоядием первому.

В организме человека живут миллионы самых вредоносных микробов, но в том же организме живут и другие, не менее вредоносные, микробы, которые ведут непримиримую войну с первыми — взаимно нейтрализуя друг друга. Если бы это было не так — человечество немедленно же протянуло бы ноги.

У математиков это сказано в другой форме:

— Минус на минус дает плюс.

I

На Вознесенском проспекте жил молодой господин по имени Воскобоев.

Наружности был он красивой, с черными влажными глазами, холеными усами и бледным, томным лицом.

Его моральные качества легко исчерпывались одним словом: негодяй. Действительно, трудно было встретить человека беззастенчивее и подлее его. Кроме убийств этот человек был способен на все. Да и убить-то он не мог только потому, что имел натуру мелкую, гаденькую и трусливую. А если бы гарантировать ему безопасность, то он бы, пожалуй, убил, попросив для этого только какой-нибудь электрический прибор, который бы убивал быстро, бесшумно, без борьбы и без лицезрения искаженных мукой глаз убиваемого субъекта.

Если сейчас заглянуть через его плечо и прочесть, что он пишет, сидя за письменным столом, — сразу станет ясно, что это за человек.

Первое письмо он написал такое:

«Господин Чигиринский! Лицо, дружески к вам расположенное, сообщает Вам, что оно видело вчера Вашу супругу Ольгу Васильевну выходящей из парадных дверей гостиницы «Ницца». После нее сейчас же вышел штабс-капитан Сукачев. Обратите ваше внимание! Пока появились маленькие рожки — это ничего, но скоро рога станут совершенно ветвистыми. Ого-го-го, милый рогоносец! Позовите меня на крестины будущего Сукаченка. Ваш доброжелатель».

Сейчас же он принялся за второе письмо:

«Ваше Превосходительство! Лицо, которому дорога честь русской армии, доводит частным образом до Вашего сведения, что офицер Вашего полка К.А. Сукачев, переодеваясь

в штатское, ведет в клубе азартную игру в карты и совершенно запутался. Я имею верные сведения, что ростовщик Триполитаки отказал ему в переучете векселя, а так как в заведывании г. Сукачева находится ротная касса, то... Обращаю Ваше внимание на то, что ревизию кассовых сумм нужно произвести неожиданно, дабы он не мог перехватить у товарищей. Согласитесь, что, сообщая об этом, я охраняю закон. Доброжелатель».

Кончив оба письма, Воскобоев потер с довольным видом руки, запечатал письма в конверты, написал адреса, наклеил марки и кликнул слугу.

Слуга Прохор Желтухин был маленький подслеповатый человечек неопределенного возраста; губы имел тонкие, поджатые и лицо нечистое, в угрях. Когда говорил, то смотрел в пол или в потолок. Серый цвет лица дисгармонировал с красным, как раскаленный уголь, носом. Казалось, что это действительно уголек, тлеющий под серой золой.

— Вот, Прохор, — внушительно сказал Воскобоев, — снеси эти письма и опусти в почтовый ящик. Да смотри не потеряй — письма важные!

— А чего их терять-то, — возразил Прохор, рассматривая потолок. — Ребенок я, что ли, или дурак?

— Ну, то-то. Ступай.

Прохор взял письма и бережно понес их в кухню. Опустился на скамью и, поджав губы, нахмурив рыжие брови, приступил к несложной операции.

Операция эта состояла в том, что деятельный слуга подержал с минуту письма над кипящим самоваром, потом отклеил почтовые марки; аккуратно спрятал свернувшиеся в трубочки марки — в спичечную коробочку, а письма с конвертами бросил в ведро, почти доверху наполненное помоями.

После этого слуга уселся за стол и с самым сонным выражением лица принялся пить чай.

Зазвенел из кабинета электрический звонок; Прохор поднял на него задумчивые глаза и налил себе еще стакан.

Звонок принимался звонить несколько раз... Допив чай, Прохор встал и неторопливо направился в кабинет.

— Звонили?

— Звонил!!! Конечно, звонил. Тысячу раз звонил. Куда тебя черти унесли?!

— Да к ящику-то почтовому нужно было пойти, али нет?

— Так это тут же, напротив! А ты пропал на целых полчаса.

— Дозвольте вам сказать, что я тоже отвечаю за свою службу. Я действительно побёг к этому ящику, да он, гляди-ка, доверху письмом набит. Так мне что ж — тоже сунуть? Всякий человек придет и вытащить может — нешто это порядок? Так я и снес их, письма-то, на другую улицу, где ящик послободнее.

— То-то и оно! Я и так уже замечал раза два, что письма не доходили.

— То-то и я говорю. Возле письмов много разного народу трется. И прохожий, и почтальон, и тоже тебе швейцар — долго ли до греха. А вы говорите — долго ходил!

II

После обеда к Воскобоеву приехала дама. Он встретил ее с кислым лицом, сказал сначала, что ждет нужного человека, потом подучил Прохора соврать, что его потребовали в клуб на важное заседание, но дама была непреклонна.

— Зачем ты меня гонишь, — сказала она, подозрительно поглядывая на него. — Может быть, у тебя любовное свидание?

— Ты с ума сошла! Я даже забыл, какие бывают другие женщины. Я люблю исключительно тебя.

— Вот в таком случае я у тебя и останусь часика на два.

Воскобоев сжал в кармане кулак, пробормотал какой-то комплимент и, оставив даму одну, пошел в кухню к Прохору.

— Проша, милый, — прошептал он. — Тут ко мне через час одна гимназистка должна прийти — такая молоденькая барышня в синем платье, — так ты скажи ей, чтоб она обязательно завтра пришла, что сегодня меня экстренно потребовали к больному.

— Эко сказали! Да что вы, доктор, что ли, что к больному вызвали.

— Ну, соври сам. Скажи — к больному родственнику — к дяде, мол.

— Скажу, к дяде, мол, Ивану Алпатычу. Старик, мол, в горячке был, а нынче, мол, в память пришел.

— Во-во.

— Жена-то, скажу, в Рязань уехамши, а дяденька, значит, одни и очень им плохо.

— Ну, уж ты там размажь что-нибудь. Только скажи, чтобы завтра приходила непременно; буду ждать. А шляпу Марьи Дмитриевны или унеси из передней, или прикрой газеткой.

— Будьте покойны.

Верный слуга взял газету и уселся, как сторожевой пес, в передней.

Через час действительно пришла девушка лет шестнадцати, в гимназическом платье, смущенная, дрожащая, с бледным лицом, на котором сразу можно было прочесть всю ее несложную повесть: что она полюбила Воскобоева «больше жизни», и что жизни этой она совсем не понимает, и что она простодушна, и что она доверчива, и что сердечко у нее восторженное, честное, способное на самоотвержение и порыв.

— Скажите... — спросила она, не зная куда девать глаза. — Барин ваш дома?

— Он-то? Нет дома. К дяде поехал. Дядя, вишь, болен. Очень наказывали вам завтра прийтить.

— Ах, Господи! — вздохнула она. — Ну, до свиданья, простите за беспокойство... я тогда завтра... И, пожалуйста, разменяйте мне пять рублей. Себе возьмите рубль, а мне остальное... Пожалуйста, кланяйтесь барину.

Прохор, держа золотой пятирублевик на ладони, призадумался.

— Гм, да... Сдачи, говорите? Сдачу-то вернуть можно. А только... У вас на извозчика-то, кроме этих, мелочь есть?

— Немножко есть, — недоуменно глядя на Прохора, ответила гимназистка. — Двадцать шесть копеек.

— Так, так. Очень вы хорошая барышня, и я вам пришлю сейчас предложение — подарите мне эти пять рублей — не пожалеете. После, по крайности, благодарить будете. А уж я вам все выложу.

— Что вы выложите? Зачем? — с некоторым испугом пролепетала гимназистка.

Прохор опустил монету в карман, подошел к подзеркальному столику и поднял разостланную на нем газету.

— Видали? Что это? Женская шляпа! А там в углу видали? Что это? Женские калоши. А ежели бы я вас в тую комнату пустил, так бы вы такие поцелуи услышали, что разлюли малина-калина моя!

— Честное слово? — прошептала свистящим голосом барышня, хватая Прохора за руку. — Вы можете поручиться, что это правда?

— Будьте покойны. Я со всем усердием. Только, дорогая моя госпожа, ежели потом к разговору или что — так вы так и скажите барину, что, дескать, случайно все это приметили — и шляпу и, значит, голос дамский. И скажете вы ему, примерно сказать, так — и в этом не ошибетесь — дескать: «Ох, ох, какой ты изменник! Говорил, что только одну любишь, обожаешь»... Говорил он это?

— Говорил, — прошептала вся красная от смущения и горя гимназистка. — Боже, какой позор!

— То-то, что говорил. Он это мало ли кому говорил! Скажете, дескать: «У тебя, как я доподлинно узнала, чуть не каждый месяц новая гимназистка бывает, и сколько ты, значит, несчастного женского полу перепортил! Поиграешь, дескать, да так-то вот и бросишь! Нехорошо, мол, это! Пошлые эти твои поступки!» А уж меня в это дело не путайте, милая госпожа. Ухóдите? Позвольте, отворю... Счастливо оставаться! Где изволите жить? На третьей Рождественской? Извозчик! На третью Рождественскую — 26 копеек!..

....

О ПАРОХОДНЫХ ГУДКАХ

I

В дни моей юности я зарабатывал себе пропитание тем, что служил младшим писцом в транспортной конторе по перевозке кладей.

Начальства надо мной было очень много: главный агент, просто агент, его помощник, бухгалтер, конторщик и старший писец. Рассматривая эту длинную иерархическую лестницу сверху вниз, я мог обнаружить ниже себя только две ступеньки: кошку и копировальный пресс... И с первой, и со вторым я как начальник обращался сурово, чуть ли не по законам военного времени. Кошку драл за уши и учил перепрыгивать через поднятую ногу, а винт копировального пресса под моей ожесточенной рукой визжал так громко, что у кошки на морде появлялось выражение зависти и одобрения.

Нельзя сказать, что и со мной обращались милосердно, — всякий старался унизить и прижать меня как можно больнее — главный агент, просто агент, помощник, конторщик и старший писец.

Однако я не оставался в долгу даже перед старшим агентом: в ответ на его попреки и укоры я, выбрав удобное время, обрушивался на него целым градом ругательств:

— Идиот, болван, агентишка несчастный, чтоб тебя черти на сковородке жарили, кретин проклятый!

Курьезнее всего, что в ответ на это агент только улыбался и кивал согласно головой. Был он глух? Нет.

Удобный случай для сведения личных счетов с агентом представлялся только раз в день — когда мы отправлялись на пристань к одесскому пароходу, чтобы выправить коносаменты, заплатить деньги и получить товар.

Понятно, все это делал я, а агент только шатался по пристани, посвистывая и болтая со знакомыми, служащими Русского общества П. и Т.

Окончив дела, я улучал удобную минуту и подходил к агенту с самым простодушным лицом.

— Ну что, — ворчал он, — справились? Наверно, напутали, как всегда?

— Нет, все в порядке, Владимир Ильич, — смиренно отвечал я, подстерегая сладкий момент. — Я внес за Новороссийск...

И вот — момент наступал: невероятный, ужасающий пароходный гудок потрясал все окружающее, рвал гремящий металлом воздух на клочки и оглушал, пригибал к земле своим яростным ревом все мелкое человечество, суетившееся около.

— ...Я внес за Новороссийск по трем дубликатам... Ах ты, свинья этакая, идиотский агентишка!!! Я, по-твоему, путаю? А ты сам, лысый павиан, сделал ли ты хоть одно дело по агентству, не напутав так, что все за спиной смеются. Я ведь знаю, что ты вор, берешь взятки и вообще скотина такая, что смотреть омерзительно. Жулик, шельма кривоногая, кретиновидная...

Приблизившись ко мне, агент смотрел на мои шевелящиеся губы, кивал одобрительно головой в такт моим словам, будто соглашаясь со всеми высказанными мною подозрениями и эпитетами.

— И единственно, — орал я ему на ухо, — что тебе можно сделать — это по мордасам как следует отвозить!!!

Но тут оскорбительное слово «мордасы» причудливо делилось на две части: «мор» я произносил под оглушающий рев гудка, а «дасы» под мертвую тишину, потому что гудок прекращался так же резко и неожиданно, как и начинался.

Уловив ухом фразу: «... дасам, как следует отвозить», агент подозрительно косился на меня и спрашивал:

— Что — как следует отвозить?

— Я говорю — мануфактуру. Как ее следует отвозить на склад: сегодня или завтра?

— Конечно! — язвительно пожимал плечами агент. — Вы первый день служите, да? Не можете сообразить, что за ней на склад каждую минуту могут явиться с накладной? Никакого из вас толку нет, сколько с вами ни бьешься.

«Ладно, ругайся, — самодовольно думал я. — Все равно не перепугаешь».

И возвращался я домой довольный, до отвала насытив свое самолюбие и гордость.

II

Марью Николаевну я любил уже год, а она этого совершенно не замечала. С женщинами я робел, и заикнуться какой-нибудь из них о чувствах я не решился бы при самых благоприятных обстоятельствах.

Я любил Марью Николаевну целый год и боялся даже словом, даже намеком выдать свою тайну.

Ночами я метался в постели, вздыхал, терзался мучениями невысказанной и неразделенной страсти, а днем угрюмый, холодный встречался с Марьей Николаевной.

И дождался я того, что она однажды заявила мне:

— Ну, мой верный рыцарь, уезжаю.

Я почувствовал, что кровь бросилась мне в лицо. Помолчав, сделал усилие и холодно спросил:

— Куда?

— В Одессу. К сестре, а оттуда, погостив, в Москву.

— Та-ак. Ну, счастливого вам пути. Желаю, чтобы вы веселились у сестры, а также и в Москве.

Она странно поглядела на меня, вздохнула и спросила:

— Придете к пароходу проводить?

Я вежливо поклонился.

— Если разрешите, с удовольствием.

На пароходной пристани собралось много провожающих — веселые, оживленные.

И я старался быть оживленным, шутил, улыбался. Выходило неважно.

— Что вы такой?.. — спросила Марья Николаевна.

— Зуб что-то болит, — кисло отвечал я. — У нас дома такие сквозняки...

И в то время как я говорил ей эти слова, чудовищный рев гудка разбил воздух, как стекло, и все внутри каждого человека заныло и задрожало мелкой дрожью.

Марья Николаевна скучающе глядела на мои шевелящиеся губы, а я говорил ей:

— Такие сквозняки... Моя милая, бесценная, мое единственное солнышко!.. Я тебя люблю, слышишь ли ты это слово? И я бы хотел с тобой рука об руку дойти гордо и счастливо до самой могилы. Слышишь ли ты меня? Я люблю твою душу и люблю твое тело, такое прекрасное, гибкое, нежное и упругое. Я бы томил тебя ласками, целовал бы нежно, и бурно, и трепетно и всю засыпал бы свежим дождем поцелуев — твои руки, грудь, живот, твои плечи, о, твои плечи! Слышишь ли ты меня, единственное мое солнышко?..

И опять гудок нелепо оборвался на середине слова «меня»...

«Ня, единственное мое ясное солнышко»... — услышала Марья Николаевна.

— Что? Какое «ясное солнышко»? — недоумевающе переспросила она.

— Я говорю, единственное, о чем я мечтаю, — понежиться на солнышке. Вот, видите, сейчас облака, а когда вы уедете, я, если выглянет солнышко, пойду на бульвар и посижу на скамейке.

— Подумаешь, идиллия... Только и всего?

И я холодно ответил:

— Только и всего.

* * *

Эти две истории я рассказал к тому, что вообще хорошо было бы в каждом городе на каждой улице поставить по такому гудку, — хоть раз в день на пять минут можно было бы быть искренними друг с другом.

КАК МЕНЯ ОШТРАФОВАЛИ

I

Проснулся я потому, что почувствовал около кровати присутствие постороннего лица.

Но, открыв глаза, увидел свою ошибку: это был не посторонний человек, а околоточный. Полиция никогда не бывает посторонней.

Я послал ему рукой приветствие и терпеливо спросил:

— Сколько?

— Двести пятьдесят.

— Что вы, милый! Хотите десять?

— Помилуйте! Я не имею права торговаться.

— Ну, да, — кивнул я головой. — Вы сейчас скажете: жена, дети, всеобщая дороговизна... Знаем!

— Помилуйте, я вам сейчас могу предъявить и постановление...

Обеспокоенный, я поднялся на локте.

— Позвольте... Да вы о чем?

— А вы? — улыбнулся околоточный.

— Я о...

— Ничего подобного! Я бы не стал так настойчиво... Вы просто как редактор журнала оштрафованы...

— Просто оштрафован? Ну, тогда, конечно, ничего...

— ...И мне нужно взыскать с вас деньги.

— Вот это уже сложнее... Это не просто. Дело в том, видите ли, что мне бы ужасно не хотелось платить вам денег.

— Можно не платить, — успокоительно сказал околоточный.

— Вот видите! Ну, спасибо. Садитесь, пожалуйста!

— Можно не платить, — повторил околоточный, усаживаясь. — Так как штраф с заменой арестом на полтора месяца, то если отсидеть — ничего платить и не придется.

— Встаньте! — сердито сказал я. — Вы, кажется, уселись на мой сюртук. Вы уверены, что это я оштрафован? Может быть, кто-нибудь другой?

— Именно вы. Да это ничего! Теперь ведь всех штрафуют.

— Милый мой, — сентенциозно возразил я. — Все люди в конце концов умирают... Но если вы на этом основании

захотите отрезать мне вашей шашкой голову, я буду энергично сопротивляться. Хотите пятьдесят?

— Что?

— Пятьдесят рублей. Хорошие деньги! На пятьдесят рублей можно обмундировать целого городового... Или седло с уздечкой для лошади купить.

— Не могу-с. Приказано взыскать полностью.

— Однако, вы тяжелый человек! Ну, ладно. Как-нибудь, когда будут свободные деньги, отдам. Зимой, когда начнется сезон... Заходите, милости просим...

— Нет-с, зимой нельзя. Нужно сейчас.

— Почему же? Я заплачу проценты за отсрочку. Я готов даже рассматривать это как ломбардную ссуду под известную ценность. Я думаю, что известную ценность я представляю?

— Нет, мы ожидать не можем.

— Боже ты мой! Можно подумать, что вы весь свой бюджет строите на этих несчастных двухстах пятидесяти рублях! Хотите так: я вам внесу сразу пятьдесят рублей и потом еженедельно...

— Извините, не можем.

— Гм... а в тюрьме у вас хорошо кормят?

— Обыкновенно.

— Вот это и плохо, что обыкновенно. Я должен обязательно отсидеть полтора месяца?

— Конечно.

— Извините меня, но я считаю это неправильным. Нужно, штрафуя, считаться с положением человека. Пятьдесят дней моей жизни считаются вами ценностью, равной двумстам пятидесяти рублям. То есть один мой день оценивается в пять рублей. Но знаете ли вы, милый мой, что ежедневный заработок в среднем у меня равняется пятидесяти рублям?!. Хотите — пять дней отсижу, а больше — не получите ни одного часочка.

— Этого мы не можем.

Тогда я попытался обратиться к его здравому смыслу.

— Что вам за польза, если я буду сидеть? Если заключение должно способствовать исправлению данного субъекта — вы меня не исправите. Я останусь таким же, каким был. Хотите меня обезвредить? Стоит ли обезвреживать на полтора месяца. Тем более что в тюрьме я все равно буду придумывать темы для своих рассказов. Зачем же еще вам

нужно так добиваться лишения меня свободы? Не заставляйте же меня думать, — патетически заключил я, — что это должно быть актом вашей личной мести! Личная месть в политике — фи!

— Да если не хотите сидеть, можно просто уплатить деньги.

— Удивительно, господа, у вас все это просто. Весь мир представляется вам математической формулой: дважды два — четыре. А скажите... Пошли ли бы вы на такую комбинацию: я дам вам сто рублей, а на остальные полтораста досижу.

— Нет, это невозможно.

— Вот люди, с которыми каши не сваришь! Почему невозможно? Какая разница вам, если вы все равно получаете все целиком, но в двух сортах. Обед из двух блюд гораздо приятнее обеда из одного блюда. Нечего там думать, соглашайтесь.

— Не знаю, что вам и сказать. Таких вещей еще никто нам не предлагал.

— Не предлагали, потому что привыкли к шаблону. А у меня все комбинации совершенно свежие и никем не заезженные. Если бы вы хорошенько уяснили мою мысль, вы пошли бы мне навстречу. Можно даже сделать так: сегодня у меня, скажем, есть свободные десять рублей, я посылаю их вам и считаю себя на два дня свободным. Завтра, наоборот, у меня есть свободный денек. Что же я делаю? Я захожу куда следует, отсиживаю, а вы отмечаете у меня в книжке (можно завести такую расчетную книжку), что пять рублей уплачено натурой. И мне незаметно, и вам неубыточно. К осени, глядишь, рассчитаемся.

Но логика на полицию не действует. Околоточный вздохнул и сказал со свойственной ему простотой:

— Если до двенадцати часов завтра не внесете денег, придется вас арестовать.

— У вас нет сердца, — с горечью прошептал я. — Хорошо... Завтра я дам вам ответ.

Околоточный посидел еще четверть часа, побранил свое начальство (надо заметить, что околоточные всегда ругают начальство; любопытно, что пристава этого не делают) и ушел, цепляясь шашкой за все углы столов и ножки стульев.

II

Когда я вышел в столовую, все уже знали о постигшей меня каре.

Тетка осмотрела меня с тайным страхом и сказала:

— Допрыгался? Мало вашего брата в Швейцарии, так еще и тебе надо.

— В какой Швейцарии?

— В такой. Сегодня бежишь?

— Что вы там такое говорите... Здравствуй, Сергей.

Мой кузен, юный студент, пожал мне руку и сказал сочувственно:

— Вот он, режим-то! Но ты не смущайся, брат. Вся мыслящая часть общества на твоей стороне. Пойди-ка сюда, я тебе что-то скажу!

Он отвел меня к окну и шепнул:

— Будь спокоен! Мы тебе устроим побег. Дай только нам два-три месяца сроку... У меня есть пара товарищей-головорезов, которые с помощью подкопа...

— Будет поздно! — печально сказал я.

— О, Боже! Я догадываюсь! Ты не выдержишь тяжести заключения и с помощью веревки, скрученной из простыни...

— Да нет, просто меня уже выпустят. Всего ведь полтора месяца!

— Жаль... А то бы...

Я отошел к столу, взял сдобную булку, откусил кусочек... и вскрикнул:

— Ох, черт! Что это такое... Тут можно все зубы поломать...

Я оглядел булку: кто-то искусно засунул в нее тоненькую пилу, обрывок веревочки и записку.

В записке стояло:

«С помощью этого перепили окно и спустись вниз, на расстоянии нескольких ядров тебя будет ждать лошадь, на которой скачи на юг. Живым не сдавайся».

Странное слово «ядров», напыщенность слога и пара орфографических ошибок сразу обнаружили автора — десятилетнего Борьку, моего племянника.

Я выплюнул изо рта пилочку, выбросил веревку, съел булку и, допив чай, ушел гулять.

Когда шел по двору, прачка Анисья выбежала из подвала, застенчиво сунула мне в руку две копейки и, пролепетав: «Помолись за меня, несчастненький», убежала.

Дело стало казаться не таким мрачным.

Теперь для полного расчета с правительством не хватало только 249 рублей 98 копеек.

В кафе встретили меня друзья. Они были очень озабочены моим положением и предложили целый ряд выходов.

Оказывается, положение мое было не безвыходным. Можно было:

1) Бежать в Аргентину.

2) Захватить околоточного вместо заложника и отпустить его только тогда, когда мне гарантируют свободу.

3) Бежать на Капри.

4) Забаррикадироваться в квартире и отстреливаться.

Лучший мой друг расспрашивал, не было ли у меня в роду алкоголиков, убийц, развратников и вообще преступников? Он же снял мою шляпу и, ощупав голову, нашел признаки несомненной дегенерации и деформирования черепа.

На другой день утром пришел мой старый друг — околоточный.

— Ну, как? — спросил он.

— Решил сесть.

— Ну... пожалуйте! Пойдем.

— Кандалов не наденете?

— Нет, не стоит.

— Может, обыск сделаете?

— Зачем же! Раз нет предписания.

— Тюремная карета подана?

— Какая там карета... На извозчике поедем.

— Ну, милый мой, — раздраженно сказал я. — Раз во всем этом нет тюремной кареты, ни кандалов, ни мрачной поэзии, ни тюремщиков, вталкивающих в подземелье, ни крыс на каменном полу — я отказываюсь! Я решил заплатить штраф.

— Платите, — равнодушно согласился околоточный.

— Вот вам. Это шестимесячный вексель. Вы учтете его и...

— Нет, извините. Нужно наличными.

— Да почему? Неужели вы думаете, что вам не учтут векселя? Любой банк сделает это. В особенности если вы еще найдете там, в банке, какие-нибудь санитарные погрешности...

— Нет, вексель мы не принимаем.

— Боже, какой вы нудный человек! Ну, получайте ваши «наличные», и надеюсь, что наши дороги надолго разойдутся в разные стороны. Прощайте!

И, платя деньги, я постарался всучить ему самые потертые, запятнанные и измятые кредитки... Я твердо помнил, что принадлежу к оппозиции.

P.S. Может быть, мой рассказ и возмутит кого-нибудь из оппозиционно настроенных граждан, возмутит легкостью тона и той шутливостью, которая не подходит, которая неуместна при столкновении с такими серьезными, мрачными вещами, как штраф и арест.

Но Боже мой! Ведь в этом шутливом тоне и смехе, может быть, и кроется единственный выход из еще более некрасивого положения, когда человек беспомощно плачет, стонет и вообще разливается в три ручья.

ПРИЗРАКИ ЛЮБВИ

Когда горничная принесла почту — супруги дружески разделились: муж забрал себе все газеты и каталог семян, а жена — все журналы и письма.

Муж перелистал каталог, сказал два раза «ого!», два раза «гм!» и, отложив его, углубился в газету.

Жена схватила сначала письмо, потом отложила его, взяла журнал, перевернула две странички, бросила журнал, снова схватила письмо, на колени положила другой журнал и, перелистывая его, попыталась вскрыть конверт; так как одна рука была занята перелистыванием журнала, то для письма была пущена в ход свободная другая рука и зубы: зубами был оторван край конверта, и зубами же было вынуто письмо. После этого журнал соскользнул с колен и упал на пол, а жена ухватилась обеими руками за письмо и приступила к чтению.

Прочтя несколько строк, она подняла голову и, улыбаясь тихой улыбкой, которая озарила ее лицо подобно тихому, умиротворяющему, розовому, вечернему лучу, сказала:

— Ах, мужчины, мужчины!.. Вот, говорят, что женщина, влюбившись, теряет голову... А я думаю, что нет ничего смешнее, трогательнее и бестолковее влюбленного мужчины.

— А что? — беспокойно спросил муж. — Ты это не обо мне говоришь?

— Успокойся — не о тебе. Просто я сейчас получила письмо от совершенно незнакомого мне господина. И представь себе — он изливается мне в своих чувствах.

— Просто дурак какой-нибудь, — сказал муж, выглядывая из-за газеты.

— Почему же дурак? Уж сейчас и дурак. Значит, и ты был дурак, когда в свое время изъяснялся в любви ко мне?

В голосе мужа зазвенела нотка искренности, когда он сказал:

— И я.

— Очень мило! Благодарю вас!

— Не стоит. Курите на здоровье.

Жена немного обиделась; чтобы уязвить мужа, а также поднять себе цену, она поднесла письмо к глазам и задушевным голосом прочла первую строчку:

— «Мое бесценное сокровище!» Обрати внимание: человек, который еще даже не знаком со мной, — считает меня бесценным сокровищем.

— Не обвиняй его! Для человека, незнакомого с тобой, — это простительно.

Жена, очевидно, не поняла этой сложной по построению фразы, потому что сказала благосклонно:

— Ага! Теперь уже и ты начинаешь отпускать мне комплименты, хитрец ты этакий! Да-а... «Другие, может быть, и назовут пошлой дерзостью то, что я пишу вам такое письмо, даже не будучи знаком, но, если вы так же умны, как и красивы, вы не сочтете это дерзостью»...

Жена вдумалась в последнюю фразу и торопливо заявила:

— Я и не считаю!

— Еще бы!

— «Благословляю тот счастливый случай, который привел меня третьего дня в “Аквариум”»...

Жена подняла голову и сказала, задумчиво улыбаясь:

— Начиная с этих строк, бедняга совершенно теряет голову. Ха-ха-ха! Обрати внимание: он пишет — «Аквариум»,

в то время как мы были в «Аркадии»... Помнишь, тогда? До чего у человека все в голове перепуталось...

— Может быть, он тебя спутал с кем-нибудь?

— Чепуха! С кем он меня может спутать?! «Сердце мое сжималось сладко и мучительно, когда ваша милая головка показывалась у окна кабинета»...

— Постой, — перебил муж. — Как это так «у окна кабинета», когда мы сидели в общем зале? Тут что-то непонятное!

— Для кого непонятное, а для кого и понятное! Очень просто: значит, он сидел в кабинете, а мы снаружи, и моя, как он говорит, «милая головка» показывалась у окна кабинета.

— Однако я не думаю, чтобы твоя милая головка достигала окна второго этажа.

— Он об этом и не говорит.

— Но ведь кабинеты во втором этаже?!

— Я не виновата, милый мой, что кабинеты так глупо устроены. Ну-с, дальше. «Я не знаю, кто те двое мужчин, которые сидели с вами»... Постой-ка! Кто был тогда с ними?

— Нас было трое: ты, твоя тетка и я.

— Значит, он мою тетку за мужчину принял? О, Боже, Боже... Недаром говорят: любовь — слепа!

— Хорош гусь! — критически заметил муж. — Теперь ты согласна, что тут какая-то путаница?

— О, да, — язвительно вскричала жена. — Я вижу — ты бы очень хотел этого! Еще бы!

— Да как же можно — женщину за мужчину принять?

— Мало ли что. У тети действительно очень мужественный вид. Человек смотрел только на меня! Все остальные для него только ненужная декорация!

— И я декорация?..

— И ты декорация.

— А ты знаешь: декорация иногда может на голову свалиться.

— Я знаю — ты другого ничего не можешь сделать. Да... «...Те двое мужчин, которые сидели с вами; но если седой, толстый господин в смокинге — ваш муж, не думаю, чтобы вы любили его»... Заметь: он маскирует эти слова хладнокровным тоном, но видно, что бедняга страдает.

— Интересно: кого он принял за седого господина в смокинге — тетушку, меня или тебя.

— Не будь пошляком.

— Милая, какой я толстый? Какой я седой? Какой я в смокинге, когда я в сюртуке был?

— Очень ему нужно разбирать — в смокинге ты или в сюртуке! Только ему и дела.

— А седой-то? Какой я седой?

— Ты почти блондин. А блондины вечером кажутся седыми. Преломление лучей.

— Именно. Оно самое. А толстым я кажусь тоже от преломления лучей?

— А что ж, ты худенький, что ли? Слава Богу, четыре с половиной пуда!

— Та-ак; а скажи, сколько ты весишь?

— Три пуда семьдесят. Ах, да дело не в этом!.. Ты все перебиваешь меня! «Но то, что вы изредка кокетничали с другим господином, пронизывало мое сердце отравленными стрелами»...

Муж захихикал:

— С другим — это, значит, с теткой. Действительно, обидно! Если женщина со своей собственной теткой кокетничает — дело швах.

— Конечно, конечно, тебе непонятно, что человек мог совсем потерять голову.

— Ну, кто найдет ее, тоже не обрадуется.

— Я так и знала: ты ревнуешь! А ну, что дальше? «Я не могу себе представить, чтобы кто-нибудь другой обвивал руками вашу тонкую талию и целовал ваши черные, как ночь, волосы».

— Ну, послушай, — сказал муж, откладывая газету. — Положа руку на сердце, можно назвать твою талию тонкой?

— Если тебе не нравится — ищи себе другую!

— Благодарю вас. Одно должен признать — он довольно мило перекрасил твои волосы в черный цвет.

— Он этого не говорит!

— Ну как же! Там он сравнивает твои волосы с ночью, что ли.

— Ночи бывают и черные, и белые. Если захотеть критиковать человека, всегда можно придраться. Он писал так, как чувствовал! «...Счастливый случай дал мне возможность узнать ваш адрес от Жоржа Кирюкова»... Это что еще за Жорж?

Муж пожал плечами.

— Тебе лучше знать.

— Откуда же мне знать какого-то Кирюкова?! Это, наверное, один из твоих ресторанных забулдыг-знакомых. Знакомитесь с кем попало! Гм!.. «...От Жоржа Кирюкова, жениха вашей свояченицы Клавдии»... С ума сошел человек! Какая свояченица?

— Он же говорит — твоя?

— Почему моя? Может быть, твоя?

— Да, да. Я ее до сих пор в кармане на всякий случай прятал, а теперь вынул... Получайте, дескать. Новая родственница!

— Нечего хихикать! Обрадовался...

— Милая моя! Ни свояченицы, ни твояченицы, ни мояченицы — у нас нет!

— Поразительно умно! Просто человеку не до того было, и он все перепутал...

— Как это можно, все перепутать? С какой радости?

— Значит, по-твоему, я не способна внушить человеку сильное чувство, да?

Губы жены обиженно задрожали.

— Удивительно, — сказал муж, поднимая с пола конверт, — как этот идиот еще адреса не перепутал! Постой-ка!.. Гм!.. Тебя зовут Александрой?

— Александрой.

— Есть. Степановной?

— Что за глупости! Какой Степановной?

— Тут, дорогая моя Александра Ивановна, стоит «Степановна».

— Что за нелепый человек! Ты фамилию посмотри! — сердито сказала жена.

— Да, фамилия хорошая: Чебоксарова.

— О, Господи! Неужели он и фамилию... ошибся?

— Ну, какие пустяки, — подмигнул муж. — Что такое фамилия? Номер дома правилен — 7, а квартира гм!.. На три номера больше — это, впрочем, тоже деталь...

— В таком случае, — нервно крикнула жена. — Я ничего не понимаю. Ты умным себя считаешь — ты и объясни... В чем тут дело?

— В чем? Просто это письмо не к тебе адресовано.

— Вздор! Как бы оно иначе ко мне попало! Это он мне писал! Только что волосы спутал...

Вошла горничная и, остановившись у дверей, спросила:

— Вам не попали ли по ошибке журналы госпожи Чебоксаровой из одиннадцатого номера?

— Что такое? Какая Чебоксарова? — крикнула жена.

— Александры Степановны Чебоксаровой. Брюнетка такая тоненькая. Кажись, почтальон всю ее почту вам сунул. Умается, работамши, вот и сует зря...

— Скажи своему почтальону, что он дурак! А ты тоже хорош! Вместо того чтобы разобрать как следует почту, сейчас же хватаешься за свои глупые газеты! Убегут они от тебя, правда? Новости тебе нужно знать! Да? Без тебя политики не сделают! Выше головы, милый мой, не прыгнешь, — могу тебя успокоить.

ПЕРВАЯ ДУЭЛЬ

I

В еженедельном журнале, в повести молодого беллетриста я вычитал следующее:

— «Как хороши бывают предрассветные часы, когда вся природа готовится отойти ко сну, когда поля одеваются белой пеленой тумана и усталые, истомившиеся за день крестьяне гонят свои стада лошадей и других животных на покрытые изумрудной зеленью пастбища под ласковые лучи утреннего солнца. В такие тихие закатные часы мне хочется думать о чем-то недостижимом, несбыточном».

Нужно ли говорить, что меня чрезвычайно возмутили эти странные сумбурные строки. Я поспешил пригвоздить автора к позорному столбу, чтобы отбить у него всякую охоту совать нос в то, что его не касается.

Я написал в другом еженедельнике:

«Автор утверждает, во-первых, что в “предрассветные часы вся природа готовится отойти ко сну”. Если “вся природа” в глазах автора отождествляется с кучкой пьяных гуляк, вышвырнутых за поздним временем из кабака и готовящихся отойти ко сну в придорожной канаве, — мы не поздравляем автора с таким кругозором. Во-вторых, всему свету известно, что крестьяне *встают* с рассветом,

а не *ложатся.* Какой же дурак мог заставить истомившихся за день крестьян гнать стада "лошадей и других животных" на пастбища. Когда крестьяне их гнали? В какой час? Если утром — почему они успели "истомиться за день"? Если вечером — что это за безумные, потерявшие образ человеческий крестьяне, которые выгоняют скот на ночь из хлевов в поле? И как совместить "тихие закатные часы" с "ласковыми лучами утреннего солнышка"? Кто мог написать это? Человек или курица, забредшая через открытое окно на письменный стол отлучившегося за авансом автора? Да нет! И курица прекрасно отличает рассвет от заката... В конце этой белиберды автор меланхолически вздыхает: "В такие тихие закатные часы мне хочется думать о чем-то недостижимом, несбыточном"...

Что он называет недостижимым? Не то ли, что ему никогда не удастся поумнеть и написать произведение более благоприятное...»

Статейка моя вышла достаточно хлесткой, умной и рассудительной.

Но на другой день ко мне явился длинный худощавый молодец и заявил, что он этого дела так не оставит.

— Да вы кто такой? — спросил я.

— Автор той повести, с которой вы так грубо обошлись...

— Ага! Вы автор? Чего же вы хотите?

— Напишите опровержение вашей статьи.

— Что же я буду опровергать? Что крестьяне встают утром? Моему опровержению даже ребенок не поверит. Что закат бывает на рассвете? С этим даже и вы не согласитесь. Что крестьяне выгоняют скотину пастись ночью? С этим не согласится и самая захудалая скотина. Что же я буду опровергать?

— Хорошо, хорошо, — сказал он. — В таком случае у вас завтра будут мои свидетели.

— Я за этим не гонюсь.

— Это безразлично. Но такую вещь можно смыть только кровью.

— Так, так. Значит, — рассудительно заметил я, — оттого, что вы мне влепите пулю в лоб, солнышко начнет в тихие закатные часы лить на землю утренние лучи? Вы никогда этого не дождетесь.

— Что вы хотите этим сказать?

— Хочу сказать то, что у вас не хватит крови, чтобы смыть с нескольких десятков тысяч страниц напечатанную на них вами бессмыслицу.

— Ладно! Когда я прострелю ваше брюхо, вы узнаете, какая это бессмыслица!

— Да, действительно. Можно сказать, что этот довод будет сокрушающим. А пока — прощайте. По коридору прямо, дверь направо.

— Прощайте! Вы обо мне завтра услышите.

— Постараюсь; напрягу слух до последней степени.

II

Двое юношей — хранителей священных традиций чести — явились ко мне на другой день.

— Мы к вам по очень серьезному делу.

— Садитесь. Много работаете?

— Как... работаем?.. Да, вообще, конечно... работаем.

— Я вижу, мы с вами народ занятой, — заметил я.

Юноши, польщенные, улыбнулись.

— Да-с.

— А этот безграмотный осел, — интимно подмигнул я, — отрывает нас от дел.

Юноши вскочили.

— Позвольте! Мы здесь в качестве представителей господина Лелякина и не позволим оскорблять его!!! Потрудитесь взять ваши слова обратно.

— Откуда же вы знаете, что я говорю о нем?

— А вы вот сказали: безграмотный осел.

— Я могу взять свои слова только на половину: он грамотный осел. Грамотный настолько, чтобы нацарапать окостеневшей рукой бессмыслицу и пристроить ее в журнале.

— Но мы защитники его интересов и не позволим...

Я проницательно взглянул на юношей.

— Значит, вы согласны с ним, что закат бывает на рассвете?

— Нет, не согласны.

— ... ласны, — подтвердил другой юноша.

— Мог ли умный человек написать такую чепуху?

— Не мог.

— Значит, писал дурак?

— Значит, дур... Да нет! Вы не можете так говорить о нем. Он доверил нам свои интересы!

— Ну да, я понимаю. Однако оставим это в стороне. Оттого, что он доверил вам свои интересы, он ведь умным не сделался? Согласны?

— Да, конечно, это верно.

— Вот и выходит, что, даже и защищая его интересы, вы все время должны помнить, что он дурак. Верно?

Юноши придвинулись ко мне ближе и кивнули головами... После некоторого колебания, согласились:

— Конечно, дурак. Сказать правду, нам ужасно противно это поручение. Мы сразу видим, что вы симпатичный, умный человек...

— А тот — какое-то дерево, — подхватил другой юноша.

— Гнилое дерево. Дупло вместо головы, — заметил другой юноша.

— И пишет он так, что его отодрать бы следовало.

Пока оба защитника интересов моего противника обменивались этими замечаниями, я потребовал вина, и мы подняли свои бокалы за то, чтобы литература была избавлена от тупиц и бездарностей.

Потом пришли мои секунданты. Было шумно и весело.

Противниковы юноши дали клятву, что в зависимости от исхода дуэли они поколотят своего доверителя.

III

С рассветом меня разбудили «защитники моих интересов».

— Дайте мне поспать хоть полчасика.

— Нельзя. Уже восход. Противник, вероятно, уже на месте.

— А может, его еще нет. Ведь он путает закат с восходом.

— Может быть, когда он один. Но мы уверены, что секунданты растолкуют ему.

Натягивая брюки, я сострил:

— Его секунданты лучше. Они ему растолковывают, а вы меня расталкиваете.

Тут же я подумал:

«Бодришься? Хочешь показать хладнокровие?»

Лошади повезли нас на место назначения, а я сидел и думал:

«Как трудно быть самим собой, едучи стреляться. Столько я читал, видел пьес и картин на сюжет дуэли, что трудно мне удержаться в рамках естественности. Хорошо было нашим предкам: они стрелялись, как Бог на душу положит. А я знаю, как держал себя Ленский, Онегин, Грушницкий, Печорин, и должен или подражать им, или выдумывать что-либо совершенно оригинальное, что не так-то легко.

Постараюсь держать себя естественно...»

Я закинул голову назад, потом посвистал, потом сложил руки на груди и злобно улыбнулся.

— Чего тебя корчит? — осведомился секундант.

Тогда я сделал сосредоточенное лицо, нахмурился и стал похлопывать пятку о пятку.

— Нервничаешь? — спросил секундант.

Я засмеялся, ткнул его кулаком в бок и показал язык.

Я убежден: как ни держи себя перед дуэлью — все будет плохо.

До места назначения я сделал три бесплодных попытки: пытался 1) быть рассеянным, 2) грозным, полным зловещего спокойствия и 3) хладнокровным, видавшим виды, привыкшим к дуэлям бретером.

Последняя попытка вызвала у одного из секундантов замечание:

— У тебя такой вид, что не лучше ли нам вернуться и уложить тебя в постель. У тебя очень нехороший вид.

Мой безграмотный противник был уже на месте. Он ходил крупными шагами по полянке (не помню, по Лермонтову или по кому другому).

Я опустился на камень и под впечатлением обстановки тихонько запел:

— Куда, куда, куда вы удалились... Господа! Я не боюсь, но помоги мне, Господи, быть естественным.

Я встал и подошел к шептавшимся секундантам.

— Ну, чего же мы ждем, господа?

Защитники интересов моего противника развели руками.

— Ужасная неприятность! Всего один только пистолет!.. Другого никак не могли разыскать. Нельзя же стреляться одним пистолетом?

Необычайно долговязый студент, цель появления которого была мне не совсем ясна, примирительно сказал:

— Отчего же — нельзя? Пусть по жребию — они выстрелят в них или они в них, а затем передадут пистолет противной стороне.

— Я ничего не имею против, — согласился я. — Очень приятно познакомиться. Вы тоже секундант?

— Нет, — сказал этот долговязый гигант, наклоняясь ко мне. — Я приглашен для отмеривания шагов.

Я взглянул на его ноги. Идея пригласить этого человека была не глупа. Ноги его могли обезвредить самого лучшего стрелка. Вероятно, подумал я, когда этот человек наклоняется к ботинку, чтобы развязать зубами затянувшийся узлом шнурок, его голова обрушивается вниз с головокружительной высоты.

— На нет и суда нет, — заметил мой противник, когда ему сказали, что пистолет только один. — Обойдемся. Я предпочел бы, впрочем, как оскорбленный, стрелять первым.

— По жребию, по жребию! — донесся с высоты голос отмеривателя шагов. — Тяните жребий, а я отмерю шаги. Тридцать шагов.

Он провел носком ноги черту на земле и затем, сделав колоссальный прыжок, понесся на своих страшных ходулях в туманную даль.

— ... Одиннадцать, двенадцать... Двадцать четыре, двадцать семь...

И затем издалека донесся его заглушенный расстоянием голос:

— ...адцать... евять, ...идцать!

— Ау-у-у! — крикнули секунданты.

— Ау-у-у!

Тянули жребий. Вышло, что первым стрелять будет мой противник. Он засверкал глазами, лязгнул зубами и сказал:

— Ага-а... Вот теперь мы посмотрим, чья возьмет.

Нас поставили на места.

— Начинаем! Раз... два...

Далеко, далеко от меня (хвала Господу, создавшему такие ноги) виднелась фигура человечка. Человечек поднял пистолет, прицелился и после команды «три» выстрелил.

Не будучи уверен — ранен я или нет, я заблагорассудил не падать до выяснения истины.

Это было очень осторожное решение, потому что по освидетельствовании я оказался целехоньким.

— Ваша очередь стрелять, — сказал запыхавшийся секундант (он только что сбегал к моему противнику за револьвером).

— Куда вы! — закричал он, оглядываясь. — Стойте на месте! В вас же сейчас будут стрелять.

Противник мой, очевидно, был не такой дурак, как я о нем думал.

Вместо того чтобы стоять на месте в ожидании пули, он приблизился к нашей группе и сказал:

— Господа! Разве вы не знаете, что дуэль запрещена законом?

— Об этом нужно было думать раньше, — закричали секунданты. — Вы первый его вызвали, вы первый в него стреляли... теперь его очередь!

Дуэлянт кротко улыбнулся.

— Я, господа, вероятно, забыл предупредить вас, что я принципиальный противник дуэлей. Да и в самом деле: разве не бессмыслица разрешать принципиальные споры шальной пулей. Прямо-таки стыдно! Я думаю, всякий благомыслящий человек согласится со мною. До свиданья!

Он сделал нам рукой приветственный жест, повернулся и ушел торопливой походкой человека, вспомнившего, что он, уходя из дому, забыл погасить разорительное для экономного хозяина электричество

РАССКАЗ О КОЛОКОЛЕ

На случай, который я расскажу ниже, могут существовать только две точки зрения: автору можно поверить или не верить.

Автору очень хочется, чтобы ему поверили. Автор думает, что читателя тронет это желание, потому что обыкновенно всякому автору в глубокой степени безразлично — верит ему читатель или нет. Писатель палец о палец не ударит, чтобы заслужить безусловное доверие читателя.

Автор же нижеописанного в отдельном абзаце постарается привести некоторые доказательства тому, что весь рассказ не выдумка, а действительный случай.

Именно, — автор дает честное слово.

Глава I

Однажды, в конце Великого поста, в наш город привезли новый медный колокол и повесили его на самом почетном месте в соборной колокольне.

О колоколе говорили, что он невелик, но звучит так прекрасно, что всякий слышавший умиляется душой и плачет от раскаяния, если совершил что-нибудь скверное.

Впрочем, и неудивительно, что про колокол ходили такие слухи: он был отлит на заводе по предсмертному завещанию и на средства одного маститого верующего беллетриста, весь век писавшего пасхальные и рождественские рассказы, герои которых раскаивались в своих преступлениях при первом звуке праздничных колоколов.

Таким образом, писатель как бы воздвиг памятник своему кормильцу и поильцу — и отблагодарил его.

Глава II

Едва запели певчие в Великую ночь: «Христос воскресе из мертвых...», как колокол, управляемый опытной рукой пономаря, вздрогнул и залился негромким радостным звоном.

Семейство инспектора страхового общества Холмушина сидело в столовой в ожидании священого кулича, потому что погода была дождливая и никто, кроме прислуги, не рискнул пойти в церковь.

Услышав звук колокола, инспектор поднял голову и сказал, обращаясь к жене:

— Да! Забыл совсем тебе сказать: ведь я нахожусь в незаконной связи с гувернанткой наших детей, девицей Верой Кознаковой. Ты уж извини меня, пожалуйста!

Сидевшая тут же гувернантка прислушалась к звону колокола, вспыхнула до корней волос и возразила:

— Хотя это, конечно, и правда, но я должна сознаться, что, в сущности, не люблю вас, потому что вы старый и ваши уши поросли противным мохом. А вступила с вами в близкие отношения благодаря деньгам. Должна сознаться, что мне больше нравится ваш делопроизводитель Облаков, Василий Петрович. О, пощадите меня!

— Могу ли я вас обвинять, — пожала плечами жена Холмушина, — когда мой средний сын Петичка не муж-

ний, а от доктора Верхоносова, с которым я встречалась во время оно в Москве.

— Очевидно, доктор Верхоносов был большой мошенник? — прислушиваясь к звуку колокола и покачивая головой, прошептал Петенька, гимназист четвертого класса.

— Почему?

— Вероятно, я в него удался: можете представить, в третьей четверти у меня поставлены две единицы, а я переправил их на четыре да и показал отцу.

— Дитё! — снисходительно улыбнулась старая нянька. — Сколько я у вас, господа вы мои, сахару перетаскала за все время, так это и пудами не сосчитать. А надысь банку с вареньем выела, а потом разбила да на Анюточку и свалила; будто она разбила.

— Ничего! — махнула рукой маленькая Аня. — За банку мне только два подзатыльника и попало, а того, что я вчера в папином кабинете фарфорового медведя разбила, — никто и не знает.

Инспектор встал, потянулся и сказал:

— Пойти разве в кабинет написать в правление нашего общества заявление, что я третьего дня застраховал безнадежно чахоточного, подсунув вместо него доктору для осмотра здоровяка, кондуктора конки.

— Как же вы пошлете это заявление, — возразила горничная Нюша, — если я вчера из коробки на вашем письменном столе все почтовые марки покрала.

— Жаль, — сказал инспектор. — Ну, все равно — поеду к полицейскому, заявлю ему, потому что это дело — уголовное.

Глава III

Инспектор оделся и вышел на улицу. Колокол звонил...

Нищий подошел к нему и укоризненно сказал:

— Вы мне уже третий год даете то две, то три копейки при каждой встрече. Где у вас глаза-то были?

— А что?

— Да я в сто раз, может быть, богаче вас; у меня есть два дома на Московской улице.

Какой-то запыхавшийся человек с размаху налетел на них и торопливо спросил:

— Где тут принимают заявления о побеге с каторги?

— Пойдем вместе, — сказал инспектор. — Мне нужно заявить тоже об уголовном дельце.

— И я с вами, — привязался нищий. — Ведь я один-то дом нажил неправильным путем — обошел сиротку одну. Лет двадцать, как это было — да уж теперь заодно заявить, что ли?

Все трое зашагали по оживленной многолюдной улице, по которой сновала одинаково настроенная публика. Кто шел в участок, кто к прокурору, а один спешил даже к любовнице, чтобы признаться ей, что любит жену больше, чем ее.

Все старательно обходили купца, стоявшего на коленях без шапки посреди улицы. Купец вопил:

— Покупатели! Ничего нет настоящего у меня в магазине — все фальшивое! Мыло, масло, табак, икра — даже хлеб! Как это вы терпели до сих пор — удивляюсь.

— Каяться вы все мастера, — возразил шедший мимо покупатель, — а того, что я тебе вчера фальшивую сторублевку подсунул, этого ты небось не знаешь. Эй, господин, не знаете, какой адрес прокурора?

Глава IV

В участке было шумно и людно.

Пристав и несколько околоточных сортировали посетителей по группам — мошенников отдельно, грабителей отдельно, а мелких жуликов просто отпускали.

— Вы что? Ограбление? Что? Вексель подделали! Так чего же вы лезете? Ступайте домой, и без вас есть много поважнее. Это кто? Убийца? Ты, может, врешь! Свидетели есть? Господа! Ради Бога, не все сразу — всем будет место. Сударыня, куда вы лезете с вашим тайным притоном разврата?! Не держите его больше — и конец. Ты кто? Конокрад, говоришь? Паспорт! Вы что? Я сказал вам уже — уходите!

— Господин пристав! Как же так — уходите? А что у меня два года фабрика фальшивых полтинников работает — это, по-вашему, пустяки?

— Ах ты, Господи! Сейчас только гравера со сторублевками выгнал, а тут с вашими полтинниками буду возиться.

— Да ведь то бумага, дрянь — вы сами рассудите. А тут металл! Работа по металлу! Уважьте!

— Ступайте, ступайте. Это что? Что это такое в конвертике? Больше не беру. Ни-ни!

Полицмейстер вышел из своего кабинета и крикнул:

— Это еще что за шум! Вы мешаете работать. Я как раз подсчитывал полученные от... Эй, гм! Кто там есть! Ковальченко, Седых! Это, наконец, невозможно! Бегите скорее к собору, возьмите товарищей, остановите звонаря и снимите этот несносный колокол. Да остерегайтесь, чтобы он не звякнул как-нибудь нечаянно.

Глава V

Колокол сняли...

Он долго лежал у задней стены соборной ограды; дожди его мочили, и от собственной тяжести он уже наполовину ушел в землю. Изредка мальчишки, ученики приходского училища, собирались около него поиграть, тщетно совали внутрь колокола ручонки с целью найти язык — язык давно уже, по распоряжению полицмейстера, был снят и употреблен на гнет для одной из бочек с кислой капустой, которую полицмейстер ежегодно изготовлял хозяйственным способом для надобностей нижних чинов пожарной команды.

Долго бы пришлось колоколу лежать в бездействии, уходя постепенно в мягкую землю, но приехали однажды какие-то люди, взвалили его на ломовика, увезли и продали на завод, выделывавший медные пуговицы для форменных мундиров.

* * *

Теперь, если вы увидите чиновничий или полицейский мундир, плотно застегнутый на пуговицы, — блестящие серебряные пуговицы, — знайте, что под тонким слоем серебра скрывается медь.

Пуговицы хорошие, никогда сами собою не расстегиваются, а если об одну из них нечаянно звякнет орденок на груди, то звук получается такой тихий, что его даже владелец ордена не расслышит.

ИЗ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ "САТИРИКОНА" (1913)

чёрным по белому

АКТЕРЫ

Драматург сидел в уборной актера и, покуривая сигару, следил за тем, как актер наклеивает себе горбинку на нос.

Между делом актер говорил:

— Уверяю вас — душу актера мало кто постиг. Его изображали пьяницей, мошенником, соблазнителем чужих жен, прихлебателем, интриганом и надутым ничтожеством. Все это, по-моему, неважно. А душу, настоящее внутреннее содержание актера, господа бытописатели проглядели. В актере есть одна только черта характерная — и я удивляюсь, как это ее не замечали — ведь она так и бьет в глаза, так и лезет наружу.

— Что же это такое? — спросил драматург.

— Вы знаете, кто такой, в сущности актер?

— Ну?

— Дитя! Самое настоящее милое шести-семилетнее дитя, со всеми достоинствами и недостатками этого чудесного возраста.

— Хорошее дитя, — прищурился драматург. — Этакое дитя если пустить какую-нибудь сплетню или подставить ножку, так...

— Я же вам говорил, что это все неважно. Это ил, наносная почва. Под ней — чистейший хрусталь! Я это все замечаю, потому что, в сущности, я не актер. И очень жаль: что не актер... значит, под моим илом хрусталь не обнаружится. Не спорю: с актерами очень трудно ладить, но кто найдет кто нащупает их настоящую слабую струну — тот поведет за собою всех, как баранов. Вы, конечно, слышали когда-нибудь об антрепренере Пикадорове?

— Нет, простите, не слышал, кто это такой?

Второй актер, скромно возившийся в углу с каким-то паричком, поднял голову и издал удивленное:

— Э!

Старый парикмахер, поправлявший первому актеру прическу, обернулся к драматургу и сказал укоризненно:

— Эге?

А актер, спросивший о Пикадорове, оказался всех многословнее... Он вскричал, поваженный:

— Эге-ге!

— Что такое?

— Вы не слышали о Пикадорове? — сказали хором оба актера и парикмахер. — Ну, батенька знаете... Как же так можно...

— Расскажи ему о Пикадорове! — укоризненно сказал второй актер.

— Да, не мешало бы им рассказать о Пикадорове, — подтвердил парикмахер.

— Нужно, нужно рассказать вам о Пикадорове.

Актер попудрил нос, потрогал его — крепко ли сидит горбинка, и начал:

Рассказ об антрепренере Пикадорове

... Согласитесь с тем, что нужно большое искусство не платить актеру денег. Как я уже говорил, актер — дитя, но там, где нужно выколотить с кого-нибудь деньги, — актер — тигр. Правда, тигр простодушный, доверчивый, но в тоже время яростный, зловещий, шипящий и рычащий:

— Мне мои денежки подайте!

И вот Пикадоров никогда никому не давал денег. Каким образом? Почему?

Тут-то вы и увидите, какие актеры дети (к счастью, я не актер в душе!).

— Вы что, голубка?

— Неужели, не догадываетесь, Николай Пантелеймоныч: деньги нужны!

Пикадоров как-то сразу глупел в лице. Выражение губ делалось вялое, тупое, а глаза мутнели и казались совсем оловянными.

— Что т-такое? А? Где? Какие деньги? Кого? Э? Как?

— Денег мне нужно; мне следует!
— Ах, деньги!
Бессмысленное лицо озарялось улыбкой.
— Так, так — деньги! Денег у меня, голубка, нет.
Это он говорил всегда, даже в то время, когда пьеса шла с аншлагом, и у пристава клянчили разрешение на приставные стулья.
— Помилуйте, Николай Пантелеймоныч... Да ведь пьеса делает полные сборы.
Пикадоров всплескивал руками.
— Пьеса?! Да какая же это пьеса?!
Он отводил актера в сторону и шептал таинственно:
— Доверительно могу сообщить, по секрету: какая же эта пьеса? Дрянь! Позор! А вы мне говорите — пьеса.
Сбитый с толку этим странным возражением, актер долго смотрел на собственные ботинки и, наконец, опомнившись, возражал:
— Однако, ведь сборы полные! Публика в восторге.
Презрение, написанное на лице Пикадорова, переходило в отвращение:
— Публика? Да какая же это публика? Это сборище воровок, сутенеров и убийц, а не публика. Идите-ка сюда! Вот тут, в занавесе есть дырочка — взгляните! Ведь это позор! Подонки общества!
И опять ошеломленный актер, опомнившись возражал:
— Однако, эти подонки покупают билеты.
— Билеты?! Билеты?! (и в голосе Пикадорова уже слышалась истерика). Да они не только билеты — они калоши чужие у вешалки крадут. Он наш собственный стул, на котором ему дали посидеть, унесет, а не только билеты. Ха-ха! Билеты!
Большинство актеров так и отходило, не добившись никакого толку. Но был такой процент, на который «да какая же эта пьеса» и «да какая же это публика» — не действовало. Для этих у него был особый прием: он принимался рыдать:
— Гриша, — голубчик, ты думаешь, мне легко? Ты думаешь, мне денег жалко? Да пропади они, деньги эти! Но душа, Гриша, — это святая святых человека, и кто плюнет в душу — тот на небо плюнул, Гриша. Зачем же ты топчешь в грязь мою живую душу? Деньги! Всем известно, как Пикадоров платит деньги, все знают, что Николай Пикадоров свою рубашку актеру отдает.

Такой случай, действительно был: однажды какой-то актер за сторублевый долг взял у него поношенную крахмальную сорочку, — все что предложил ему продувной Пикадоров.

— Верно? — рыдая, кричит Пикадоров. — Ну, скажи, Гриша, ведь простота Пикадорова вошла в пословицу? Деньги тебе нужно? На! Забирай! Грабь! Пикадорову ничего не нужно! Вот кошелек — видишь, Гриша, два рубля с копейками. Забирай! Гриша, все забирай. Ничего... Ничего, что старый разоренный дурак Пикадоров пойдет пешком домой и ляжет спать с пустым брюхом, без единой затяжечки папиросой. Эх, Гриша! Доехали...

И, опустившись на стул, он принимался рыдать.

Растроганный Гриша брал два рубля, вместо пятидесяти, на которые имел право, а антрепренеру оставлял в кошельке мелочь...

— Спасибо, Гриша! Пожалел ты меня. Будет и мне, старенькому, на папиросочку.

И он целовал Гришу, а Гриша целовал его, и оба расходились, — один растроганный, другой, по-прежнему, плутоватый, с лицом, на котором еще не высохли живые слезы, и с вороватыми глазами настороже.

Я сам был свидетелем, как он плакал перед одним актером, стоя за кулисами и распоряжаясь в то же время по хозяйству.

— Ваня! Милый! Вот тут душа моя... вот тут — видишь? И эта душа болит и страдает... Люди топчут в грязь эту душу... Что? Скажите, что за переписку ролей послезавтра! Гоните их там... И я спрашиваю себя: Боже, за что ты наложил на меня крест сей? Твоя святая воля... Да ты потише, дьявол! Этак ты мне весь золоченый гарнитур поломаешь! Старый, бедный безобидный человек, а ведь и меня, Ваня, пожалеть надо, ведь и у меня сердце не из камня... Откуда? Из какой там еще газеты? У нас все сотрудники получают места, а новых не надо. Много их тут шляется... И так это меня, Ваня, иногда в могилку тянет на отдых усталым костям. Лягу я ночью в постель и думаю: ты у меня будешь, дубина, топотать, сапожищами, когда занавес поднять... Я тебе постучу!!

Вот как он держал себя с актерами. Кажется ведь, — ну, что он говорит? Пустяки, побрякушки... Дешевые слезы, дешевый пафос, а актер — этакая нервная, непосредственная

натура — плакал вместе с ним и отъезжал без копейки.

Много ли нужно, чтобы растрогать ребенка?

Одному второму любовничку он задолжал рублей триста... Ну-с... И выдумал он при встречах с ним штуку — восхищаться его галстуками.

Восхищение было фальшивое, грубое, но актер краснел от удовольствия и принимался вместо определенного требования, лепетать разную дрянь.

— Николай Пантелеймонович... А я к вам. Вы обещали что... что...

— О, Боже мой! О, Боже мой!..

Опять новый! Да ведь это не галстук, а очарованье. Откуда?! Ну, откуда вы такую прелесть берете? Бездна вкуса, тонкость, изящество! И с каждым днем все лучше и лучше! Ваня! Николаша! Сергей Иваныч! Взгляни ты на эту прелесть! Ведь это не галстук, а музыка!!

И все обступали любовничка, а Пикадоров пробирался потихоньку за их спинами, садился на извозчика и ехал домой.

Вот что такое Пикадоров.

Кажется, пустяк, а глядишь — ведь человек этот буквально раскусил, как орешек, актерскую душу.

— Да уж... штучка были они... господин Пикадоров, — подтвердил парикмахер, завертев горячими щипцами.

— Знал, чем человека взять, — вставил второй актер, наладивший, наконец, паричок..

— Где же он теперь? — спросил драматург.

— Бог его знает, где. В прошлом году держал Воронеж.

Драматург неопределенно хмыкнул и спросил:

— Прочли мою пьесу?

— Прочем, только, знаете, не вижу, кого мне там играть.

— Как кого? Князя Арнаутского.

Актер повернулся на стуле так, что стул застонал.

— Арна-ут-ского? Да ведь это эпизодическая роль. Как же мне ее играть? Типичная вторая роль.

— Милый, ради Бога! Если вы возьмете Арнаутского — пьеса прелестно расходится.

— Да что вы, батенька! Я еще не сошел с ума. Там ведь делать нечего.

Драматург вскочил и обнял актера за шею.

— Вам? Нечего? Да ведь из двух слов перл создадите! Опомнитесь! Вы создадите тип, который останется в веках. О, Боже мой! Всякая бездарность может провалить и хорошую роль, но создать из малоблагодарной роли живое лицо — это удел немногих, скажу прямо: это наш удел! А, конечно, если дать Загарину — он ведь всю пьесу загубит.

Актер, успокоясь, кивнул головой.

— Загарин погубит.

— Погубит?! Он не только погубит, он мне все мое литературное имя в грязь втопчет. А вы думаете, ее Симбирскому можно дать?! Воображаю.

— Да уж... Симбирский, — пробормотал актер, кладя синюю краску около век. — Поручите ему; не обрадуетесь.

— Вот то-то и оно. Единственный есть талантливый человек, который... кстати, вы имеете последнюю книгу моих рассказов?

— Нет.

— Позвольте вам поднести ее; я напишу: «бриллианту, лучи которого не только ослепляют, но и восхищают, обаятельному могикану нашей сцены»...

— Напишите «ветерану».

— Напишу — ветерану. А знаете, это даже лучше. Однако, что значит чуткий культурный человек! Он сразу может найти нужное слово... Как вы думаете играть Арнаутского? Молодящимся старичком? Или?..

Актер подпер подбородок рукой и задумался:

— Гм!.. Нет, лучше я сыграю его человеком средних лет с налетом какой-то душевной усталости.

— Как? Усталости! Именно усталости! Это именно то слово, которое я искал.

. . . .

ПРИЛОЖЕНИЯ

чёрным по белому

ВОЙНА

I

— Товарищи! — сказал нам сержант, входя в казарму. — Могу вас поздравить — у нас объявлена война.

— Уррра! — закричали солдаты.

Кричали все, кроме меня. Я толкнул своего соседа локтем в бок и, заинтересованный, спросил:

— Почему вы кричите, товарищ?

— Как же! Объявлена война.

— Что ж тут хорошего?

Он призадумался.

— Да хорошего, положим, ничего.

Сержант встал на скамью и обратился к присутствующим с речью:

— Дорогие друзья! Я знаю вашу храбрость, мужество и бесстрашие, и уверен, что ваши сердца, все, как одно, будут биться ненавистью к нашим подлым врагам...

В этом месте я счел удобным перебить его:

— Не будете ли вы так добры указать, кого именно наши сердца должны ненавидеть?

— О, черт возьми, — конечно, врага!

— Я был бы счастлив, если бы вы указали — кого именно? Представьте себе, что сердце мое ошибочно преисполнится ненавистью к итальянцу или англичанину, а они, как раз, считаются нашими закадычными друзьями.

Заметив его грозный взгляд, я робко добавил:

— Я ненавижу... уверяю же вас — очень, чрезвычайно — ненавижу. Но мне только очень хотелось бы знать — кого? С кем у нас война, господин сержант?

— Вот что...— сказал сурово сержант. — Солдат, который рассуждает, — никуда не годится. Это машина, которая испортилась. Исправим же эту испорченную машину — на две недели на гауптвахту!..

Машина поступила в ремонт в тот же день. Но через восемь дней меня уже освободили, так как нашу часть должны были отправлять на театр военных действий.

Нами набили несколько сот вагонов, и мы тронулись, оглашая воздух беспрерывными криками ура.

Анализируя свое тогдашнее душевное состояние, я с неудовольствием заметил, что в сердце моем отсутствовала та ненависть, которою, по мнению сержанта, мы должны бы быть обуреваемы.

Я обратился к соседу:

— Если не ошибаюсь, едем на войну?

— Конечно, — ответил он охрипшим от воинственных кликов голосом.

— С кем?

— С кем? Гм... Признаться, я за хлопотами не поинтересовался узнать.

Мы обратились с расспросами к другим, и скоро выяснилось, что война предстоит с немцами.

— Ну, и поколошматим же мы их! — бодро воскликнул рябой солдат.

— За что? — осведомился я.

— За что?

Он заморгал глазами и погрузился в задумчивость.

— Спросим у кого-нибудь, кто знает, — сказал я, похлопывая его по плечу. — Ничего! Вероятно, было же что-нибудь с их стороны ужасное, что вывело нас из терпения.

Причину войны нам тоже сообщили:

— Из-за того, что мы увеличили таможенные пошлины.

— Ну?

— Я тебе не лошадь, — резонно возразил солдат. — Нечего и нукать. Война началась из-за увеличения нами таможенных пошлин.

— С немцами?

— С немцами.

Я отошел, сел в уголок и принялся разжигать в себе ненависть к немцам.

— Ага! — думал я. — Пошлин не хотите платить? Не нравится, что по карману ударили? Ага... А что — будете знать,

что такое таможня! Это вам не гороховая колбаса! Влетит вам... Узнаете, как протестовать против увеличения пошлин.

Увы, ненависть моя, как отсыревшие дрова на дожде, не разгоралась, а шипела и тотчас же гасла.

Я пришел к убеждению, что если брать неприятельские промахи и преступления в общем — это не производит зажигательного действия на мою душу.

Я решил перейти к частностям, к отдельным лицам. Память моя после сильного напряжения подарила меня только двумя конкретными случаями: однажды немец-часовщик, которому я отдал часы в починку, задержал их вместо четырех дней на неделю и, кроме того, хозяйка меблированных комнат, старая немка, выселила меня за неплатеж денег.

— Ага! — шептал я, делая попытку заскрежетать зубами. — Часы берете на четыре дня, да возвращаете через неделю? За квартиру не могли подождать еще два-три месяца? Покажем вам квартирку! Зададим вам трезвон — это вам не часики! У-у, проклятые!

И, думая так, я вместе с тем ощущал, что при встрече с немцем всей моей ненависти хватит лишь на то, чтобы дать ему пинка в живот или выдрать за уши.

Больше ничего не было.

II

Началась война...

Наш полковник был старый рубака, рвавшийся в самые опасные места и прославившийся своей безумной храбростью.

Начал он кампанию с рытья волчьих ям, надеясь, что неприятель заглядится на небо, попадет в них и погибнет среди колючей проволоки бесславной смертью. Саперы рыли и укрепляли ямы всю ночь, а к утру в той стороне, где производились эти работы, послышались крики, шум и чья-то ругань.

— Ага! — сказал грозный наш полковник, выскакивая из палатки, — наткнулись, голубчики... А ну, ударим-ка на них, ребята! За мной, мои храбрые львы.

Львы закричали «ура!» и побежали за ним, тесня и напирая в порыве храбрости на первые ряды... Впереди слышались страшные крики, стоны, и это еще больше опьяняло нас.

— Бей их! — кричали мы. — Коли! Руби!

— Бей! Коли! — ревел я. (Это тебе не часики вместо четырех дней держать неделю! Это вам не квартиры!).

Мы в несколько минут добежали до самой волчьей ямы и остановились потрясенные: на дне ямы барахталось и посылало проклятия множество наших солдат.

— А где неприятель? — грозно спросил полковник, размахивая саблей и оглядываясь.

— Какой неприятель? — удивился, выглядывая из ямы какой-то раненый человек. — Никакого неприятеля и нет.

— А шум-то? Что был за шум?

— Да это наш же сапер один нечаянно свалился в яму, заорал, а вы бросились на нас, как сумасшедшие, и задние ряды так наперли, что все, кто стоял у ямы, свалились. Эх, вы... воины!

Это было наше первое кровопролитное дело. Конечно, все понимали, что подобный случай мог произойти только благодаря избытку храбрости войска, и поэтому никто особенно не горевал.

Второе «дело» было настоящей битвой — с пушечными выстрелами, приступом, атакой и рукопашной схваткой.

Лазутчики донесли нам, что вправо от нас в четырех верстах воздвигнута сильная батарея, защищенная окопами.

— Храбрые орлы! — немедленно крикнул наш отчаянный рубака — полковник. — Ребята! За мной! Налетим, как вихрь, и они не успеют опомниться!

Этот безумно храбрый человек мог возбуждать храбрость в самых трусливых и спокойных солдатах.

С криками «ура!» все понеслись за ним, а он летел впереди, как ангел смерти, и издавал какие-то чрезвычайно героические восклицания.

Действительно, налетели мы так неожиданно и быстро, что застали неприятеля врасплох: переправились, подкрепляемые опустошительным пушечным огнем, через окопы, врубились в защитников батарей и, начав оживленный энергичный рукопашный бой, только через десять минут заметили, что эта батарея своя, пушки свои и солдаты свои же.

Возгласам удивления не было конца.

Полковник чуть не плакал:

— Такая хорошая битва даром пропала!

III

Случай с батареей научил беззаветно храброго полковника быть холоднее. Он, правда, был так же мужественен, но к его мужеству примешивалась солидная доза холодной рассудительности, осторожности и расчета.

Этим только и объясняется, что он через три дня, возвращаясь, согласно своим стратегическим расчетам, на батарею, которую он до того пытался отнять у своих же, сделал этот шаг с должным спокойствием... Никто не кричал «ура!», не бросался бессмысленно в рукопашную со своими же товарищами и не устраивал смехотворного кавардака. Просто все спокойно и весело разговаривая, перелезли через вал и уже собирались расположиться около батареи на отдых, как град пуль и пушечные выстрелы, раздавшиеся с батареи, подарили вечный отдых доброй половине наших солдат.

— Вот идиоты! — кричал беззаветный полковник, — теперь они устраивают мне такую штуку, как я им недавно.

— Осмелюсь доложить, — почтительно заявил я, — что, по моему мнению, батарея эта уже в неприятельских руках.

— А, пожалуй, вы и правы, — сказал огорченный рубака. — Когда это они успели? Вот вам пример — стоит ли быть осторожным?! Надо было наброситься на них, как давеча — с пушками и рукопашной.

В это время немцы сделали вылазку и ударили на нас. Как это было ни противно, — пришлось бежать; впрочем, я не знаю, кто бежал: мы или немцы, потому что были немцы, которые бежали сзади меня, но были и такие, которые бежали впереди меня. Вообще я того мнения, что в настоящей битве никогда не разберешь — кто кого поколотил и кто от кого бежал.

Я пробежал, вероятно, несколько верст. Можно же себе представить мое удивление, когда я увидел одинокого немца, который бежал почти рядом со мною.

Я приостановился, а он выхватил саблю и бросился на меня.

Я всплеснул руками и крикнул:

— С ума ты сошел?! Ведь, ты меня убить можешь.

Он был поражен. Опустив саблю, сказал сурово:

— Я и хочу тебя убить.

— За что?

— Ты враг.

— Да? — иронически усмехнулся я. — Что я тебе сделал? Жену твою увез или деньги ограбил? Да я тебя даже и в глаза не видел до сегодняшнего дня. Идиот!

Рассудительный тон действует на самые тупые головы.

Немец возразил, колеблясь:

— Но, ведь, теперь война. Вы с нами воюете.

— Да ты знаешь из-за чего война?

— Из-за таможенных пошлин, кажется, — нерешительно сказал немец, ковыряя саблей землю.

— Ну и что же, умно это, по-твоему? Увеличили пошлины — так из-а этого и драться? Представь себе, что ты приходишь в магазин, и купец хочет получить с тебя за аршин трехрублевого сукна пять рублей. Что ж — ты будешь драться, лезть на него с саблей, с пушкой? Плюнешь, да уйдешь. По-моему, если бы уж так рассуждать по справедливости, ты должен бы ответить перед судом за то, что бросился с обнаженной саблей, покушаясь на убийство ближнего. Посидел бы в тюрьме годик, так знал бы...

Мы молчали.

«Во всяком случае, — подумал я, — он мой пленник и я доставлю его живым в наш лагерь. Может быть, дадут орден».

— Во всяком случае, — сказал немец, — ты мой пленник, и я...

Это был верх нахальства.

— Что? Я т в о й пленник? Нет, брат, я тебя взял в плен и ты не открутишься...

— Что-о? Я за тобой гнался, да я же и твой пленник?

— Я нарочно от тебя бежал, чтобы заманить подальше и схватить.

— Да, ведь, ты меня не схватил.

— Это все равно. Пойдем со мной!!

— Пойдем, — согласился он. — Только уж ты не вертись: я тебя веду, как пленника.

— Вот новости! Это мне нравится! Он меня ведет! Я тебя веду, а не ты.

Мы схватили друг друга за руки и пошли. После часа бесцельного блуждания по полю мы пришли к заключению, что заблудились. Голод давал себя чувствовать, и я очень обрадовался, когда у немца в сумке обнаружился хлеб и кусок холодного мяса.

— На, — сказал немец, отдавая мне половину, — ешь. Так как ты мой пленник, то я обязан тебя кормить.

— Нет, — возразил я. — Так как ты мой пленник, то все, что у тебя — мое. Я, так сказать, захватил твой обоз.

Мы закусили, сидя под деревом, и потом запили вином из моей фляжки.

— Спать хочется, — сказал я, зевая. — Устаешь с этими битвами, пленными...

— Ты спи, а мне нельзя, — вздохнул немец.

— Почему?

— Я должен тебя стеречь, чтобы ты не убежал.

До этого я сам не решался уснуть, боясь, что немец воспользуется моим сном и убежит, но немец был упорен, как осел...

Я растянулся под деревом и уснул. Проснулся перед вечером.

— Сидишь? — спросил я.

— Сижу.

— Ну, можешь заснуть, если хочешь, а я тебя постерегу.

— А вдруг сбежишь?

— Ну, вот... Кто от пленников убегает.

Немец пожал плечами и уснул.

Закат на далеком пустом горизонте нежно погасал, освещая лицо моего врага розовым нежным светом.

Я спросил свое сердце:

— Есть ли у тебя злость против этого человека?

И сердце, ласково усмехнувшись, ответило:

— Нет. Если он и задержал твои часики, то, вероятно, потому, что у него захворала жена или были дела поважнее.

Я встал и пошел на запад; а перед этим, чтобы вознаградить своего врага за потерю пленника, положил ему в согнутую руку фляжку с вином.

И он лежал так, похожий на громадного ребенка, которому сунули в руку соску и который расплачется по пробуждении, увидев, что нянька его ушла.

А.Т. АВЕРЧЕНКО

Аверченко — магнит «Вены». Где Аверченко — там хохот, грохот, веселье, озорства и компания.

Юморист живет рядом с «Веной», всего только через дом, и не было того дня, чтобы он не зашел в ресторан.

Сатириконцы напрасно ищут днем своего «батьку», трещат в телефон, рыщут на извозчиках и моторах, из редакции в контору, в типографию, в театр, на квартиру.

Где он пропадает — неизвестно.

Но вечером Аверченко найти — штука не хитрая. По простоте души, как медведь, он ходит одной тропой, и всегда по вечерам его можно поймать в «Вене». Тут он не увильнет ни от начинающего сатирика, ни от ловкого издателя, ни от южанина антрепренера, и сатириконского батьку тут можно брать простыми руками.

Иногда русский Твен приходит один. Тогда его со всех сторон облипают, как мухи, не сатириконцы, его верноподданные, а просто беллетристы, поэты, артисты и художники.

Но большей частью он является во главе шумной, остроумной, грохочущей компании сатириконцев.

Тут — поэт людского безобразия, человеческой пошлости и пакости — высокий, тонкий, сдержанный Ре-Ми; шумный, гремящий «коновод» «Галчонка» Радаков, вечно веселый, всегда остроумный, всегда жизнерадостный; скромный молчаливый Юнгер; экспансивный Яковлев; встрепанный, словно только что сброшенный с постели, с ядовитым лицом В.В. Воинов; худой, тонкий, язвительный П.П. Потемкин; В.В. Князев; изящный, умный, шаловливый К.М. Антипов (Красный); флегматичный Г.А. Ландау; Е.В.; Е.Х...

Сатирическая компания сразу занимает три-четыре столика, и немедленно же начинается несмолкаемый «дебош». Остроты, эпиграммы, каламбуры сыпятся как из громадного мешка. Одно пустяшное замечание, движение рукой, поза — все дает тему для остроумия, — легкого, свободного, не натянутого.

Стихами сатириконцы говорят как прозой.

Кто-то уронил часы под стол, поднял их и стал рассматривать. Красный серьезно дает рифмованный совет:

«Теперь излишни ох и ах.
Но и дурак, ведь каждый ведает:
Стоять возможно на часах,
Но наступать на них не следует».

Князев сообщает, что на днях у него выходит книга о народной поэзии-частушке.

Батька благодушно поощряет:

«Твое творенье, милый друг,
Достойно всяких восхищений,
Недаром все кричат вокруг,
Что это целый воз хищений.»

Шум вокруг столика стоит невообразимый. Голос Радакова слышен чуть не до выхода.

Художники, между тем, в балагурстве и празднословии обсуждают темы и рисунки для следующего номера, поэты и прозаики выслушивают «проказы» батьки... Совершенно незаметно, шутя, составляется номер. Каждый знает, что ему нужно приготовить к четвергу.

Красный вскользь сообщает о том, что едет в Харьков в кабаре «Голубой Глаз».

Батька высказывает соображение:

— Значит харьковцы увидят бревно в своем «глазу»...

И оба чокаются ликером.

Прибывает публика после спектаклей. Разговор в зале становится общим. Остроты и экспромты летят из угла в угол и покрываются дружным хохотом.

Декадентский поэт читает свои новые стихи, и заканчивает:

«Мои стихи уйдут в века»...

Сатириконский батька и тут добродушно кивает головой, но поправляет декадента-приятеля:

«Твои стихи уйдут в века» –
Сказал ты это молодецки.
Но эти самые «W. К.»
Пиши ты все же по-немецки».

В интимном кружке на участников иногда нападает «стих» Кузьмы Пруткова, и тогда сверкают оригинальные афоризмы и блестки остроумия, на что особенно щедр сатириконский батька.

«Храни заветы старины, —
Носи со штрипками штаны»...

советует он В. К — ву, сидящему в слишком коротких брюках.

Дает общее наставление, смеется глазами, но, как истый хохол-юморист, имея совершенно серьезное лицо:

«Когда тебе безмерно любы
Литавры, лавры и почет, —
Ты вынь глаза, возьми их в зубы
И плавно двигайся вперед»...

Вася Регинин сентенциозно замечает:

«Наплюй на жизнь слепых кротов,
Люби изломы линий,
Люби игру живых цветов,
А между ними «Синий»...

Гасят люстры и лампионы. Но никто еще не хочет уходить по домам. Все медлят. Нужны усиленные просьбы самого Ивана Сергеича, и только напоминание о том, что официанты устали и барышни за буфетом падают от усталости, заставляет юмористов, беллетристов и поэтов подняться с насиженных мест.

На дворе бурлит вьюга. За снегом холодно мигают фонари. Несколько извозчиков и моторов нагружаются к Ходотову. Богема собирается куда-то на Фонтанку в чайную варить свежую уху с поплавка, остальные мирно разъезжаются по домам.

Сатириконцы с несмолкаемым хохотом провожают своего батьку до его подъезда и садятся в моторы.

(Из книги Десятилетие ресторана «Вена», СПб., 1913)

КОММЕНТАРИИ

чёрным по белому

В четвертый том сочинений Аркадия Аверченко включены книги, выпущенные писателем в 1912–1913 гг.: «Рассказы для выздоравливающих» (1912), «Черным по белому» (1913), а также выпуски «Дешевой юмористической библиотеки «Сатирикона» и «Нового Сатирикона»: «Очередной рассказ» (Вып. 74), «Смерть» (Вып. 83), «Душистые цветы» (Вып. 67). Многие рассказы из этих выпусков печатаются впервые за последние сто лет.

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «САТИРИКОНА»

Выпуск 74
(1912)

Большинство рассказов, вошедших в этот выпуск, как и в другие выпуски «Дешёвой библиотеки», публиковались впервые.

В настоящем издании печатаются по первой публикации.

Рассказ «Ликвидация» помещен в составе Вып. 83, поскольку полностью совпадает с аналогичным рассказом.

Горе профессионала.

С. 11. *Вспомнит он Фосса...*— Эмиль Фосс — немецкий профессиональный борец, атлет.

С. 12. *А где же теперь Лурих?* — Георг Лурих (1876–1920) — выдающийся борец, атлет, чемпион России и мира; родился в Эстляндской губернии; чемпионом мира он стал на международных соревнованиях в Гамбурге в 1906 году. Умер во время Гражданской войны от тифа.

А Пытлясинский? — Владислав Алексеевич Пытлясинский (1863–1933) — русский борец-профессионал; родился в Варшаве; один из основоположников французской борьбы в России. Чемпион мира.

С. 14. *...Андреев... Что он хотел сказать своей Анатемой?* — В философской трагедии Леонида Николаевича Андреева (1871–1919) «Анатэма»(1910) создан образ современного Мефистофеля, восставшего против «Великого Разума» Вселенной и осмеивающего человека, полагающего, что личного бессмертия можно достичь, заботясь о нищих и голодных.

...где теперь Абс? — Немецкий борец и атлет Карл Абс в 1888 году был побежден на международном соревновании в Венсене (Франция) Пытлясинским.

Дурацкое положение.

С. 17. *... я запоздаю со списком дебиторов.* — Дебитор — юридическое или физическое лицо, имеющее задолженность какой-либо организации или учреждению.

...просит друзей... на soirée...— Soirée (фр.) — вечеринка.

Страшное дело.

С. 21. *Илиодор предал анафеме председателя совета министров В.Н. Коковцова, обер-прокурора Синода В.К. Саблера...*— Илиодор (в миру С.М. Труфанов; р. 1880) — иеромонах, один из лидеров черносотенцев, автор книги «Святой черт» (1917), содержащей разоблачение Г.Е. Распутина. Владимир Николаевич Коковцов (1853–1943), граф, госуд. деятель, министр финансов (1904 — янв. 1914, с перерывами); после Октябрьской революции — в эмиграции. Синод, Святейший синод — один из высших государственных органов в России в 1721–1917 гг.; ведал делами православной церкви: толкование религиозных догматов, соблюдение обрядов, вопросы духовной цензуры и просвещения, борьба с еретиками и раскольниками. Во главе Синода стоял обер-прокурор, назначаемый императором. После 1917 г. Священный синод — совещательный орган при патриархе Московском и Всея Руси. В 1911–1915 гг. обер-прокурором Синода был Владимир Карлович Саблер (1847–1929), сенатор, член Гос. совета. Анафема, в христианстве, — церковное проклятие, отлучение от церкви; считается высшей карой

С. 23. *...ты мне выдашь, филистимлянин!* — Филистимляне — народ смешанного семитского и египетского происхождения, населявший юго-западный берег Палестины и, по библейским рассказам, постоянно враждовавший с израильтянами. Здесь слово «филистимлянин» употребляется в значении «враг».

Освобождение Сербии, или — своя рубашка от тела дальше.

Фельетон написан в связи с событиями на Балканах, где в 1910–1913 гг. шли выступления против остатков турецкого владычества. На заседаниях Гос. думы эти вопросы постоянно поднимались. В события на Балканах стремились вмешиваться и Россия, и Австрия и др. государства Европы.

С. 26. *...зазнавшейся толпы османов.* — Османами часто называли турок (от огромной Османской империи, распространявшейся от Ближнего Востока до Балканского полуострова, от Средних веков до 18 в.).

С. 27. *Записка... была препровождена графу В. Бобринскому.* — Владимир Алексеевич Бобринский (р. 1868) — граф, помещик, фабрикант, депутат II — IV Гос. дум от Тульской губернии, правый националист; с 1919 — в эмиграции.

Мертвые души (Русская лирика по Гоголю).

С. 27. *...Когда взглянул потом Чичиков...*— Эпиграф представляет собой не вполне точную цитату из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» (гл. VII). В дальнейшем тексте фельетона употреблены имена из «Мертвых душ» (Еремей Карякин, Лизавет Воробей и т.п.).

С. 29. *Дворовый человек покойного Петра Аркадьича...*— Имеется в виду Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911), крупный помещик, председатель Совета министров России (1906–1911); убит Д.Г. Богровым.

...Где же твой манифест семнадцатого октября? — Имеется в виду Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», подписанный Николаем II и провозглашавший гражданские свободы, создание Государственной думы и т.п. Многое из обещанного этим Манифестом осталось лишь на бумаге.

С. 30. *«Эх, Ваня, угораздило тебя!»* — Точная цитата из гл. VII «Мертвых душ».

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «САТИРИКОНА»

Выпуск 83
(1912)

Смерть.

С. 34. *Вроде работы Сизифа...* – Аверченко верно раскрывает смысл этого выражения, ставшего крылатым. Возникло это выражение из греческого мифа: коринфский царь Сизиф за оскорбление богов был осужден на вечную муку в Аиде. И по сей день сизифова работа понимается как тяжелый и бессмысленный труд.

Ликвидация.

С. 42. *...на праздник Иоанна Крестителя.* — Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча) — один из великих пророков, который возвестил пришествие Иисуса Христа. Умер Иоанн Креститель насильственной смертью: за обличение царя Ирода он был заключен в темницу и, по требованию Саломеи, Ирод велел отрубить ему голову.

Образ Иоанна Крестителя играет большую роль в христианском вероучении; в его честь установлены следующие праздники: 23 сентября — зачатие И. К., 24 июня — день его рождества, 29 августа – Усекновение главы И. К.; 7 января — Собор И.К.; 24 февраля – Первое и Второе обретение главы И.К.; 25 мая — Третье обретение главы И.К., 12 октября – праздник Перенесения руки Крестителя с острова Мальты в Гатчину.

С. 44. *...подписи под... телеграммой графу Витте...*– Имеется в виду Сергей Юльевич Витте (1849–1915), русский государственный деятель, Председатель Совета министров (1903–1906); автор «Манифеста 17 октября».

...читали «Новую Жизнь», издание господина Горького. — «Новая Жизнь» (С.-Петербург, 1905) — ежедневная газета, орган РСДРП. Выходила легально. Редактором-издателем значился Николай Максимович Минский (1855–1937), поэт, критик, публицист. Фактическое руководство осуществлялось А.М. Горьким и группой публицистов-большевиков.

...читал «Начало». — «Начало» — легальная меньшевистская газета; выходила в Петербурге в ноябре-декабре 1905 г.

Витязи.

Фельетон высмеивает угар национализма, который охватил часть русского общества в начале 1910-х годов. Причем, в большинстве своем, клялись в верности всему русскому люди с нерусскими фамилиями.

С. 45. *...устроил бы бир-галле мит кегельбан...*— Бир-галле мит кегельбан — пивная с кегельбаном (игрой в кегли) (нем.).

...телеграмму приветственную Плевицкой послать...— Надежда Васильевна Плевицкая (наст. фамилия Винникова, 1884–1940) — певица, исполнительница русских песен и романсов, необычайно популярная в первой половине 20 в. Эмигрировала с войсками Врангеля. Много гастролировала по Европе и США. В 1937 г. была обвинена в похищении генерала Е.К. Миллера. Умерла в тюрьме во Франции.

С. 46. *Исполать тебе...*— Хвала тебе (старорусск.).

С. 47. Ma foi. — Ей-ей, по правде сказать (фр.).

Драма в доме.

С. 53. *...свой... взгляд мы бросим на Семена Юшкевича.* — Семен Соломонович Юшкевич (1868–1927) — русско-еврейский прозаик и драматург. Написал множество романов, повестей, рассказов о жизни еврейской бедноты. Его драмы «Голод» (1905), «В городе», «Король» (обе 1906) пользовались успехом у публики. Более поздние произведения «Драма в доме» (1913), «Мендель Спивак» (1914), «Человек воздуха» (1915) приобретают сатирическую окраску, в то же время они пронизаны добротой, сердечностью, искренним юмором.

В 1920 г. Юшкевич эмигрировал, умер в Париже.

С. 56. *Мотька Цилелтус, маравихер, и Гершка Цилиндр — настоящий идеал хипесничества...*— Маравихер — вор-карманник (блатн. жаргон). Хипесничество — воровство или мошенничество, при которых используют женщин в качестве приманки или отвлечения внимания.

Заметки великосветского репортера.

С. 56. *...слово «бридж» сделалось... всеобъемлющим...*— Бридж — азартная карточная игра, ставшая популярной в начале 20 в.

С. 58. *...поняв с demi mot'a...*— Поняв с полуслова (фр.).

Разрыв.

В фельетоне отражена борьба между различными партиями в Думе после убийства Столыпина, в частности, между октябристами и кадетами.

С. 59. *...мне нужно самого Владимира Николаевича видеть.* — Имеется в виду Владимир Николаевич Коковцов, занявший пост председателя правительства после П.А. Столыпина.

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «НОВОГО САТИРИКОНА»

Выпуск 67

Душистые цветы
(1914)

Крик в ночи.

С. 65. *...известие о казни Ферреро...*— Имеется в виду не Ферреро, а Франсиско Феррер Гуардия (1859–1909), видный испанский просветитель и педагог, в 1901 г. основал в Барселоне светскую школу, которая вскоре стала антиклерикальным центром. Во время восстания в Барселоне в 1909 г. против колониальной политики правительства в Марокко Феррер был арестован, осужден без всяких оснований и казнен. Протест против этой казни прокатился по всему миру, что вынудило уйти в отставку испанское правительство.

С. 66. *...пожалованный этому мэру Альфонсом.* — Имеется в виду Альфонс XIII (1886–1941), испанский король в 1902–1931 гг. И Барселонское восстание, и казнь Феррера произошли в годы его правления.

С. 67. *...Вы жертвою пали...*— Начало песни неизвестного автора 1870-х гг., которая после различных добавлений и изменений стала песней революционных рабочих; одно из ее названий «Похоронный марш». Была широко известна с начала 20 в.

Разносторонность.

С. 68. *Оперетка «Гейша»...*— Оперетта «Гейша» (музыка С. Джонса, 1869–1914, либретто О. Холла и Г. Гринбэнка) была впервые поставлена в 1896 г. в Лондоне. Вскоре она

была поставлена и в России. Хотя действие ее происходит в Японии, но в каждой стране, где ставили эту оперетту, в нее вносились местные реалии. В частности, один из наиболее известных актеров, участвовавших в спектакле, Григорий Ярон, признавался, что вставил в текст понравившийся ему мольеровский диалог.

С. 68–69. *...с подробным списком газет, очень рекомендуемых («Русск. Знамя», «Колокол», «Новое Время»), терпимых («Голос Правды», «Голос Москвы») и абсолютно недопустимых («Речь» и «Русск. Вед.»).* — «Русское Знамя» (1905–1917) — черносотенная газета, орган «Союза русского народа», Петербург; «Голос Москвы» — орган партии октябристов (1906–1915); «Речь» («Наш Век») — орган партии кадетов (1906–1918), Петербург; «Русские Ведомости» — газета, выражала интересы либеральных помещиков и буржуазии, с 1905 г. — орган правых кадетов, Москва (1863–1918).

С. 69. *Прекрасные издания: «Земщина»... «Южный Богатырь», «Курская быль»...* — «Земщина» (1909–1917), Петербург, — черносотенная газета.

С. 70. *...могу предложить «Россию»!* — «Россия» (1905–1914), Петербург, — полицейско-черносотенная газета, с 1906 г. — официальный орган министерства внутренних дел.

С. 71. ... *не какой-нибудь Жорж Борман...* — «Жорж Борман» — крупная швейцарская кондитерская фирма, отделение которой находилось в России.

Переоценка ценностей.

С. 72. *...не нравилось поведение Испании в марокккском вопросе.* — В 1911 гг. ряд стран Европы участвовали в вооруженной борьбе за земли в Марокко, в том числе Испания, в результате чего часть страны в 1912 г. оказалась под протекторатом Франции, а другая — под протекторатом Испании.

Журналисты.

С. 74. *Ст-н написал в Нов. Вр.»...* — Имеется в виду сотрудник газеты, брат покойного премьер-министра Александр Аркадьевич Столыпин.

С. 77. ... *Финляндия должна сделаться русской провинцией.* — С 1809 г. Финляндия по Фридрихсгамскому миру была присоединена к России в качестве Великого Кня-

жества Финляндского (в титул российского императора входило и наименование Великий князь Финляндский). В Финляндии сохранялся сейм (парламент), своя конституция, правительство. Политика подчинения общеимперским установлениям с 80-х гг. 19 в. вызвала брожение в народе. Русские же националисты считали, что у Финляндии слишком много свобод, что ее нужно приравнять к обычным губерниям, но на это никак не могли пойти ни местные национальные власти, ни народ. Такое состояние общества приводило к постоянному возникновению политических кризисов.

Пунктик.

С. 80. *...Третье июня*! — 3 июня 1907 г. был издан царский указ о роспуске II Государственной Думы в нарушение Манифеста 17 октября 1905 г. Инициатором указа явился П.А. Столыпин, начались аресты и ссылки думской социал-демократической фракции; был издан новый закон о выборах в III Гос. Думу, сокращалось представительство крестьян (с 42 до 22%) и рабочих (с 4 до 2%). Этим актом было положено начало политической реакции.

Избирательная лихорадка.

С. 83. *Ходынка будет*! — Ходынка — трагические события на Ходынском поле в северо-западной части Москвы (в начале современного Ленинградского проспекта) 18 мая 1896 г. во время раздачи царских подарков по случаю коронации Николая II. Во время давки погибло 1389 человек, изувечено 1300.

Как кто провел день 17 октября.

С. 89. *...рулет по-польски, маседуан.* — Маседуан (фр.) — кушанье из вареных овощей и фруктов под соусом.

Ридикюль.

Впервые: Одесские новости. 1914. № 7955.

С. 93. *...Герценштейн, покойник...*— Экономист, депутат I Гос. Думы Михаил Яковлевич Герценштейн, убит черносотенцами в 1906 г.

С. 94. *Ведь это в Ченстохове*! — Ченстохов — город в Польше.

РАССКАЗЫ ДЛЯ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ (1912)

Впервые книга вышла в Петербурге в 1912 г. Включала в основном рассказы, написанные и опубликованные в журнале «Сатирикон» в 1911 г. Выдержала при жизни автора около десяти изданий.

В настоящем Собрании сочинений печатается по изданию: *Аверченко Аркадий.* Рассказы для выздоравливающих. Пг.: Новый Сатирикон, 1917.

Со времени выхода этого сборника его книги пользуются популярностью не только в широких слоях демократически настроенной интеллигенции, но и у так называемых обывателей, и даже в царской семье: Николай II был, по словам управляющего Царскосельским дворцом кн. М.С. Путятина, «большим читателем и почитателем» Аверченко (*Камышников Л.* А.Т. Аверченко // Новое Русское Слово. 1925. 15 мая); две книги писателя — «Рассказы для выздоравливающих» и «Синее с золотом» — были обнаружены среди книг библиотеки императрицы Александры Федоровны следователем Николаем Соколовым (*Соколов Н.А.* Убийство царской семьи. Санкт-Петербург, 1998).

Сердечные дела Филимона Бузыкина.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 43 (Под заглавием: «Сердечные дела»).

С. 101. *...я в качестве конторщика этого общества писал ему коносаменты...*— Коносамент (фр.). — документ, выдаваемый перевозчиком грузоотправителю при перевозке грузов морским путем.

Преступление актрисы Марыськиной.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 34.

С. 107. *...дал... тетрадь любовнику Закатову.* — Здесь: любовник — театральное амплуа, актер, играющий роль влюбленного молодого человека или возлюбленного.

...выходная актриса Марыськина. — Выходная (театр. жаргон) — актриса, играющая роль без слов; на выходах.

С. 108. *Вот оно... темное купеческое царство гениального Островского...*— «Темное царство» (1859) — так озаглавлена статья Н.А. Добролюбова, посвященная разбору пьес Александра Николаевича Островского о быте, нравах, самодурстве

купцов. Выражение стало нарицательным для обозначения крепостнической России.

Человек, у которого были идеи.

С. 112. *Посвящается Н.А. Тэффи.* – Рассказ, как и некоторые другие произведения Аверченко, посвящен Надежде Александровне Тэффи (1872–1952) – замечательной русской писательнице. С Тэффи Аверченко связывали многолетние творческие и дружеские связи: многие рассказы Тэффи на протяжении десяти лет публиковались на страницах журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Тэффи оставила очень теплые воспоминания об Аверченко.

С. 113. *...я... ящик Пандоры.* — Согласно греческой мифологии Пандора — женщина, которая была создана по приказу Зевса в наказание людям за похищение Прометеем огня у богов. Выйдя замуж за брата Прометея — Эпиметея, Пандора открыла закупоренный сосуд (по другой версии — сундук, ящик), стоявший в доме мужа, и из него посыпались на людей неисчислимые бедствия — несчастья, болезни, пороки, зло.

С. 114. *...соорудить такие маленькие пакетботы...*— Пакетбот (англ.) — устарелое название небольшого почтово-пассажирского морского судна.

Три визита.

Впервые: Сатирикон. 1912. № 3 и 4.

С. 119. *Ряжский Малюта Скуратов.* — Малюта Скуратов (Скуратов-Вельский Григорий Лукьянович) (г. рожд. неизвестен — ум. 1573) — думный дворянин, приближенный царя Ивана IV Васильевича, глава опричного террора. Решительность и суровость Малюты Скуратова, выполнявшего любое поручение Ивана IV, вызывали ненависть бояр, которые старались преувеличить его жестокость. Одна из дочерей Малюты Скуратова вышла замуж за Бориса Годунова.

С. 127. *Я открыл дверь в соседнюю комнату и крикнул: — Георгий Александрович! Пожалуйте-ка сюда. Вот — это наш секретарь.* – Георгий Александрович Ландау (1883–1974) – писатель-юморист; в советское время — автор многочисленных пьес-сказок для кукольного театра; в течение ряда лет был секретарем редакции «Сатирикона», в содружестве с Ландау Аверченко написал «Экспедицию в Западную Европу сатириконцев...» (1911).

Зеркальная душа.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 52.

С. 129. *...это было похоже на лотерею-аллегри...*— Лотерея, в которой розыгрыш проводится сразу же, а на пустых билетах делается надпись allegri (ит.) — будьте веселы.

Сердце под скальпелем.

Впервые: Сатирикон. 1912. № 14–15.

С. 135. *...работа «под апаша»...*— Апаш (фр.) — хулиган, вор.

С. 136. *...знаете, что такое Ананке? — Ананке (греч.* «необходимость») — богиня, олицетворяющая неизбежность: рок, судьба.

Сильные и слабые.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 33.

Русалка.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 27. Дата: 5 июня 1911 г. Мюнхен.

Ложное самолюбие.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 37.

Душа общества.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 21.

Слепцы.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 2.

С. 171. *Посвящается А.Я. Садовской.* — Александра Яковлевна Садовская — артистка петербургских театров — «Нового драматического» и «Зимнего Буффа», многолетний близкий друг Аверченко.

...молодой писатель Ave...— Ave — один из псевдонимов Аверченко.

Я в свете.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 21.

Одураченный хиромант.

Впервые: Сатирикон. 1910. № 17.

Волчья шуба.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 39.

Разумная экономия.

Впервые: Сатирикон. 1910. № 48.

Медицина.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 14.

С. 206. *Вагнер — такая прелесть!* — Рихард Вагнер (1813–1883) — выдающийся немецкий композитор; его оперы «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Нибелунги» завоевали ему огромную популярность и в России.

Мотыльки на свечке.

Рассказ вошел только в последние издания сборника. В первых изданиях вместо него печатался рассказ «Война» (см. в Приложении к наст. тому), который в связи с началом Первой мировой войны Аверченко счел некорректным переиздавать, поскольку он отличался слишком поверхностным отношением к войне.

С. 211. *...простак десять тысяч взял.* — Простак — амплуа в пьесах, характерная роль простодушного, недалекого человека.

...я с самим Росси играл, с Поссартом! — Росси Эрнесто (1827–1896) — выдающийся итальянский трагический актер; создатель замечательных шекспировских образов Отелло, Гамлета, Макбета. В 1877, 1878, 1890, 1895, 1896 гг. на гастролях в России с большим успехом выступал в пушкинских трагедиях «Каменный гость» и «Скупой рыцарь». Его последняя роль — Иоанн Грозный в трагедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Поссарт Эрнст (1841–1921) — выдающийся немецкий актер и режиссер. Его обширный репертуар в основном составляли роли в классических трагедиях Шекспира, Гете, Шиллера, Ибсена. Неоднократно выступал на гастролях в России.

С. 212. *... компания меделянских щенков...*— Меделянка — порода толстых, приземистых, сильных собак, использовалась при охоте на крупного зверя, например, на медведя.

Дьявольские козни.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 30. Помета: Рим.

По влечению сердца.
Впервые: Сатирикон. 1911. № 32.

С. 221. *...Годдэм! — крикнул... капитан...*— Годдэм (англ. God damn) — проклятье, черт побери.

С. 222. *...All right! — вскричала Сьюки...*— All right (англ.) — Все в порядке, хорошо.

С. 224. *...старый мул диггера...*— Диггер (англ. digger) — землекоп, копатель.

Конец графа Звенигородцева.
Впервые: Сатирикон. 1911. № 4.

Опора порядка.
Впервые: Сатирикон. 1911. № 45.

Купальщик.
Впервые: Сатирикон. 1911. № 27.

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ (1913)

Книга впервые вышла в Петербурге в 1913 г. Печатается по 10-му изданию: Пг.: Новый Сатирикон, 1918.

Волга.
Впервые: Сатирикон. 1911. № 31.

Клусачев и Туркин.
Впервые: Сатирикон. 1912. № 30.

С. 247. *У него ландолэ?* — Ландолэ — то же, что ландо (*фр.* landau) — легковой автомобиль с открывающимся верхом.

Роскошная жизнь.
Впервые: Сатирикон. 1912. № 24.

Функельман и сын (Рассказ матери).
Впервые: Сатирикон. 1912. № 27. Помета: Lido Venezia.

С. 261. *Я же так и знала! «Записки Кропоткина»!* — Кропоткин Петр Алексеевич, князь (1842–1921) — один

из наиболее видных теоретиков анархизма; крупный географ, путешественник. После побега за границу в 1876 г. занимался разработкой и пропагандой анархистских идей. Его книга «Записки революционера» пользовалась большой популярностью среди революционно настроенной молодежи России.

С. 263. ... *и Бебели... и Малинины, и Буренины...*— Бебель Август (1840–1913) — один из основателей и виднейших деятелей германской социал-демократии и II Интернационала; написал ряд книг, развивавших марксистские идеи. Его книга «Женщина и социализм» (1879) до Первой мировой войны выдержала более 50 изданий в одной только Германии; она была переведена на многие языки, в том числе и на русский.

Малинины и Буренины — А.Ф. Малинин и К.П. Буренин — авторы учебников по арифметике, алгебре, физике, физической географии и космографии для гимназий и реальных училищ. Вышедшие первыми изданиями главным образом в 1860–70-х гг., они переиздавались ежегодно вплоть до первых десятилетий XX в. и приводили в трепет учащихся средних учебных заведений России.

Отдайте мне... Каутского! — Каутский Карл (1854–1938) — один из видных деятелей германской социал-демократии, идеолог центризма. Книги Каутского, популяризовавшие отдельные стороны учения марксизма, были переведены на многие языки, в том числе и на русский, и сыграли известную роль в пропаганде социалистических идей в России. Впоследствии выступил с осуждением Октябрьской революции в России и вел антисоветскую пропаганду.

Святые души.

Впервые: Сатирикон. 1912. № 6. Подпись: *А.*

С. 269. *В... художественных письмах Александра Бенуа...*— Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) — художник, член объединения «Мир искусства», декоратор, автор книг по искусству, мемуарист («Мои воспоминания» в 2 томах); эмигрант с 1926 г. Разумеется, высказывание «тело лучше писать телесным цветом» принадлежит не Бенуа, а Аверченко.

С. 270. *...не читали «Записок живописца» Шиндлера-Барнай.* — И «Записки...», и сам живописец — плод фантазии Аверченко.

Покойный Куинджи утверждал противное. — Куинджи Архип Иванович (1841–1910) — выдающийся русский живописец-пейзажист, передвижник; его картины находятся в Третьяковской галерее, в Русском музее и в других музеях страны. Разумеется, он не утверждал того абсурда, о котором говорится в рассказе.

Желтая простыня.

Впервые: Сатирикон. 1912. № 26.

С. 276. *...портрет королевы Марии-Антуанетты...*— Мария-Антуанетта (1755–1793) — французская королева, жена Людовика XVI. Арестованная в результате народного восстания в 1792 г., она была казнена по приговору революционного трибунала в октябре 1793 г.

Скептик.

Впервые: Сатирикон. 1912. № 31.

С. 282. *Над Россией пронеслась революция...*— Имеется в виду революция 1905 г., первая русская революция.

С. 283. *...считается... persona grata...*— Persona grata (лат.) — желательная личность.

Участок.

Впервые: Сатирикон. 1912. № 21.

Одно из моих чудес.

Впервые: Сатирикон. 1912. № 19.

С. 295. *Adios, маэстро!* — Adios (исп.) — прощайте.

Стихийная натура.

Впервые: Сатирикон. 1913. № 8.

Ничтожная личность.

Впервые: Сатирикон. 1913. № 13.

Случай из жизни.

Впервые: Сатирикон. 1913. № 7.

Фабрикант.

Впервые: Сатирикон. 1912. № 28.

Загадки сердца.
Впервые: Сатирикон. 1912. № 49.

Алло!
Впервые: Сатирикон. 1912. № 44.

Равновесие.
Впервые: Сатирикон. 1913. № 1.

О пароходных гудках.
Впервые: Сатирикон. 1913. № 17.

Как меня оштрафовали.
Впервые: Сатирикон. 1912. № 38.

С. 353. *Мало вашего брата в Швейцарии...*— Намек на то, что многие революционеры различной партийной принадлежности (социал-демократы, эсеры, анархисты и т.п.) находили себе убежище в нейтральной Швейцарии.

С. 354. *Бежать на Капри.* — Намек на то, что Максим Горький, спасаясь от политических преследований со стороны царского правительства, несколько лет жил на итальянском острове Капри вблизи Неаполя (рассказ об этом в книге Арк. Аверченко «Экспедиция в Западную Европу...», см. наст. изд., т. 1.).

Призраки любви.
Впервые: Сатирикон. 1912. № 47.

Первая дуэль.
С. 364. *... привыкшим к дуэлям бретером.* — Бретер (фр.) — заядлый дуэлянт, задира, скандалист.

Рассказ о колоколе.
Впервые: Сатирикон. 1912. № 13.

С. 367. *... в конце Великого поста...*— Великий пост — у православных семь недель до Пасхи, когда запрещено употреблять скоромную пищу (мясные, молочные и др. продукты).

...запели певчие в Великую ночь...— Великая ночь — ночь с субботы на воскресенье, Великая суббота, накануне Пасхи.

ИЗ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «САТИРИКОНА» (1913)

Актеры.

С. 378. *...обаятельному могикану нашей сцены...*— Могикане — последние представители чего-либо (нарицательное название, получившее распространение после романа Фенимора Купера «Последний из могикан», посвященного представителю уничтоженного завоевателями индейского племени в Америке).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Война.

Впервые: Сатирикон. 1911. № 41.

Вошел в первое издание книги «Рассказы для выздоравливающих».

А.Т. Аверченко.

Впервые: Десятилетие ресторана «Вена». Литературно-художественный сборник. СПб., 1913.

Очерк принадлежит перу Евгения Венского (Евгения Осиповича Пяткина, 1884–1943), поэта, пародиста, прозаика.

Печатается по данному сборнику, любезно предоставленному составителю Марией Вилковой, дочерью Анатолия Сергеевича Иванова (1941–2011), литературоведа, библиофила, эссеиста, мемуариста.

Содержание

Дешёвая юмористическая библиотека «Сатирикона»

Выпуск 74 (1912)

Дешёвая юмористическая библиотека «Сатирикона»

Выпуск 83 (1912)

Дешёвая юмористическая библиотека «Нового Сатирикона»

Выпуск 67 (1914)
Душистые цветы

Рассказы для выздоравливающих (1912)

Чёрным по белому (1913)

Из театральной энциклопедии «Сатирикона» (1913)

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО
Собрание сочинений

Том 4

ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ

Редактор Е.Б. Егорова
Художественный редактор И.А. Шиляев
Технический редактор Т.В. Иванникова

Подписано в печать 20.08.2012.
Гарнитура «Таймс». Формат $84 \times 108\ ^1/_{32}$
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,84
Тираж 1000 экз. Заказ № 5478

ООО «Издательство «Дмитрий Сечин»
Ул. Ирины Левченко, 2. Москва, 123298, а/я 33.
Тел. 8(985)995-79-70
E-mail: sechinbook@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати – ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru; e-mail: order@gipp.kirov.ru